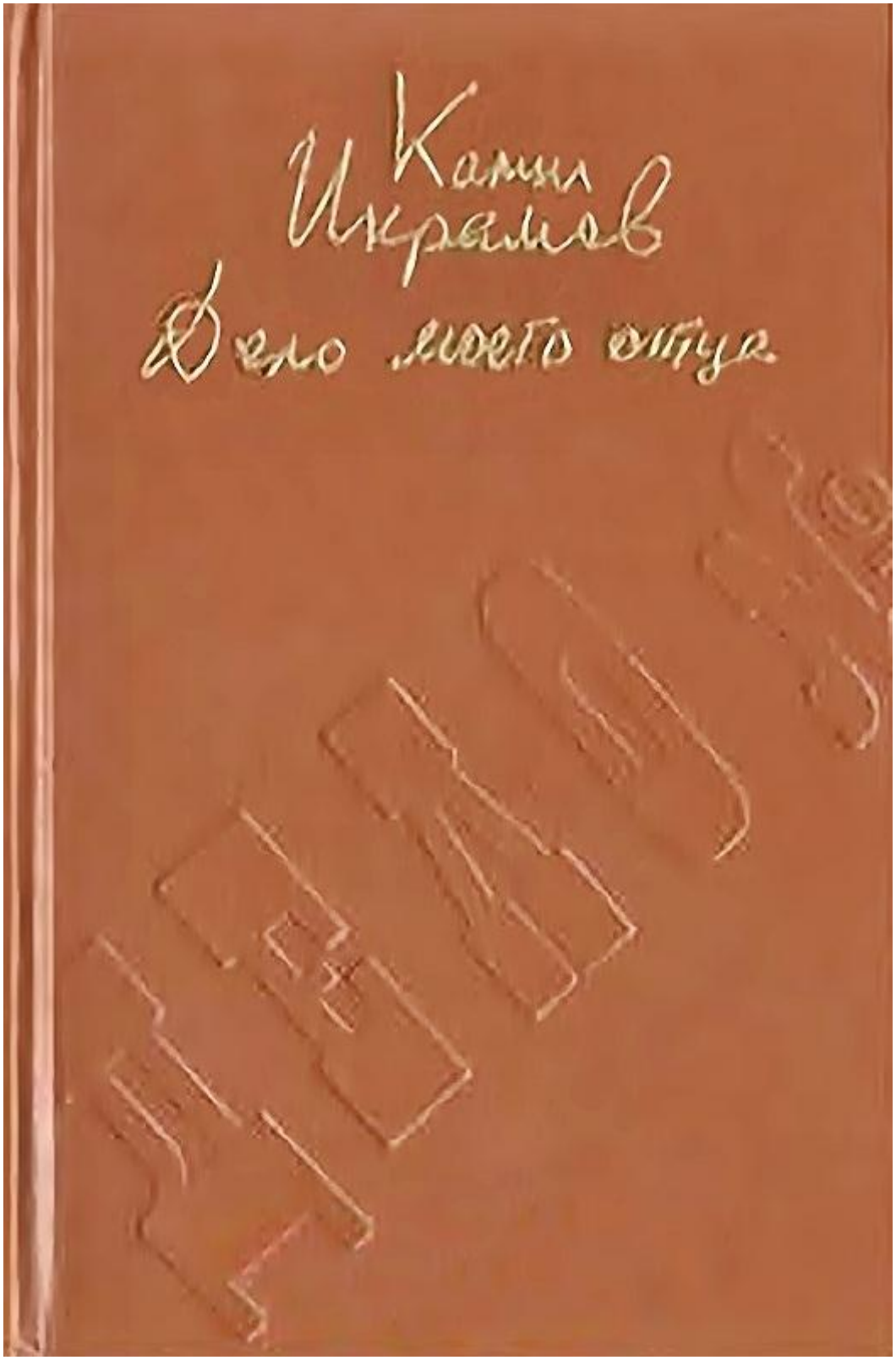

Икрамов К. А. *Дело моего отца. - М., Советский писатель, 1991. - 304 с.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Об этой книге и ее авторе ...
Предуведомление ...
О памяти ...
Дастархан-1 ...
Дом ...
Попытка беллетристики-1 ...
Между строк-1 ...)
Попытка беллетристики-2 ...
Дастархан-2 ...
Дело моего деда-1 ...
Дастархан-3 ...
Дело моего деда-2 ...
Год 22-й. Реконструкция по воспоминаниям ...
Дастархан-4 ...
Дело моего отца-1 ...
Дастархан-5 ...
Дело моего отца-2 ...
Дастархан-6 ...
Между строк-2 ...
Дастархан-7 ...
Попытка литературоведения ...
Пример классический. Антихристова печать ...
Пример современный. Трагедия затаенного стыда ...
Дело моего отца-3 ...
Дастархан-8 ...
Попытка беллетристики-3 ...
И последняя попытка беллетристики ...
Дело моего отца-4 ...
Инерция стиля ...
Брошюра и письма ...
Дастархан-9 ...
Дело моего отца-5 ...
Между строк-3 ...
Дело моего отца-6 ...

Об этой книге и ее авторе

Писать о книге Камила Икрамова — все равно что писать о собственной жизни. Он родился в 1927 году, я — в 1930-м, но судьба у нас одна, и мой отец, как и его отец, стал жертвой сталинского террора. Только мой отец выжил, отец Камила Икрамова пал от пули. И сам Камил последовал вслед за ним в тюрьму. Мой детский дом несравним с этой тюрьмой, хотя детский дом — так как его задумал основатель советской педагогики А. Макаренко — был лагерем без колючей проволоки.

Я убежден, что каждый из нас должен написать книгу о своем отце. Отцы — любовь и камень преткновения для нашего поколения, которое, осекшись на их опыте, стало другим, совсем другим.

Это чувствуется в книге К. Икрамова. В ней нет жесткости, завещанной отцами, нет безоговорочности, нет уверенности, что нам — и только нам — принадлежит абсолютная истина. Конечно, это была вера отцов, но это было и их суеверие, их мистическая преданность идее, которая их же отправила — кого в бессрочную ссылку, а кого — на эшафот.

Были люди, которые не подписывали предъявленных им обвинений. Акмаль Икрамов их подписал. Он признал себя без вины виноватым. Но кто посмеет бросить ему слова упрека?

Автор книги по этому поводу пишет: бессмысленно возвеличивать терпение человека под пытками, бессмысленно выставлять в герои того, кто, видя мучения своих близких, пытаемых у него на глазах, упорствует в молчании. Есть в этой героизации особого рода жестокость.

А застенки Лубянки и Лефортова были не чета застенкам всех предшествующих тайных канцелярий. Когда тебя сажают в камеру с голодными крысами или на допросах прищемляют половые органы — кто может это перенести?

Если пользоваться сравнениями из литературы, то я бы сказал, что книга Камила Икрамова — это книга современного Гамлета, который все время видит перед собой тень отца. Тень просит мстить за нее — Гамлет медлит. Он сомневается, он мучается мукой человека, не желающего — даже из святых побуждений — обагрять свои руки кровью. Единственное, что он может передать тени, а через нее и отцу,— это любовь и верность.

«Дело моего отца» — книга великодушия и любви. Поразительно, как автор, сам пройдя лагеря и ссылки, сохранил в себе эти чувства, не ожесточился, не озлобился. Видно, это было передано ему отцом и матерью (а мать К. Икрамова постигла та же участь, что и отца). Видно, прожектор детства навсегда осветил его жизнь.

Когда я читаю, как кто-то в тридцатые годы отрекался от отца или матери, предавал свою семью якобы из-за убеждений, я не верю этому. Потому что нет силы, которая могла бы пересилить любовь к матери и отцу.

Камил Икрамов пишет, что почти не встречал среди детей репрессированных подонков, деляг, карьеристов. Опыт страданий, исказив их жизнь, не сломал их внутренне. Верность отцам перенеслась потом на верность близким, друзьям, людям. Она стала коренной чертой целого поколения.

Я познакомился с Камилом Икрамовым за три недели до его кончины. Он знал, что безнадежно болен, но при этом держался как человек, который не пал духом. Меня поразили его самообладание и благородство. Он держал на руках внука и улыбался ему. Он улыбался всем приходящим. Он хотел говорить и говорил о жизни, а не о смерти.

И, обращаясь мыслью к тем, кто растоптал и развеял по ветру его семью, он не жаждал сведения счетов. Нот вражды и отмщения нет в его книге. Это — светлая книга, хотя в ней рассказано о жизни во тьме. Хотя многие ее персонажи — бесы, по сравнению с которыми «бесы» Достоевского — мелкие приготовишки. Они — теоретики, пустомели, иногда лишь по случаю прикладывающие руку к мокрому делу. «Бесы» из книги К. Икрамова — мясники на бойне, свежеватели живых душ, убийцы в законе.

Они родились от той же матери-идеи, что и их жертвы. И они сами — жертвы истории, ибо их участь незавидна. Такие книги, как книга К. Икрамова, вбивают в их биографии осиновый кол.

Я не хочу вдаваться в ее подробности, в отдельные перипетии, оценки. Мне важен дух этого сочинения и дух автора, который высоко возносит читателя, внушая ему добрые, а не злые чувства.

Под конец встречи мы заговорили о том, что нас ждет. К. Икрамов очень надеялся, что петля вражды не захлестнет общество. Он сказал, что в противном случае мы можем превратиться в трехсотмиллионный Ливан, где будут стрелять уже не из автоматов и пушек, а ядерными ракетами.

В этом его предчувствии я уловил глубокую тревогу. За окном светило солнце, виднелись распустившиеся деревья (на дворе стоял май), и это было последнее солнце и последние зеленые листья, которые видел Камил Икрамов. Он смотрел за окно и не завидовал тем, кто останется жить. Он желал им жизни — жизни надолго. Таким он остался в моей памяти, таким он предстает и со страниц книги «Дело моего отца».

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ

Предуведомление

«И сказал Иосиф: не бойтесь; ибо я боюсь Бога».

Бытие, глава 50, стих 19

Я пишу эту книгу больше тридцати лет.

Конечно, читателю дела нет до того, сколько времени потратил писатель на свою работу, но это мое предисловие не «от автора», ибо авторские предисловия, как известно со времен по крайней мере Лермонтова, смысла не имеют.

Это предисловие сына героя книги.

Именно как сын героя я начал делать первые записки в толстых тетрадях и на отдельных листочках. Я делал эти записи тогда, когда не только не был писателем, но и не собирался, не надеялся им стать. Важно было понять самому — кто же мой отец. Кто он?

...Менялись времена, иногда казалось, что книга об Акмале Икрамове нужна срочно, иногда же возникало ощущение, что имя это вновь будет поминаться крайне редко и только при анафематствовании.

Я писал повести, романы, сценарии, пьесы, но про отца — для себя. Об отце я мог говорить только правду, а времена, как они не менялись, этому не способствовали.

Впрочем, это не совсем так. Писать «в стол» я стал после того, как вначале написал полтораста страниц, которые назывались так же, как эта книга,— «Дело моего отца» с подзаголовком «Комментарии к тексту». Это о том, как сын, вернувшийся после лагерей и ссылки, читает стенограмму «Процесса антисоветского «право-троцкистского блока», что он увидел, что понял. Ведь Акмаль Икрамов был в числе главных обвиняемых и признавался во всем. Так казалось на первый взгляд. Рукопись в «Новом мире» приняли восторженно.

Анна Самойловна Берзер, Ефим Яковлевич Дорош, заведовавший прозой, и заместитель Твардовского Алексей Иванович Кондратович стали готовить рукопись.

— Вот напечатаем «Раковый корпус» и сразу начнем пробивать тебя,— говорил Алексей Иванович.— Ведь у тебя впервые будет так о Бухарине. Понимаешь?

Я ходил именинником.

«Раковый корпус» не напечатали, хотя и верстка была.

Время круто пошло вспять. Так круто пошло, что в бухгалтерских документах я подменил свою рукопись куском из детской приключенческой повести.

Через много лет возникла надежда написать книгу для серии «Пламенные революционеры». Это была попытка компромисса с моей стороны, надежда на камуфляж, который бы так маскировал главное, чтобы это главное оставалось. Дважды, в 1982-м и 1984 году, я относил книгу в издательство, предварительно спрятав запасные экземпляры у самых надежных друзей. Предосторожность оказалась напрасной, но и напрасно я надеялся на камуфляж. Добрые мои друзья-редакторы возвращали рукопись с просьбой никому не говорить, что они ее читали.

Так что нынешний вариант — четвертый. Я убрал из него многое, что было написано для отвода глаз, а то, что вписываю теперь, в 1988-м, хотел бы увидеть в печати набранным другим каким-то шрифтом, курсивом, что ли, или в скобках.

Однако не вошел бы мой курсив в противоречие с написанным ранее. Это дополнения, новые факты, имена, которые не мог назвать, чтобы не подвести людей еще живущих. Но главное — факты, открывающиеся нам сегодня и совершенно иначе освещающие наше прошлое.

Для литератора или редактора не составляет труда грамматически перевести, к примеру, настоящее время в прошедшее, но постараюсь избегать этого, ибо книга моя не только роман-хроника, но и документ о мучительном пути к истине, а так заманчиво, почти неодолимо желание быть умнее задним умом.

Недавно я давал интервью болгарскому телевидению. Меня спросили: когда я впервые понял, что такое Сталин? Нужно было время, чтобы вспомнить... Лето 1951 года, я уже потерял отца, мать, многих родственников, я прошел страшные лагеря, где дружил с людьми мудрыми и честными. В то лето я находился в ссылке в крошечном ауле в пустыне Бетпакдала. Ночью я лежал на кошме, укрывшись другой кошмой, стоял пяток юрт, рядом паслись овцы и козы, а небо было в звездах крупных, как вишни. Я представил себе, что сейчас явится передо мной волшебник и разрешит мне высказать одно желание, которое непременно будет выполнено. Только одно желание, а не три, как в сказках. До сих пор удивляет меня, что несвободы я попросил бы. Мое желание было сформулировано точно: пусть в ночном московском небе огненными буквами, а днем черными по голубому постоянно висят два слова: «Сталин — говно!» И пусть ни авиация, ни зенитки не смогут эти слова стереть.

Это сколько же, выходит, надо было времени, сколько надо было увидеть и пережить! Точно помню, что за два года до того я так не думал, «диалектически мыслил». Не мог принять такого грубого примитива. И все-таки, все-таки! Почему я все эти годы завидовал красивому мальчику лет четырнадцати, с которым на несколько минут оказался в кафельном боксе Бутырок? Нас воткнули туда четверых или пятерых, а мальчик этот уже был там и на вид казался явно моложе меня.

Никого моложе меня из «политических» я не встречал ни до, ни после.

— Сын врага народа? — спросил я.

— Нет,— ответил мальчик.— Мы за партию сидим, ВППС. Организовали в Ульяновске, листовки расклеивали.

— Что такое ВППС?

— Всесоюзная партия против Сталина.

Больше поговорить не удалось: нас «выдергивали» по одному и водили расписываться, что ознакомились с постановлением Особого совещания.

Не знаю, сколько их было в ВППС, какая была у них программа. Мальчик сказал, что он сидел за настоящее дело, а не зря, как я, не по недоразумению, не потому, что «сын врага народа» и предполагалось, что должен мстить. Но я-то знал, что не собирался мстить, и готов был умереть в борьбе с фашистами, и кричал бы вместе с другими: «За Родину, за Сталина».

Где он, тот мальчик? Что с ним сделали? Что с ним сталось?

А я просто «сын врага народа».

Анатолий Жигулин говорит, что я был в числе тех, кто повлиял на его решение писать «Черные камни». Говорили мы с ним об этом часто и подолгу, но жесткая его проза вновь поразила меня. С такими ребятами, как он или Батуев, я в лагерях, тюрьмах и пересылках не встречался. Скажу больше, мои взрослые солагерники в подавляющем большинстве были людьми с куда большей деформацией сознания. Будучи очень порой образованными, видевшими и знавшими тоже неизмеримо больше, чем те школьники и студенты из Воронежа, эти люди подверглись какой-то тайнственной и тотальной деформации сознания. Ни в коем случае не назову это конформизмом, дело в ином, в том, что я назвал бы влиянием какого-то специфически нашего, отечественного гегельянства, сводившего все к тривиальной формуле, что все действительное разумно, что с данностью надо считаться.

Я всегда был далек от настоящей философии, но мой нынешний добрый знакомый, философ настоящий, имя которого без его разрешения я назвать не хочу, презрительно бросил как бы невзначай в разговоре о нашем другом знакомом:

— Он же гегельянец, что с него взять?

Толя Жигулин-Раевский и те мальчики из ВППС не знали Гегеля и Канта, но руководил ими нравственный императив, хотя и этого термина они не знали.

Гегеля мой отец изучал, Кант был ему, по-видимому, не близок, но дело, конечно же, не в этом. Или не только в этом.

Меня спрашивали: «Правда ли, что вы пишете об отце?» «Когда будем издавать?»

Я отвечал по-разному. Иногда я говорил уклончиво в том смысле, что книг у меня много, а отец один.

И вот главное, что я свидетельствую в данном вступлении как сын и писатель,— мой отец был настоящим коммунистом, настоящим большевиком-ленинцем.

Сегодня очень многие пытаются любым способом опорочить людей, делавших революцию, погибших за нее. Причем тут все беды России и империи начинают исчислять с Радищева и декабристов. Степняка-Кравчинского называют убийцей, а Мезенцева — жертвой, считают, что именно Фурье и Оуэн виноваты во всех ужасах раскулачивания и коллективизации, что именно фаланстеры были созданы Сталиным на Кубани и в Рязани, что Желябов и Перовская виноваты в репрессиях, которые проводили Ежов, Берия и др.

— Перовская и Желябов породили все это!

— А если не они? Если тот же Мезенцев? Если все тот же Муравьев-вешатель?

— Это две стороны одного явления!

Ох уж эта гегелевская диалектика на русский лад! Ох уж это интеллигентское чистоплюйство! Две стороны одного явления? Бесспорно, что убийца и убитый связаны воедино, но путать одного с другим — стыдно и смертельно опасно.

В каком-то смысле это историческое недомыслие, обернувшее свое тупое рыло к обличению революционеров, поносящее Чернышевского заодно с Нечаевым, сделало еще один, подсказанный Сталиным, незаметный шаг назад даже от сталинских времен, не говоря уж о временах Соловьева и Ключевского. Страна, жившая столетия под ужасом Грозного и Малюты Скуратова, твердо знавшая Бирона и Шешковского, теперь забыла о них, чтобы все беды России вывести из Азефа. Пестель стал хуже Майбороды, а Кюхельбекер — Бенкендорфа...

Горько, что именно теперь, в сравнительно благополучное для обывателя время, он, этот обыватель, стал совершенно равнодушен к истине. Даже модное ныне увлечение религией не помогает вспоминать об истинах христианских. Ныне все еще принято говорить, что все относительно, что нет абсолютных истин, что Христа не надо понимать буквально, что «есть многое на свете, друг Гораций...».

Мы живем в удивительной стране, где одни ведут отсчет времени с 1937-го, другие с 1930-го, третьи с убийства царской семьи... И очень мало кто помнит, что жил в России Лев Толстой с его поистине великим и поистине интернационалистским учением, с «Хаджи-Муратом», со статьями «Так что женам делать?», «Христианство и патриотизм», с целым полутомом статей о голоде... А уж В. Г. Короленко и вовсе исключен из сознания. Стоят его тома на полках интеллигентов и тех, кто таковыми себя считают, но идеи русского демократизма, защиты гонимых царизмом русских, инородцев, иноверцев и инаковерцев стерты из сознания. Да что идеи! Стерты и факты. Говорим о суде присяжных, который был высшим до сих пор юридическим достижением, но напрочь забыли о страшной карательной системе «в

административном порядке», которую на высшем уровне с применением новых технических средств возродил Сталин.

Кто нынче не знает аббревиатуры АС (административная система), но относим это в основном к экономике, будто экономика может существовать отдельно от политики А корни?

Вера Засулич избежала тюремного замка только потому, что сразу после оправдания присяжными скрылась от агентов тогдашней АС.

Идеализация царизма, которая то и дело выплывает на свет, носит не ностальгический характер. Она направлена не назад, а вперед, на будущее наше. Но уже сегодня видятся первые столкновения, где, с одной стороны, великодержавный шовинизм и мечта о патриархальном устройстве общества, а с другой — традиции наших демократов, основанные на уважении человеческого и национального достоинства, на терпимости к идеям, к мнениям, к религии и национальным проблемам. И нельзя удивляться тому, что сторонники первой из названных мной тенденций в сегодняшнем столкновении мнений вроде бы вдруг оказались защитниками сталинизма. Не «вдруг» это, а закономерно, ибо третьего никому из нас не дано.

Мы живем в стране, которая зовется Союзом Советских Социалистических Республик, раньше она называлась Россией, но долго была уникально разноплеменной колониальной державой, где — опять же уникально — обратная связь колоний с метрополией была едва ли не важней связи прямой. Русская азиатчина всегда имела мощную подпитку из Азии, и без Азии в ней не происходило ни одно важное событие от времен князя Игоря и вплоть до Великого Октября. Только национальная программа большевистской партии, только статьи Ленина по национальному вопросу в противовес поразительно узколобой шовинистической политике царизма могли обеспечить победу революции. Это так! С этого начиналось, а куда пришло — другой вопрос. Совсем другой.

...Книгу об отце я начинал с разных направлений. То мне казалось, что это должна быть историческая беллетристика, то строгий подбор документов с минимумом комментариев... Я писал, писал, складывал в разномастные папки... и больше в них не заглядывал.

Постепенно я понял, что любые сюжетно-жанровые ухищрения в данной работе — безнравственны по сути. Я должен писать об отце то, что я о нем знаю и что я по этому поводу думаю. А сюжет вечный — он и я, отцы и дети.

Прощались мы с отцом в гостинице «Метрополь» в первой половине сентября 1937 года. Он сказал мне:

— Что бы со мной ни случилось, сынок, что бы про меня ни говорили, знай, что я всегда был честным коммунистом, большевиком, ленинцем.

Я не понимал, что мы прощаемся навсегда, я не понимал, почему в глазах отца слезы, я ничего не понимал в тот миг не потому, что был мал для такого понимания, а потому, что был в шоке, который продолжался много лет. В этом шоке в 37-м, до и после него долго жили люди и вся страна. Видимо, именно шок способствует тому, чтобы вовсе стерлись в сознании причины шока.

(В первом варианте книги я писал, что после процесса 1938 года мой дед по матери, известный московский врач Лев Захарович Зелькин, усиленно лечил меня, месяцами давал какие-то лекарства и в конце концов вынужден был положить в детскую психиатрическую клинику. Я даже пропустил учебный год. Ночные кошмары я помню, но почему мудрый врач был вынужден обратиться к профессиональным психиатрам — понимаю только теперь. Видимо, были основания. Из первого варианта книги эту историю я убрал. Умудренный товарищ сказал, что упоминание о детском психическом расстройстве опасно, это может дать основание теперь упрятать меня в психушку. На основании анамнеза.)

Идут годы, слабеет, конечно, память, жалею, что не записал какой-то эпизод, когда помнил отчетливо. Какие-то имена забываются, но все же не жалуюсь я на память, а вот ни одного товарища по второму классу ташкентской школы № 60, где учился, не помню. Ослепшая в старости моя учительница недавно написала, как я упал в бочку с мазутом... И этого я не помню. Это стерлось, как многое второстепенное, что было в 1937-м и 1938-м. Спасло меня то, что медики называют трудотерапией. Я поступил в автомобильный кружок Дома пионеров, там мы работали на всех станках, освоил я автодело и построил два первых в стране мотороллера. Тогда они назывались еще скутерами. В каком-то довоенном номере журнала «Пионер» была даже моя фотография к статье «Пионеры умеют работать». Через три года в лагере Гушосдора НКВД СССР № 2 я стал автослесарем, и это спасло мне жизнь.

Нет, главное я помню! Помню!

Сознание и память — почти синонимы. Сознание, лишенное памяти,— абсурд. В полном сознании я пишу эту книгу для самого массового читателя.

О памяти

До сих пор мне иногда кажется, что вот-вот откроется дверь и войдет отец. Молодой, стройный, с запыленным смуглым лицом, усталый после дальней поездки в открытой машине по невероятно пыльным дорогам тогдашнего Узбекистана. Войдет усталый и улыбнется мне, мгновенно стерев с лица все свои заботы и тревоги.

Умываться он любил во дворе под краном голый до пояса, делал это быстро, тщательно, но с каким-то особым удовольствием. Спортивно, как мы сказали бы теперь. До сих пор мне кажется, что он может войти, кажется, что я не удивился бы этому.

А в детстве я ждал. Раза два или три случалось, что какой-то человек со спины мне виделся похожим на отца, я долго шел за ним, боясь забежать вперед, потому что в глубине души неосознанно и неотвратимо боялся разочарования. Чары ожидания и

самообмана были потаенные, сладкие, и я мог долго идти за незнакомцем. Однажды в Москве на Пятницкой улице я и вовсе увлекся, сел за незнакомцем в трамвай и продирался сквозь толкучку, радуясь заслонявшим его спинам. У Покровских ворот я увидел лицо незнакомца, оно было совсем чужое, но такое же усталое, как у отца.

Давно уже я старше своего отца и никому не поверю, будто ребенок может забыть родителей. Память живет в каждом из нас вечно. Почти от рождения до самой смерти.

Я хорошо помню отца, но знал о нем мало, и несколько десятилетий ушло на то, чтобы понять его характер, мотивы поступков и слов. Я сижу в архивах, читаю старые книги и журналы, разыскиваю людей, знавших отца в разные периоды его жизни. Теперь все чаще люди сами находят меня по книгам, по статьям, по фильмам. Меня разыскивают через официальные организации, через редакции и Союз писателей.

— Почему вы не пишете книгу об отце?

— Книг у меня много, отец один.

Конечно, это отговорка, лукавая отговорка, чтобы скрыть страх перед книгой, главной книгой, которую редко кому удается написать.

Все ли знают, что ничто в истории не исчезает бесследно, что даже при теперешнем развитии науки и техники, при всех ужасающих средствах уничтожения человечество легче лишить будущего, нежели прошлого, хотя намерения эти одного корня.

Пока на земле есть люди, прошлое не истребить. Человек стал человеком, когда научился передавать и перенимать опыт памяти. Чем вернее, точнее в деталях наша память, тем действеннее, тем полезнее для общества

История. История, лишенная подробностей, никому не щука.

Жажда помнить все — отличительная черта того биологического вида, к которому мы принадлежим. Чем иначе можно объяснить наш постоянный обмен знаниями обо всем прошедшем и ушедшем навсегда? А память на клеточном уровне? Чем выше уровень генетической памяти, тем выше организм.

Тривиально звучит сентенция, что книги, как люди, имеют свою судьбу, но как не удивиться тому, что через десятки лет очень разные люди подарили мне две книги из личной библиотеки отца. Путь этих книг был очень долог н отразил многие социальные и бытовые катаклизмы нашего времени.

Одна из них осталась в нашем доме, когда в него со всей его мебелью, бельем и книгами въехал преемник отца, ставший вслед за ним первым секретарем ЦК КП(б) Узбекистана, Усман Юсупов. Мебель он оставил, не знаю, как поступил с постельным бельем, но книги стояли на своих местах. Дети У. Юсупова росли, выходили замуж, женились... И вот один из этих молодых взял старую книгу, ибо выбрал себе профессией философию. Потом он показал книгу одному из своих научных

руководителей, а тот dыпросил ее будто бы в подарок себе, а на самом деле чтобы, подарить мне. Мы были только знакомы. Спасибо тебе, Игорь Пантин!

Вторая книга принадлежала молодому перспективному востоковеду З. Д. Кастельской. Ее арестовали в 1937 году за то, что она часто бывала в нашем доме, что считалась как бы приемной дочерью бывшего меньшевика, а затем видного большевика Ларина. Все ее книги и рукописи были изъяты в Ташкенте при аресте, эта же чудом сохранилась у подруги, которая по прошествии двадцати лет вернула ее Кастельской. Зинаида Дмитриевна преподнесла ее мне.

Есть и третья книга, такая, как была в нашем доме, но другая — красочный подарочный экземпляр альбома, выпущенного к десятилетию Узбекской ССР. Эта книга содержит много фотографий отца и вернулась ко мне с надписью: «Камилу Икрамову — в память необыкновенную об его отце. Он нас поднял на эту книгу». Подписи — А. Родченко и В. Степанова. Да, Родченко, тот знаменитый художник, о котором даже в Советском энциклопедическом словаре сказано очень много. Александр Михайлович перед смертью пригласил меня к себе в огромную комнату на улице Кирова в Москве. Посреди этой комнаты он вынул несколько пластин паркета и достал из тайника альбом. Вот ведь какой подарок, могший погубить его, хранил и преподнес мне художник с мировым именем, близкий друг и сподвижник В. Маяковского...

Экслибриса у отца не было, он ставил свое факсимиле. Оттиск четкий, разборчивый.

Две случайные книги из очень большого собрания, а для меня каждая из них полна особого значения. Вот, например, капитальный труд по теоретическим проблемам естествознания: Густав Лебон, «Эволюция материи». Петербург, 1914 г. Перевод с двенадцатого французского издания Эпиграф: «Ничто не создается, все теряется. Интра-атомная энергия, освобождающаяся при дематериализации материи начало большинства сил мира».

Быть может, с точки зрения современной теоретической физики книга Лебона выглядит наивной или, напротив, интересной и поучительной, но я представляю себе, как читал эту книгу мой отец, как много она открывала ему.

«Современная научная мысль отличается резкой революционной настроенностью. Она восстает против укоренившихся в науке догм, отвергает отжившие доктрины и требует пересмотра некоторых основных своих принципов. Наряду с этим мы наблюдаем процесс сближения науки с философией».

Так начинается этот ветхий том, посвященный энергии, заключенной внутри материи, предсказывающий в области физики то, чему мы являемся свидетелями. Есть в этой книге несколько абзацев, чуть заметно отчеркнутых карандашом.

«Среди занятий, наполняющих столь короткие моменты нашей жизни, никакие, пожалуй, не приятны так, как искание скрытых истин, протаптывание тропинок в окружающее нас необъятное неизвестное».

Не было у отца и самых кратких моментов для протаптывания новых тропинок в физике, его жизнь была отдана другому — пути в столь же необъятное и неведомое будущее. Его поколение обладало небывалым никогда прежде социальным оптимизмом, который и ныне волнует всех, кому по-настоящему и бескорыстно дорога наша история.

Так уж повелось, что быть оптимистом стыдно, что во все времена пессимизм больше свидетельствует о мудрости. Оптимист — вроде недоумка, а Экклезиаст умнее Моисея и Христа. Но так ли это на самом деле? Отчего же в Библии он только глава, одна из многих составляющих ее книг?

Нет, я отдаю должное мужественному, бескорыстному и открытому социальному оптимизму русской интеллигенции, тому оптимизму, который заражал многих обработанных людей в разных нациях и народностях тогдашней России.

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». Это не Лебон, это Пушкин.

Вторая книга из библиотеки отца издана много позже первой, но устарела куда сильнее.

М. Барановский и С. Шварсалон, «Что нужно знать о Китае». Московский рабочий, 1927 г. На обложке и на титульном листе — столбиком по алфавиту наиболее важные, по мнению составителей, понятия, наиболее значительные и.гена. Приведу этот перечень целиком. «Что т а к, о е: Аньгоцзюнь, Аньфу, Боксерское восстание, Гоминдан, Джентри, Красные пики, Лицзинь, Манчуани, Сетльмент, Тайпи-нское восстание, Шеньши. Кто такой: Ван-Цзин-вей, Евгения Чен, Ли Да-чжао, Сю Чен, Тан Ен-кай, Тан Пин-сян, Фын-Юй-сян, Чан-Кай-ши, Чен Ду-сю, Чжан Цзо-ли. Чжан Цзун-чан».

Книга вышла в год моего рождения, а нам всегда кажется, что это не так-то уж и давно, нет в ней, однако, еще имен и названий, которые долго не сходили с наших уст. Китай от Узбекистана недалеко. Ближний сосед, а китайцев в городах Средней Азии еще на моей памяти было полным-полно. Почему-то уверен, что отец и про Китай знал больше меня.

Не могу поручиться, что Акмаль Икрамов внимательно прочитал все книги домашней библиотеки: она была внушительной. В одном уверен: любая книга была пролистана, просмотрена, оценена, прежде чем он ставил ее на полку. Он читал быстро, одинаково хорошо на трех языках — узбекском, русском, фарси. Арабский знал хуже, в пределах Корана и основной религиозной литературы. В конце жизни отец научился читать по-немецки. Времени на чтение у него было ничтожно мало, а интерес не угасал. Я видел его читающим у книжного шкафа, стоял иногда часами. Из многих книг, которые всегда лежали на тумбочке возле кровати, мне запомнились две: одна — со страшными и пророческими для нашей семьи фотографиями — про немецкие концлагеря, другая «Золотой теленок» с иллюстрациями К. Ротова.

Зачем мне память на эти мелочи? А зачем, к примеру, старому инженеру из Донбасса упорно разыскивать меня, исписывать десятки страниц и звать в гости, чтобы сообщить мне нечто, что, как самому этому старику понятно, ничего исключительно не содержит? Вот ведь совсем недавно вскрыл я пакет с незнакомым обратным адресом из неведомого мне Доброполья. На стол выпала бумажка — ответ из журнала «За рулем», в котором некоему товарищу Яксону сообщалось, что английские заводы «Тальбот» и «Напир» в настоящее время не выпускают автомобилей; первый давно слился с фирмой «Самбим», второй специализируется на авиамоторах и поглощен фирмой «Роллс-Ройс».

Еще в том пакете лежала ученическая тетрадка и письмо. Потом пришло еще несколько таких тетрадок.

В. А. Яксон работал шофером в ЦК Компартии Туркестану с 1922 года вместе со своим отчимом, который возил моего отца еще в 1919 году. Отчим был эстонцем и старым коммунистом, пасынок — латыш.

Воспоминания, присланные мне без всякой просьбы, очень конкретны, посвящены шоферской работе и шоферским впечатлениям, но содержат в себе и весьма трогательные отступления со ссылками на Улугбека и Гёте. А ответ из журнала «За рулем» оказался в пакете потому, что Валентин Августович Яксон хотел попросить для меня фотографии тех машин, на которых он возил отца. Это у него не получилось, не поняли его в журнале.

Есть расхожая фраза: «Никто так не врет, как авторы мемуаров». Видимо, есть для такого мнения свои основания, возникшие тогда, когда врали почти все, однако меня лично в воспоминаниях поражает противоположное — удивительная точность. Правда, чаще всего это бывает в устных воспоминаниях. Порой расскажет человек нечто, противоположное общеизвестным фактам: начнешь проверять, в чем ошибка, а ошибки-то и нет. Архив доказывает.

Не поверил я родственникам, будто дядя моего отца Абду-Рауф Абду-Вахид, по уличной кличке Джигут-домля, был депутатом Государственной думы. Говорили, будто его потом арестовали и заковали в кандалы. Рассказывали об этом старшая сестра отца Русора-амма, мусульманская учительница, ни слова не говорившая по-русски, и ее дочь Шарипа — преподаватель вуза. Я твердо решил, что они путают Государственную думу с городской и не может быть, чтобы депутата Думы заковали в кандалы. Путает старушка, путает дочка, не знает она про тогдашние законы и депутатскую неприкосновенность.

Историк подсказал мне, что речь, видимо, идет о выборщиках в Думу. Были в Туркестане выборщики.

Но вот теперь передо мной ксерокопия: «Дело Туркестанского Охранного Отделения об обысках и арестах бывшего члена 2-ой Государственной Думы Абду-Кариева и его единомышленников за пропаганду против государственных идей. По

описи № 40, начато 30 января 1909 года». (Вот ведь как: не против государства, а против государственных идей!)

Подтвердилось и вовсе казавшееся мне легендой. Дядя моего отца был сослан в Тулу. Напомню, что Шамиля сослали в Калугу, видели какую-то целесообразность поселения в таких местах опасных инородцев. А во время ссылки мой двоюродный дед ездил в Ясную Поляну беседовать с Львом Толстым. Это установлено документально. Верю я и в то, что туркестанский мулла вылечил травами дочь какого-то тульского начальника, кажется, полицмейстера, за что досрочно возвращен был восвояси.

Дастархан

Большинство свободных бесед о прошлом проходит за дастарханом. Слово «дастархан» многозначно, это и просто праздничная скатерть, и то, что на эту скатерть выставляют, и просто всякое угощение от души. Сидеть за дастарханом можно много часов, и горько ошибается тот, кто подумает, будто сможет поглотить все, чем угощают. Дай бог, попробовать по кусочку, по ломтику, по ягодке, по ложке. Зато все, что говорится за дастарханом, надо помнить крепко, ни слова тут не промолвят зря, все сказанное запомнит хозяин и от гостя всегда ждет того же. Вот почему главы-отступления от основного сюжета я позволяю себе обозначить этим словом — дастархан.

Моя тетя Русора-амма, уже упомянутая выше, была старше своего брата лет на двенадцать, умерла в девяносто лет и до последних дней сохранила ясную память и острый ум. Это она, слушая мои рассуждения об интеллигенции в нашем роду и интеллигентности вообще, предположила, что корень этого понятия узбекский, от «интельгян» — стремящийся, обладающий высоким стремлением. Я не стал разуверять ее. Пусть так. Это важное дополнение к латинскому истоку — разумный, понимающий.

Жаль, что Русора-амма не увидела памятника своему младшему брату, который встал теперь на одной из новых площадей Самарканда. Отец стоит в рост, высокий, стройный юношески легкий.

В двадцатые годы Самарканд был столицей республики, есть там Музей истории и культуры Узбекистана имени Акмаля Икрамова, есть дом, в котором отец жил и где решено создать его мемориальный музей, а дом в Ташкенте, в махалле Укчи, где отец родился, исчез после знаменитого землетрясения.

Дом

Я плохо помню его — только запах солнечного света в смеси с пылью, только калитку, только супу — глиняное возвышение посреди двора, только пустые помещения для скота, только балахану[1]... Много чего в отдельности, по частям, но мало целого, единого. Наверное, это потому, что я в нем никогда не жил.

Дом этот принадлежал моему дяде, старшему брату отца. Отец звал его почтительно Карим-коры, остальные еще более почтительно — Карим-коры-ака. Старший брат отца, старший среди пяти братьев, он отличался от всех суровостью и — пусть простит он мне эту невольную объективность — раздражительностью ко всем окружающим. Две его сестры, строгая и мудрая Русора-амма и младшая — Садыка, до самой своей смерти не одобряли покойного брата, сокрушались по поводу его характера и отношения к близким.

Он был похож на нашего отца,— сказали мне тетки, и я едва скрыл свое удивление: узбеки редко говорят так определенно о недостатках своих родственников, тем более — родителей.

— Икрам-домла суровый был,— сказала старшая из дочерей.

— Очень,— добавила младшая.

— А отец? Мой отец?

— Он другой. Он совсем другой, все были на мать похожи. Один Карим-коры на отца.

Дом моих предков располагался в той части города, которой археологи насчитывают две тысячи лет, а по преданию, существующему в нашей семье, на этом месте мы жили лет шестьсот.

1 Балахана — нечто среднее между чердаком, где хранят сено, и мезонином, где можно жить.

Дом этот после смерти деда и ухода оттуда моего отца принадлежал старшему брату, жили там и .меньшие. Плохо помню Карим-коры, совсем не помню его улыбки, его голоса, только густые, широкие брови. Знаю, что его году в тридцать третьем укусил чрезвычайно ядовитый паучок каракурт, и тут к трудному нраву дяди добавилось плохое здоровье.

Мы с отцом и матерью иногда ездили навещать Карим-коры с подарками для жены и детей, которых у него было пятеро. Жену Карим-коры мой отец уважал и жалел, по узбекскому обычаю, называл келин-ойе, невестка-мама, в семейных конфликтах всегда становился на ее сторону.

Дом предков остался только в памяти. Весь район снесли, но первым среди многих похожих и столь же древних исчез наш. Сразу после знаменитого Ташкентского землетрясения 1966 года мой двоюродный брат Амин, сын Карим-коры, получил участок для строительства нового дома, старый же разломал окончательно, чтобы использовать столярку, дерево стропил и каркаса.

— Всей семьей ломали,— объяснил он мне, почему наш дом разрушен сильнее соседних.— Очень крепкий был.

Теперь говорят, что Акмаль Икрамов родился возле стадиона «Пахтакор». Раньше был другой ориентир — мечеть Шейхантаур, когда-то главная мечеть Ташкента.

Вообще вся наша родня селилась вблизи этой мечети. Оно и понятно, если учесть, что мы происходим от основателя этой мечети шейха Хованди Тахура, родословная которого восходит будто бы к халифу Омару, одному из основателей Арабской империи и первому редактору Корана. Относительно халифа Омара мне проверить пока не довелось, но дедова родословная — шаджара — сохранилась у родственников. С датами и именами она ведет к шейху, которого поэт Абдуррахман Джами считал своим наставником.

Все это я узнал сравнительно недавно и без какого-либо сознательного интереса. Говорил со стариками, с учеными, с родичами, с историками: вопросы возникали сами собой, и постепенно я узнал, что отец мой родился в семье, насчитывающей четырнадцать поколений интеллигенции. О дальних предках, кроме имен, дат рождения и смерти, известно крайне мало. Зато о тех, кто окружал отца в детстве, удалось кое-что узнать. Дед мой, домла Икрам, был учителем и вероучителем, образование получил в Бухаре и совершил хаджж в Мекку. Сохранился его паломнический посох, который теперь стал коротеньким, как скалка, потому что верующие отрезали от него по кусочку и делали талисманы. Один из дядьев отца, Алимхан, был весьма образован, сотрудничал в «Туркестанской газете», дружил с русским ученым Остроумовым и выступал с публичными лекциями о достижениях естественных наук. О другом дяде — члене 2-й Государственной думы — я уже рассказал.

Бесспорно, что отец многому научился от своих двух старших родичей, но были и другие его учителя, о которых я расскажу, стараясь быть как можно ближе к правде, к тому, что мне удалось узнать.

А дом, в котором родился мой отец и еще по крайней мере десяток колен семьи, я все-таки помню. Иногда отец показывал его, когда устраивал для своих приезжих из Москвы друзей экскурсии в Старый город.

Одного из гостей я запомнил больше других, потому что его приезда ждали.

Невысокий, быстрый в движениях, рыжеватый, если не сказать рыжий, он был крайне и искренне внимателен ко всему, что видел вокруг. Сначала отец обратил внимание гостя на резную тутового дерева калитку, которых тогда в Старом городе было много, объяснил значение традиционного узора, а во дворе сразу повел москвича к... уборной

— Посмотрите, Николай Иванович, какая глубокая яма, и, заметьте, что совершенно нет запаха. Если бы мы, узбеки, нация, живущая так тесно в городах, да еще в нашем климате, не соблюдали санитарных установлений, мы бы вымерли от эпидемий.

Николая Ивановича очень уважали в нашем доме, фамилия его была Бухарин, и совсем недавно, даже работая «в стол», чтобы назвать фамилию, я должен был

преодолеть какое-то весьма ощутимое внутреннее сопротивление — сопротивление страха.

Сопротивление страха влечет на замену одних слов другими, имен — псевдонимами, а фактов — аллюзиями. Но настоящая беллетристика не должна быть легче документа, а до последнего времени она строилась не столько на изобразительных средствах и метафорах, сколько на эвфемизмах, намеренном сокрытии истины.

И все-таки...

Все-таки я добросовестно решил рассказать о том, чего не знаю документально, что почувствовал, понял, чем «проникся».

Прежде всего это атмосфера дома моего деда, взаимоотношения между родственниками, уклад и быт Предыстория моего отца, как я ее себе представляю по многочисленным рассказам близких. Или вот еще — русская колониальная администрация, те люди, которым было судьбой предназначено править огромной окраиной, населенной тьмой загадочных для них «туземцев». Кто были эти люди? Чего они ждали, чего хотели в канун событий, которые для многих обернулись катастрофой?

Чтобы объяснить кратко самые основные исторические, экономические, социальные, религиозные, психологические особенности времени и среды, нет способа более емкого, чем тот, который крупнейшие писатели века прошлого без всякого самоуничижения называли беллетристикой, а себя беллетристами. Да и очерки нравов в лучших своих образцах приближались к образцам изящной словесности и сильно отличались достоверностью своей оттого, что, отнюдь не являясь литературой факта, называло себя в последние годы документальной литературой.

Попытка беллетристики

Ни один узбек не вернется домой без подарков близким Даже если отлучка была недельной. Без подарков нельзя. Пусть это будет торбочка сухого урюка, горсть джиды или скромный букетик, который он разберет по цветочку для каждого и вручит со значением.

Акмаль возвращался из кишлака Пскент. Месяц с лишним не был дома и в путь отправился не утром, как настойчиво советовал хозяин, а на ночь глядя.

На дорогах шалили. Это только говорится так — шалили. Разбой, которого и прежде вокруг Ташкента хватало, теперь, во время мировой войны, стал повсеместным. Грабили купцов и простых дехкан, грабили и убивали одиноких путников, нападали группами в два-три человека и большими вооруженными шайками. Голодные грабили сытых, а порой и сытые сытых..Такая пошла жизнь.

Иброхимбай, у которого Акмаль прослужил все лето и осень, считался человеком достойным, род свой вел от святых, хозяйство имел крепкое, держал лавку, имел и трех батраков. Акмаль был один из них, но хозяин выделил его. Вот и теперь, подводя итог долгой службы, Иброхимбай расчет произвел тщательно и до копейки, а сверх всего попросил передать родителям отрез черного ситца в мелкий цветочек и целую голову сахара, обернутую в синюю с белым бумагу.

Весной, нанимая Акмаля, бай Иброхим Ходжи Алимбаев полагал, что новый работник не только для поля пригодится, не только для строительства. На эти дела и в кишлаке людей хватает. Акмаль — сын друга, почтенного ташкентского муллы Икрама, почти родственник: грамотный, умеющий вести торговые книги, несмотря на молодость, знаток Корана и других священных книг.

Бог не дал баю Иброхиму сына, способного взять на себя все дела. Именно с мольбой о сыне ходил пскентскии мулла в Мекку и Медину, именно в хаджже к священной Каабе познакомился и сдружился с муллой Икрамом. Теперь мулла Иброхим мечтал породниться с ним. Ни для кого в Пскенте это не было секретом. «Хочет женить Акмаля на своей Ханифе». Об этом говорили вслух.

Еще во время долгого пешего паломничества через несколько стран Востока мулла Иброхим проникся особым уважением к мулле Икраму. Для людей практической сметки часто бывает притягательным все, что выходит за пределы их собственных соображений. Большинство паломников в той небольшой группе шло к святым камням в надежде обрести нечто конкретное для себя: здоровье, уважение, удачу в торговых делах, более солидное положение среди богословов — улемов. Икрам шел в хаджж и молился не о конкретном, не о земном, он просил просветления и стойкости в вере.

Вот еще весной предложил Иброхимбай новому работнику самостоятельно выезжать с товарами на базары. Семь базаров в неделю проходили в округе. Кто бы отказался быть доверенным приказчиком?

Акмаль отказался. Над торговыми книгами он трудился по вечерам и с интересом, тонкости бухгалтерии понимал, сложные проценты считал в уме.

Бай Иброхим диву давался, как Акмаль ловко составляет счета владельцам двух хлопкоочистительных заводов — татарину Давыдову и поляку Тарсиновичу. Толково он брал товары в кредит. Стоять же за прилавком не хотел.

— Тут, мулла-ака, не ум нужно иметь. Тут другое надобно, чего у меня нет.

Высокого полета парень, думал о будущем зяте пскентскии купец. Все увидит и отрежет, что и не заметишь, обидеться не успеешь.

Записав в книгу расходов стоимость ситца и сахарной головы, хозяин ни о чем не пожалел. Наступило новое время, видимо, это время таких непонятных.

С котомкой, переброшенной через плечо, Акмаль шел по начинающей твердеть холодной грязи. Ничто не могло испортить его радостного настроения. Даже значение щедрых подарков не омрачало. Пусть! Жениться он не собирается. Ни на ком. На Ханифе тем более. Голова сахара — отличный подарок. И ситец прекрасный. Мать спрячет его в сундуке и тут же очень скоро — Акмаль знал это — Зохиде подарит, первой и единственной своей невестке, жене старшего брата Карима.

Кенойе, так звал ее Акмаль, была любимицей матери. Тихая, скромная, худенькая, как тростинка, в сложной системе родства она приходилась сыновьям муллы Икрама двоюродной сестрой.

Всем Акмаль нес подарки. Младшим братьям крохотные ножи — пчаки, отцу — несколько аршин английской кисеи на чалму, матери — конфеты и два фунта фисташек. Все это вместе с подарками бая Иброхима составляло поистине достойный по случаю возвращения дар блудного сына.

Притча о блудном сыне занимала Акмаля. Варианты ее в приложении к конкретной ситуации могли быть разными. Не хотелось думать, что все будет по-старому: не зря же ушел он из дома, не зря еще раньше пробовал себя в самой тяжелой работе.

Шел батрак в азиатских остроносых галошах на босу ногу, в дешевом халате и выгоревшей тюбетейке, шел по-летнему одетый, но не мерз. За пазухой половина лепешки, на спине торба. Шел батрак и думал обо всем сразу: о восстаниях, вернее, бунтах, которые небывало всколыхнули в лето и осень 1916-го, если по-европейски считать, целые области Туркестана, о казнях сотен людей, о ценах, взлетевших невероятно, о том, как на глазах стала разваливаться и слабеть система, казавшаяся незыблемо твердой, система такая вроде бы совершенная в своей всепроникающей продажности и беспринципности. Еще он думал о жестком разделении городов покоренного края на две части — азиатскую и европейскую, между которыми самая настоящая пропасть. Лишь тот, кто никогда не бывал в горах, не знает, что пропасти начинаются с самых безобидных расщелин и оврагов.

Шел батрак Акмаль и вдруг на полдороге понял, что все происходящее необратимо, что нет тут остановки, никто не затормозит все убыстряющегося движения, никто не сможет повернуть вспять. Еще он понял, что Россия проиграет войну, проиграет — вот главное. Белый царь — акподшо, всегда побеждавший своих врагов, так постоянно твердили русские газеты, белый царь, собравший под свою. руку самые разные народы, теперь доживает последние дни.

Белый царь — ак подшо. Акмалю почему-то удобнее было называть царя Николая словами, распространенными среди простых узбеков.

Ак подшо Николай II уйдет навсегда, сгинет, несмотря на то, что весь мир, казалось бы, для него свой: Англия и Франция с ним заодно и даже враг — германский царь Вильгельм — ему родственник. Ак подшо, белый царь, сгинет и утянет за собой сотни тысяч своих слуг, всех этих генералов с усами и в эполетах.

Еще перед войной Акмаль стал читать русские газеты. Тогда случился очень крупный разговор с отцом. Зачем вспоминать это? Отец — это отец. Строгость его и суровость давно не удивляли Акмаля. Может быть, именно благодаря отцу сын понимал теперь неизбежность крушения старого мира. Может быть, отец первым среди родни ощутил это и потому так неистово противостоял всему новому, что входило в жизнь, так истово хватался за все устоявшееся, так старательно хотел огородить свой дом и своих детей.

Акмаль перекинул мешок с подарками на другое плечо. Пятифунтовая коническая голова сахара ощутимо ударила по лопатке. А насчет женитьбы на дочери Иброхимбая он и думать не станет.

О крушении империи начальник канцелярии Туркестанского генерал-губернаторства Алексей Николаевич Ерофеев не помышлял. Империя казалась ему крепостью во веки веков. Недостатков за ней он знал множество, много больше иных либеральных критиканов, но в отличие от них генерал верил в возможность все исправить и все наладить. Было бы только время.

Это как в шахматах, когда на необходимое количество ходов остается все меньше минут. Ходы нужно делать точно, а времени нет, только успевай толкать пешки...

Революционеры хотят решить все российские проблемы - сверху, а говорят — будто снизу. Бомбы метали, чтобы царей заставить все менять, чтобы парламент, чтобы свобода, равенство, братство. Не для России это. Каждое государство — организм особенный, неповторимый. Что русскому — здорово, то немцу — смерть, недаром говорится. Взять хотя бы размеры, размах. Россия — это ведь не Тульская плюс Вологодская да Воронежская губернии, это ведь и самоеды с чукчами, малороссы с белорусами, поляки с грузинами, сарты всякие, киргизы, якуты. Это не одна земля, не один уклад, как во Франции какой-либо или же в Англии.

После ужасающего по своей неожиданности разгрома великой нашей державы в войне с крохотной островной и недавно еще полудикой Японией все стали искать причины: революционеры, жиды, интенданты... Но ведь причина поражения именно в том, что не каждый на своем месте хотел, не каждый умел честно исполнять долг, думал он. Вот и тут, в Туркестане, большинство бед от собственно туземной администрации, от волостных судей. Ну и наши россияне хороши. Соблазны больно велики, но не понять, кто кому уроки дает.

Сводки из действующей армии Алексей Николаевич читал всегда с одним и тем же выражением на лице — одна бровь чуть выше другой, губы трубочкой.

Если бы наука история служила только в поучение, ее бы так не ценили. Огромное число людей, особенно из власть имущих, любят историю не за горькие уроки — за ее утешительность. Взять хотя бы войну с Наполеоном. Чему она учит? А тому в первую очередь, что и падение Москвы не означало ничего окончательного.

Статистики выкладывали перед ним тревожные таблицы, сообщали и о том, что в Туркестан вместо необходимых 7000 пудов хлеба завезена лишь четвертая часть, что спекулянты торжествуют, а цены на муку и рис подскочили за год вдвое, на сахар и сало втрое. Но разве это существенно? Когда начались бунты в связи с реквизицией, полковник Лелютин из Туркестанского охранного отделения явился среди ночи. Любят жандармы власть пугать, цену себе набивают.

В конце концов все обошлось. Войска действовали умело, грамотно, по плану. Мятежные кишлаки сровняли с землей, выжгли посевы и сады, стреляли всех подряд. Но и законность была соблюдена: к смертной казни — всего 347 человек, на каторгу — 525.

Главной заботой теперь казалось другое — волнения среди русских. Началось с бабьих бунтов. Отвратительные эксцессы самой темной, неуправляемой части толпы — женщин. Озверелые от голода, они громили лавки, камнями забрасывали полицейских. Туземцы в этом почти не участвовали. Почти. Пока удавалось сделать так, чтобы две волны недовольства, волна туземная и русская, не превратились в девятый вал.

Перечитывая подготовленную для отправки почту, Алексей Николаевич поймал себя на мысли — в который раз поймал себя на этой мысли и в который раз не задержался на ней,— что сообщает он только успокоительные вести, только то, что по сути своей никакой особой реакции от читателей и не требует. Он взял из шкафа папку с копиями телеграмм, отыскал ту, что отправил в разгар восстания, когда устроили в Ташкенте военный парад для демонстрации силы русского оружия.

«Сего числа после парада почетные туземцы города Ташкента и туземцы — гласные ташкентской городской Думы обратились ко мне с письменной и словесной просьбой, что они, потрясенные и подавленные явным неповиновением некоторой части ташкентских горожан высочайшему повелению о привлечении туземного населения к тыловым работам, просят верить их глубокому возмущению дерзостным преступлением безумных ослушников и искреннему желанию искупить их великую вину...»

Генерал покачал головой. Тут не между строк можно прочесть, тут слова ясные: «потрясенные и подавленные явным неповиновением» и еще «дерзостные преступления безумных ослушников». Ясно сказано!

Ноябрь шестнадцатого года был сырым, ночью температура опускалась к нулю. Вот и сейчас в кабинете генерала ощущалась типично среднеазиатская холодная промозглость.

Алексей Николаевич помедлил, размышляя, позвать ли кого, чтобы растопили камин, самому ли это сделать. Он оглянулся: за бронзовой решеткой под высокими синего кафеля сводами толково лежали сухие лучинки, кривые обломки плетей саксаула, тяжелые полешки старых фруктовых деревьев.

Генерал, чуть кряхтя, опустился на корточки, чиркнул спичкой. Приятно видеть, как разгорается дерево, как послушен огонь человеку. И покряхтывать тоже приятно, не старческое это кряхтенье, а особое, вроде геканья, которое так необходимо при колке дров.

Здесь холодно, а каково полуголым бедолагам у Белого моря, каково им за Полярным кругом? Плохо, очень плохо. Но ведь надо. Необходимо. Некому больше строить важную железную дорогу. Велика Россия! Велика и потому преодолеет любую хворь.

Алексей Николаевич встал от жарко пылавшего камина, подошел к столу, на листке текущих дел сделал еще одну запись: «Усилить пропаганду патриотизма во всех изданиях русских и туземных. В церквах и мечетях».

Генерал подошел к окну, выходящему на просторную террасу. В летние дни она так спасала от зноя и слепящего света, теперь казалась угрюмой, пустой. Нелепо стояла белая плетеная мебель: стулья, столы и кресло-качалка. За круглыми массивными колоннами начинался сад. Он был тосклив в этот утренний холодный час. Последние листья казались черными.

Я потому позволил себе описание генерала, начальствующего в Туркестане, его дома, камина и сада, что располагаю не только документами, свидетельствующими о событиях шестнадцатого года и о ходе размышлений крупного колониального администратора. Дело еще в том, что мне слишком знаком этот дом, этот сад, эта мебель. В 1936 году по прямому приказу Сталина туда была переселена семья первого секретаря ЦК КП(б) Узбекистана.

До 1936-го мы жили в скромном доме на улице Уездной, где прежде жил, кажется, какой-то землемер. Пять комнат на семь человек семьи и домработницу, причем одна из комнат была для приезжающих гостей, еще одна — служебным кабинетом. Их много было, одинаковых домов на Уездной. И еще много таких же и лучше на улицах, параллельных и перпендикулярных нашей,— колониальный Ташкент, уютный, зеленый, с журчащими арыками. Он отделялся от Старого, азиатского, города военной крепостью, построенной по всем правилам фортификации XIX века после завоевания-Ташкента. Рашидов потом построил там новое здание ЦК партии, а за ним — резиденции и дома для начальства.

Наше насильственное переселение в 1936 году запомнилось ярко. И писать об этом надо, ибо никто, кажется, не отметил, как, стерев всякую память о партмаксимуме, Сталин стал покупать, подкупать, разлагать своих сподвижников, руководителей партии в центре и на местах. Чем больше крови проливал он, тем важнее было создавать окружение, живущее не так, как народ, а так, чтобы этому окружению завидовали, чтобы рвались в него за благами, за особняками, дачами с поварами...

Помню, как всей семьей мы поехали осматривать дом, который сам Сталин предназначил Икрамову.

Тяжелые, медью окованные двери, из прихожей три ступеньки вверх, а над вторыми дверьми — кариатиды. Столовая с двумя коринфскими колоннами, кабинет с гнутой мебелью, обтянутой голубым шелком да еще с фарфоровыми медальонами на спинках.

Отец был предельно резок с тайно ухмыляющимся управделами. Тогда я впервые услышал слова «кариатиды» и «гризетка».

— Я ведь не гризетка, чтобы была такая мебель. И потом, эти кариатиды... Их же простые узбеки пугаться будут. С черного хода, что ли, их приглашать?

Мебель сменили, кариатиды остались. Ровно год мы прожили в этом доме. Там уже появилась специальная повариха, а в «черном» дворе — комнаты для дворника и для дежурных комиссаров, как называли тогда телохранителей в больших чинах ГУГБ НКВД СССР, подчиненных только Москве.

Исследователи найдут со временем документы о том, как росли ассигнования на быт партийных и государственных руководителей. Найдутся и документы об усилении охраны, которая обосновывалась, конечно же, убийством Кирова, но по сути была конвоем.

Подозреваю, что Серго Орджоникидзе убил кто-то из его «комиссаров». Кто же еще? А главный комиссар моего отца Фролов еще недавно жил-был в Ташкенте. Почему я не захотел встретиться с ним? Отец относился к нему добродушно, но с недоверием, шутил словами из анекдота про то, как послал Иисус Христос учеников своих в Россию, чтобы узнать о происходящем. Один телеграфировал: «Сижу в Чека, пока. Лука», а другой: «Жив-здоров! Комиссар Фролов».

Но не в этом главное, что хочу сказать. Главное в том, когда Сталин начал превращение своей администрации в систему имперскую, такую, чтоб ни по сути, ни по форме не отличалась бы от царской. И коррупция тогда стала зарождаться в качестве неотъемлемого права. Я знал Рашидова, знал о размахе коррупции в Узбекистане, о связи Рашидова с Брежневым, Щелоковым, Чурбановым и выводил все это из режима личной власти, который установил в республике следующий за нами жилец генеральского дома У. Юсупов.

Недавно из письма в редакцию «Литературной газеты» узнал, что Усман Юсупов имел в 1944 году собственную подпольную артель, производящую вино, сбываемое за наличные в городах индустриального Урала. На эти деньги еще в то время У. Юсупов подкупал самых высоких покровителей из ЦК, из ближайшего окружения Сталина. Автор письма сообщил, что был в ту пору инспектором ЦК ВКП(б), а ныне персональный пенсионер союзного значения и живет в Доме на набережной. Это Андреев Петр Федорович, который за дотошность свою вскоре по личному указанию Г. М. Маленкова был не только изгнан из аппарата ЦК, но даже исключен из партии. Восстановили его честь только после XX съезда.

Я познакомился с Петром Федоровичем, с его женой и взрослыми детьми. Он подробно рассказал, как обнаружил винодельческую подпольную артель, огромное животноводческое хозяйство, табун текинских скакунов, как дал шифровку Маленкову и получил ответ: «Проверку немедленно прекратить». Потом Петр Федорович рассказал, как вскрыл взяточничество и хищения в самом ЦК, в Управлении делами и комбинате питания. Он покусился на святая святых, и не арестовали его лишь потому, как полагают в семье, что Берия сохранил Петра Федоровича в качестве свидетеля, впрок на будущие «компроматы» против соперников. Член партии с 1920 года П. Ф. Андреев до самой войны работал на крупных должностях в торговле и финансах. На фронте был очень тяжело контужен и после выздоровления взят в ЦК на контрольно-финансовую работу.

Он рассказывал об этом на мой магнитофон, называл крупные имена, а я думал, что отсрочка с окончательным разоблачением Сталина и его банды была совершенно необходимой не только тем, кто убивал, но и тем, кто воровал Преступления, им вскрытые, как и его персональное дело,— за семью печатями, но жив он и в свои 87 лет отлично помнит даты, цифры, имена. Помнит он винодельческую артель, ее счета, помнит дачу, помнит и дом на улице Гоголя.

Бедный Гоголь, великий Гоголь! Как хорошо, что улица эта носит его имя! Не знамение, не напоминание — просто история.

...Такая вот судьба жильцов дома, где когда-то жил царский генерал, потом мы, потом У. Юсупов, потом была столовая ЦК, потом библиотека сельхозинститута. Теперь там консульство республики Афганистан.

Акмаль шагал по городу, по его узким, произвольно искривленным улочкам с короткими тупичками, с низенькими воротцами, крохотными, утопленными в землю калитками. За дувалами началась жизнь, вились слабые горьковатые дымы, где-то заблеяла овца, где-то протяжно мычала корова. На углу у базарчика пожилой узбек снимал с пегого ишака вязанки хвороста, привезенного на продажу. Ишачок был маленький, молоденький. Почувствовав облегчение, он вдруг вскинул голову и завопил. Вопль был торжествующий и беспричинный. Вопль молодости. Хозяин пнул свою громогласную скотину ногой.

Зря он дерется, подумал Акмаль. На такой веселый крик обязательно кто-то выглянет.

Только взявшись за черное кованое кольцо резной калитки родного дома, блудный сын муллы Икрама понял, как он устал и как голоден. Половина лепешки так и лежала за пазухой, ее сухие края кололи кожу.

Икрам-домла слышал радостные возгласы и суету во дворе, потом, в доме, долетел до него горьковатый запах дыма, потянуло вкусным, машхурдой — супом из мелкого-мелкого черного гороха. Маш — называется этот горох — самый дешевый тогда продукт, пища бедняков. Домочадцы говорили тихо, почти шепотом, лишь голос

Акмаля выделялся звонкостью. Это мешало войти в то состояние, которого требовало общение с богом. Губы сами произносили длинные и великолепные в своей устойчивости стихи, худое тело легко гнулось в поклонах. Губы и тело обращались к Аллаху, но внутри бились мирские чувства и соображения. Вернулся сын. Самый любимый, самый сложный, самый упрямый До сих пор не удалось сделать его своим подобием. Тревожные мысли мешали молиться о главном, о здоровье своей жены Таджинисо, о здоровье, которое прежде никогда его не занимало, о котором и не заботился. Брат Алимхан заходил, предлагал пригласить русского доктора. У Алимхана много знакомых русских, он на них надеется. И Абдувахид вчера поддержал Алимхана. Пусть, мол, придет русский доктор, нигде не сказано, что ислам запрещает получать помощь от неверных. Икрам-домла не возразил им, промолчал.

За все утро Икрам-домла улыбнулся один раз. Это была не улыбка, а ее слабый луч, пробившийся откуда-то изнутри. Он отличил смех жены, тихий, журчащий. Так она смеялась редко, так умел ее веселить только Акмаль.

Если бы кто-то посмел спросить старого вероучителя, любит ли он свою жену, он прежде всего удивился бы вопросу. Разве об этом спрашивают? Она была матерью всех пяти его сыновей, а всего рожала девять раз. Таджинисо была второй его женой. Первая, Розия, родила двух дочек и перед смертью своей сказала: женитесь на Таджинисо Ничего, что она прихрамывает, зато добрая, умная, образованная.

Женских голосов в доме прибавилось, это пришли замужние дочери Русора и Садыка. Невольно прислушиваясь к происходящему в доме, мулла вовсе отвлекся от молитвы. На ташкори[1], наверное, уже собрались ученики, пора идти. Тяжкий труд быть учителем, тяжкий и неблагодарный. До прошлого года в доме работали две школы, мальчиков учил он сам, девочек — Таджинисо.

Он опять услышал, как жена смеется, и подумал, что Аллах милостив и, если будет его воля, все станет по-прежнему. Жена и раньше болела, но выздоравливала. И сам он второй год болеет, однако не только к русским врачам, но и к табибам не обращается.

Икрам-домла давно стал замечать, как сужается круг его знакомых и как сужается в разговорах с оставшимися круг обсуждаемых проблем. В тяжелые времена все солидные люди становятся более замкнутыми, объяснял он себе, не допуская мысли, что есть и другие причины. Люди менялись к худшему, а он предъявлял к ним прежние требования, становился нетерпим, раздражителен, иногда просто груб.

Издавна велось, что любая услуга, любое заступничество, любые хлопоты связаны с благодарностью, с подарками. А теперь? Конечно, если неграмотный степняк за составление прошения отдавал одного барана из ста, то большой беды не случалось. Баранов много, бумаги писались редко. Теперь прошений надо писать много, а мясо — двенадцать рублей пуд, яблоки и те шесть рублей.

Он бережно взял из ниши чалму, аккуратно водрузил на голову и вышел.

1 Ташкори — мужская внешняя половина дома, где принимают гостей.

Матери дорого стоили ее радость, ее желание выбежать навстречу, обнять. Теперь она лежала в своей опрятной комнатке возле сандала. Болезненная желтизна лица усилилась, дышала часто, улыбка из радостной превратилась в виноватую.

Отец будет рад вам, сын мой, может быть, виду не покажет, но очень будет рад,— в который раз повторила она и впервые к этой фразе присовокупила следующую: — Он женить вас хочет. Трудно в доме одной невестке, я ведь не помогаю ей. Вы ему не возражайте. Он любит вас, не зря ведь Акмалем назвал. Нет у нас в роду ни одного Акмаля, вы первый.

— Это вы предложили, мама.

Она протянула ему левую руку, совсем сухую, старческую, с пергаментной кожей, кажется, совсем без мышц.

— Согрейте мне руку, холодно.

Ему показалось, что рука не имеет температуры, такая она была легкая, бесплотная. Он стал гладить ее от кончиков пальцев к кисти и дальше к локтю, упруго передвигая ладонь, чуть похлопывая.

— И эту,— она протянула правую.

Мать благодарно смотрела на него, а он старался не видеть ее чудовищно исхудавшего тела под выцветшим стеганым одеялом, таким старым, что шелк на нем весь посекся. Худое, почти отсутствующее тело и странно выпирающий под одеялом живот.

Руки матери... Они так устали, они так устали. Они всех детей держали, тесто месили, лепешки пекли, лук и морковку резали... Они так устали...

Он не стал возвращаться к разговору о происхождении своего имени. Акмаль — это превосходная степень арабского слова «совершенный», самый совершенный, наисовершеннейший. Он не придавал никакого значения смыслу имен. Как часто они вовсе не совпадали с качествами тех, кому принадлежали... Названный благородным оказывался лживым и жестоким, а тот, кто по имени должен бы стать батыром, вырастал жалким и слабым.

— Спасибо, сынок.— И, будто прочитав его мысли, добавила: — Мы не зря назвали вас Акмалем.

Она не ждала ответа, повернулась на бок, закрыла глаза. Он сидел молча, думал, что она заснула, думал, почему она не вспомнила теперь о том, как много она сделала, обучая девочек чтению и письму, почему не погордилась, что в своем роду она — представительница многих поколений учительниц.

— Позовите Садыку! — не открывая глаз, сказала мать.— Пусть она мои ноги погладит, как вы руки гладили. Объясните ей.

Он вышел к сестрам, объяснил просьбу матери, посо^ветовал:

— Идите обе. Быстрей разогреете.

— И правда,— сказала Садыка, а Русора возразила:

— Иди ты, сестренка. Для меня она еще что-нибудь придумает. Это она так прощается.

Русора на двенадцать лет старше Акмаля, они очень похожи. Она тоже учительница, как мать, к ней и перешли девочки.

— Она очень ждала тебя, братишка, говорила: вот дождусь, чтобы все были дома, и умру.

— Кто может назначить себе смертный час?

— Торопить смерть — грех, а заставить себя прожить несколько дней сверх положенного — подвиг.

— Она еще меня женить собирается.— Он возражал, потому что успокаивал себя, потому что нельзя было представить именно ее смерть вот так, когда он только что вернулся.

Когда она умрет, отец тебя женит на Ханифе. Это решено. Иброхимбай приезжал летом, весь спор с нашим отцом был в одном: ты ли поедешь к жене в Пскент и будешь наследником или она к нам в дом войдет второй невесткой? — Русора кивнула на голову сахара, стоявшую нетронутой в нише, перевела глаза на отрез ситца, лежавший на крышке окованного медью сундука.— По нынешним временам такие подарки зря не делают. Твои братья за последний год пять раз чай с сахаром пили.

— Я не женюсь.

— Не нравится?

— Не женюсь. Она не для меня.

— Кто это заранее знает. Она красивая?

— Не знаю.

— Видел без паранджи?

— Видел, но не смотрел. Не пора.

— Кто это знает, кроме родителей. Другие бы мечтали о такой красивой и такой богатой.

Из комнаты матери вышла Садыка, лицо в слезах, губы дрожат.

— Мне идти? — спросила Русора.

— Нет. Она маленьких зовет. Она сказала, пусть маленькие сначала, пока есть силы говорить. Русора, говорит, все и без слов поймет.

Три младших брата вошли вместе, а выходили по одному. Первым — пятилетний Юсуп. В руках у него был леденец. Откуда только мать нашла конфетку. Давно, видно, прятала. Юсуп держал конфету перед собой, смотрел неотрывно, но разворачивать бумажку не спешил.

— Что она сказала, Юсупджан?

— Она сказала: ты мое зернышко.— Юсуп положил конфету на палас, внимательно поглядем на старшего брата, спросил строго: — Когда она умрет, можно мне будет носилки нести?

— Нет, дорогой братик. Тебе нельзя, ты еще не мужчина. Ты пока зернышко.

Юсуп беззвучно заплакал, потом взял конфету с пола и, не оборачиваясь, скрылся за дверью. Потом вышли Нугман и Усман.

— Мама скоро умрет? — спросил Нугман.— Скажите, Акмаль-ака, она скоро умрет?

— Почему ты меня спрашиваешь?

— Она про вас сказала, что вы все знаете, чтоб мы вас слушались.

Робкие ребята, одному пятнадцать, другой на два года младше, а робкие, нерешительные, можно даже сказать — забитые. Им в семье пришлось тяжелее всех. Всегда рядом с суровым отцом, всегда на виду, болезненные, теперь часто очень голодные, раздражавшие отца своей покорностью больше, чем Карим и Акмаль своим упрямством.

— Велела кенойе позвать,— сказал Усман.

Трудно приходилось единственной невестке в доме, где так много мужчин, где свекор раздражителен, а муж требователен и скуп на ласку. Трудно всех накормить, всех обстирать, в чистоте держать огромный дом, доить корову, ухаживать за овцами. Худенькая, слабая, бледная. Не на женщину замужнюю похожа, а на девочку, второй год живет с мужем, а не беременеет. В дверь невестка входит как-то робко, чуть приоткрыв, бочком, чтобы никого не беспокоить, не привлекать к себе внимания.

Икрам-домла мог бы распустить учеников по домам. Время. Ребятишки ерзали и переглядывались, перешептывались, плохо слушали учителя.

Учитель не спешил, встреча с сыном тревожила его, может быть, пугала. Надо было и жену навестить, пора. Он ушел от нее на рассвете, долго глядел на спящую, невольно представлял ее в саване. Наверное, и тогда у нее будет такое же спокойное мудрое лицо. Ей было четырнадцать, когда она стала ему женой.

Икрам-домла на полуслове оборвал урок, когда понял, что губы и язык говорят сами по себе, вдалеке от мыслей.

...Акмаль встал навстречу отцу, покорно склонил голову, прежде чем шагнуть, чуть помедлил. Отец похлопал по плечу, как положено, отстранил, разглядел устало лицо. Оба говорили осторожно, боясь сойти с веками натоптанной тропы расспросов и ответов, угадывали, что скрывается за словами.

— Что собираешься делать? — наконец спросил отец.

— Пойду работать в мастерские. Как Карим-коры.

Карим уже год работал литейщиком в железнодорожных мастерских, приходил поздно вечером, черный от копоти и злой, приносил в дом деньги, единственные деньги, на которые покупалось все от муки до масла. Отец не был рад ответу второго сына. Не для черной работы он вырастил и выучил старших сыновей. Ладно уж Карим, из него учитель не получился, слишком нетерпелив и вспыльчив.

— В мастерские? — Отец отвел взгляд.— А в школе помогать не хочешь?

— Вы же знаете, папа...

Они разговаривали вдвоем, младшие братья из своей комнаты не появлялись, а сестры, побыв при встрече, скрылись за дверями, где лежала мать.

— Вот подарки,— сказал Акмаль.— Иброхимбай просил вам передать.

Отец скользнул взглядом с ниши на сундук. Ни радости, ни удивления не показал.

— Алимхан говорит, переводчики очень нужны. Обещал тебя устроить.— Впервые на лице проступила усмешка.— Будешь узбекам русские законы объяснять. Заступником перед русскими станешь. Теперь все заступники хорошо живут.

— Руки у них грязные.

В былые времена такой ответ понравился бы отцу, теперь почему-то не понравился. Предложив сыну пойти под начало своего старшего брата, он шел на уступку.

Он слегка оттолкнул сына, не грубо, а почти дружески.

— Как знаешь. Смотри, чтоб не ошибиться.

Небо спустилось так низко над крышами, что, казалось, только крохотный минарет квадратной мечети мешает ему упасть.

Акмаль пошел к роднику, набрал воды, с трудом одолел косогор, остановился. По улице шел человек в русской одежде с мешком в руке. Увидев Акмаля, он заспешил, перебросил мешок за спину, протянул руку. Это был Карим-коры, старший брат.

— Вот,— сказал он, когда они пошли рядом,— муки достал полпуда. Хорошая мука. В честь тебя лепешек напечем, лагман сделаем. Завтра на базар сходи, мяса купишь. Давно лагман не ел. Ты любишь лагман?

...Мать успела со всеми проститься, всем сказать доброе слово, у всех попросить прощения, хотя никто и вспомнить не мог, чтобы она когда-нибудь кого-нибудь обидела. Отын-буви Таджинисо отошла в мир иной в девятом часу вечера, так что и обмывальщиц удалось позвать сразу.

Тут надо бы рассказать о моих дядьях. Старший вступил в партию вслед за отцом, перед арестом был председателем райисполкома, второй стал преподавателем пединститута, третий работал на почтамте, был болезненным и не женился, четвертый был студентом, потом еще где-то продолжал учиться, отлично играл на дутаре и пел старинные узбекские песни. Вот все, что я о них знаю. Не узнал больше и тогда, когда ходил в прокуратуру и Верховный суд, добиваясь их посмертной реабилитации. Некому больше было этим заниматься. Потом я еще добивался посмертной реабилитации сыновей тети Русоры, Исмаила и Фузаила. Оба были инженерами. Их арестовали, когда отец был руководителем Компартии республики, но спасти от ареста не мог.

Про реабилитацию мужа тети Садыки я не хлопотал. Ни к чему ей это было. О реабилитации дяди отца, который был депутатом 2-й Государственной думы и встречался с Львом Толстым, хлопотал его сын, когда сам вернулся из заключения.

Супруга генерала Ерофеева, Мария Игнатьевна, возвращалась из Петрограда полная впечатлений и жаждущая деятельности. Недавно ее почти единогласно избрали председательницей Ташкентского дамского комитета. Впервые в жизни она оказалась в центре общественного внимания, работа в комитете закипела. Ее избрание совпало с пятидесятилетним юбилеем покорения Туркестана. В обширном генеральском доме стали вершиться важные дела. Дамы высшего света съезжались на бесконечные совещания и заседания, вскоре во время гуляния в городском саду состоялась лотерея и распродажа подарков в фонд помощи воинам действующей армии. Продавалось то, что было пожертвовано, но не подлежало пересылке на фронт. Она выступила с докладом, переписав из газет самые трескучие абзацы и закончив свою речь словами о том, что бесстрашные воины России еще полвека назад сумели поставить значение русского имени в Туркестане сообразно с достоинством и мощью нашего оружия.

Поездка в Петроград вселила в нее еще большую уверенность в правильности ее собственной жизни. Через Антонину Александровну Черняеву, вдову покорителя Туркестана, через ее замужних дочерей Мария Игнатьевна узнала много нового. Она познакомилась со знаменитым медиумом Анофриадисом, присутствовала на двух спиритических сеансах, лечилась у тибетского доктора и дважды видела самого Распутина.

Как и было заведено от веку, Мария Игнатьевна ездила не без подарков. Колониальная служба предполагала это и прежде, однако никогда еще текинским и персидским коврам, золотом шитым бухарским халатам, золотым украшениям и драгоценным камням начальство не было радо так, как в этот раз. Раньше подношения принимали благосклонно, теперь с жадностью нескрываемой. Это значило много, о многом говорило.

Генерал в последние годы и сам все больше ценил подношения. Ценности, которые оседали в доме, в банке, в подвалах, создавали уверенность в завтрашнем дне Недаром ведь и государство прочно своим золотым запасом.

Было бы наивностью думать, будто все стяжатели, все бесчисленные взяточники, казнокрады и ловкачи времен конца русской империи сознавали близость катастрофы. Они не ждали ее, не предполагали ее сроков или ждали что-то вроде инфляции, когда золото, ковры и меха помогут пережить трудности. И невдомек им было, что они своим корыстолюбием приближали финал.

Вот уже года три я знакомлюсь с делами так называемого хлопкового дела, беседую со следователями, прокурорами, свидетелями и всегда спрашиваю, зачем, к примеру, секретарю Бухарского обкома партии, кроме всех благ законных и незаконных, надо было иметь 120 или 132 килограмма золота? Однажды я разговаривал с ним в Ташкенте, когда был Каримов в зените славы, спешил в Москву, где должен был выступать на сессии Верховного Совета. Понравился он мне тогда: толковый, с юмором, с критическим отношением к положению дел, с ясной любовью к своим детям, а их у него десятеро.

Из рассказов следователей, из признаний самих преступников бесспорно следует, что отказ от дачи взятки лицу вышестоящему и даже отказ от получения взяток был неминуемо связан не только со снятием с работы, но изгнанием из партии, с подозрением в предательстве общего дела — каза ностра, с физическим уничтожением при автомобильной катастрофе или в недрах рашидовского МВД.

Зачем же все-таки пуды золота и бидончики с бриллиантами? Ответ у меня только один. В отличие от царских администраторов, верящих в незыблемость существовавшего строя, эти новые начальники подобной веры не имели. Не верили они в свой социализм, ибо лучше академиков знали, куда идет официальная экономика, как расцветает вторая, теневая, подпольная. А уж в лозунги про вечную дружбу народов они вовсе не верили. Они уже были негласными эмирами, ханами и подпольными миллионерами, ждали, когда все изменится, когда отпадут ненужные словосочетания в их речах и в их титулах.

Этот мой поздний курсив необходим, потому что объясняет ту неосознанную необходимость, которая еще несколько лет назад, до всех нынешних разоблачений, заставила меня рассказать то, что я выудил из газет второй половины шестнадцатого года.

Сенсационные аресты банковских воротил летом шестнадцатого года, махинации с перепродажей русских ценностей в странах Европы только для газетчиков и читателей газет были сенсацией. Все, кто правил бал тогдашней жизни, удивлялись одному — почему судьба выбрала в качестве жертв этих людей, а не других. Ответ искали в принадлежности жертв и их разоблачителей к разным партиям, к партии императора и к партии императрицы, к партии Распутина и к партии Пуришкевича.

Разве то, что происходило в обеих столицах, в Петрограде и Москве, не было связано какими-то видимыми или невидимыми нитями с тем, что стало повседневностью жизни далекого Туркестана? Шеф охранного отделения в Ташкенте жандармский полковник Лелютин еженедельно среди прочего докладывал о растущем количестве инсценированных банкротств, о спекуляциях на поставках для армии, о таинственном исчезновении ста вагонов каменного угля в Ташкенте и двенадцати вагонов соды в Андижане.

Охранного отделения это вроде бы не касалось, но исчезновение товаров, отказ от выплат и прочие чисто финансовые дела влекли за собой то волнения туземцев, то забастовки русских рабочих, то пресловутые неистовства женщин, озверевших в очередях за тем, чего нет.

Лелютин ждал Ерофеева, но первым генерал принял не его, а вновь назначенного полицмейстера Ташкента Типоцкого, которого сам же рекомендовал на этот важный пост.

Типоцкий не скрывал радости по поводу нового своего назначения. Из чимкентского пристава в полицмейстеры Ташкента — скачок немалый. Ему не терпелось сказать генералу, что черную каракульчу для Марии Игнатьевны он еще вчера завез на дом, еще там две дюжины шкурок сура[1], хотел спросить, понравилось ли.

Типоцкий эту самую каракульчу получил в подарок от купца Каландарова, уличенного в двойной перепродаже казне полутора тысяч голов скота.

Хоть бы сказал генерал новому полицмейстеру спасибо, нет, не дождешься. Здесь, в кабинете, никаких фамильярностей, здесь только о деле.

— Ваша задача, господин Типоцкий, держать этих каналий в страхе. Агентуру заставьте работать по-новому, мулл, старшин и пятидесятников обяжите докладывать о всех недовольствах.

Типоцкий со всем соглашался, смотрел подобострастно, а сам думал про каракульчу. Неужели так и не поблагодарят его?

А Ерофеев продолжал наставлять:

1 Сур—особо ценный золотистый каракуль.

— Еще попрошу вас строжайшим образом контролировать мое распоряжение, данное в июле. В знак преклонения туземного населения перед русской властью обязать всех туземцев приветствовать любого русского офицера и чиновников всех ведомств немедленным вставанием и низким поклоном. Тут большой простор для воспитания. Можете это обеспечить?

Типоцкий сказал, что может, но подумал, что не ко времени это все.

В самом конце разговора, уже простившись, генерал вроде бы спохватился:

— Да. Мария Игнатьевна просила передать, что будет рада видеть вас с супругой по четвергам. Нынче ведь тоже четверг.

Полковник Лелютин был несколько шокирован тем, что нового полицмейстера приняли раньше, чем его. Между тем факты, которые он приготовил для доклада, имели, с его точки зрения, весьма большое государственное значение.

Раскрыв скромную картонную папочку, Лелютин слегка обиженным тоном читал, что в последнее время отмечается усиление недовольства туземного населения русской властью, участились случаи выражения сочувствия своим единоверцам туркам, воюющим на стороне Германии. Сочувствие врагу выражается также в форме передачи слухов об успехах вражеских армий, о поражениях союзников в Малой Азии на Галипольском полуострове.

Лелютин нарочно читал по писаному. Пусть генерал поймет, что не только ему этот доклад адресован, может и выше пойти.

— ...Кроме того, высказываются надежды на выступление против России всех мусульманских стран, а так же надежды на изгнание русских из Туркестанского края и возвращение всей Средней Азии под владычество ислама...

Генерал Ерофеев слыл бурбоном и солдафоном, но о панисламизме и пантюркизме знал почти столько же, как и о панславизме.

— Я конкретно спрашиваю. Кто эти пантюркисты, что это за паны такие?

Лелютин хмыкнул:

— Все эти паны, ваше превосходительство, наиболее влиятельная часть высшего духовенства, улемы, если по-здешнему.— И продолжил чтение из картонной папки: —

Но есть и другие тенденции. «...Среди молодых туземцев образованного класса существуют такие, что высказывают сочувствие к новым формам управления, есть люди, склонные связывать свои несбыточные надежды с парламентаризмом, социалистическими идеями...»

— Зачем вы мне это читаете? — откровенно резко прервал генерал.— Я и сам грамоте учен, на досуге прочту. Скажите мне, господин полковник, во сколько единиц вы исчисляете потенциальных врагов государства?

— В Ташкенте или во всем Туркестане?

— Ну, для начала в Ташкенте.

Лелютин задумался, удивившись неожиданной задаче.

— Неужто никогда вам не приходило в голову сосчитать по головам всех опасных лиц на предмет высылки, допустим, в Сибирь?

Полковник Лелютин направлял недавно деятельность полевых судов, выносивших смертные приговоры с чисто армейской, завидной для жандарма легкостью, ему порой казалось, что, будь его воля, он бы удвоил или утроил количество повешенных и расстрелянных на месте, но то был бунт с оружием в руках. Он глянул на генерала, не шутит лк тот.

Ерофеев не шутил. Мысль о превентивной высылке, удалении всех нежелательных туземцев, впервые осенила его, поразила его своей простотой. Генералу доставляло удовольствие смотреть на вытянувшееся от удивления и без того длинное лицо Лелютина. Он в упор спрашивал и одновременно думал, приглашать сегодня к себе Лелютина или не приглашать.

— Нуте-с.

— По Ташкенту...— Лелютин опять не решился назвать цифру.— Если по Ташкенту—тысячи две мулл, ишанов, мударисов. Еще тысячи полторы из числа симпатизирующих Турции торговцев. Еще полторы — молодежи, связанной с русскими недовольными элементами, рабочих, принимавших участие в забастовках.

— В пять тысяч обошлись бы?

— Обошлись. На первый случай.

— А в целом по Туркестану в двадцать тысяч?

— Возможно, ваше превосходительство,

— Ну так это всего двадцать эшелонов, сорок в крайнем случае.— Ерофеев и сам увлекся собственной фантазией. Конечно, Петроград на это сегодня не пошел бы, либералов много. Дума, газеты. А если им всем заткнуть рты? — А я бы, господин Лелютин, на вашем месте уже приступил бы к составлению списков.

Полковник поджал тонкие губы, в глазах засветилась ирония.

— Боюсь, мне эта задача не по плечу.— Он вскинул прищуренные и довольно наглые глаза на генерала.— Тут есть две сложности. Во-первых, с помощью многих из числа предназначаемых для высылки мы и управляем нынче краем. Без них, к примеру, мы и мобилизацию на тыловые работы не смогли бы провести, без них налоги не собрать, закупок для армии сделать невозможно. Через них управляем. Так уж повелось: на двурушников опираемся. А как убрать рабочих с копей, с железной

дороги? Это первая причина, а вторая с иного края. Многие откупятся, навык есть, связи. Спросите хоть того же господина Типоцкого.

Ерофеев решил не приглашать Лелютина в гости. Ну его к чертям собачьим. Типоцкий — понятный господин, а этот — с двойным дном, что он там усмотрит, что выведает.

Значит, выселение этих ваших панов тюркистов и панов исламистов считаете невозможным?

Почему же, ваше превосходительство, возможным и даже желательным в принципе, но трудным и требующим длительной подготовки. Кроме того, думается, опасность их мнений и симпатий преувеличивать не стоит. Это их тайные мнения, тайные мечтания, болтовня. Вот ведь летом не они восстание подняли, они против были, только, может, в душе сочувствовали, и то неизвестно. Нет, Алексей Николаевич,— Лелютин впервые назвал генерала по имени и отчеству.— Нет, Алексей Николаевич, эти списки составлять смысла нет, не ко времени. В будущем когда-нибудь и можно будет. Сейчас чернь опасна, только чернь. Больше скажу, Алексей Николаевич, это в спокойное время Охранное отделение многое могло, теперь время для ружей и пушек. Когда бунтует чернь, голодная чернь, требующая хлеба для себя, своих детенышей, сведения наших агентов обычно запаздывают в сравнении с самими событиями. Голодные бунты непредсказуемы самыми мудрыми головами. Терпят низы общества долго, иногда весьма долго, а вот взрываются внезапно. Опасения часто не подтверждаются, а надежды не оправдываются. Обратите внимание: и в русской среде, и в туземной мы лучше осведомлены о настроениях образованной части, их по привычке считаем властителями умов. А ведь это так только в сытое время.

Теперь иное, и, по правде сказать, невесть как еще изменится. Теперь мы на подсобных ролях, на подхвате Вот почему я всегда к вашим услугам.

Ерофеев попросил оставить докладную записку для внимательного прочтения и, встав из-за стола, вопреки принятому решению, пригласил Лелютина в гости. Руку пожал крепко.

— Будет весьма любопытно. Мария Игнатьевна в столице ознакомилась с некоторыми самоновейшими веяниями в области...— он запнулся,— в области предсказания будущего. Рады будем видеть вас, господин Лелютин. Интересно поговорить с умным человеком, ваше просвещенное мнение услышать.

Когда дверь за полковником закрылась, Ерофеев брезгливо положил папку с докладом в нижний ящик стола. Подумаешь — умник. Без хлеба и мяса народом управлять труднее, нежели при их наличии. Кто этого не знает? За то нам жалованье платят, чтобы при любых условиях управлять. Чернью пугает.

В кабинет вошел чиновник по особым поручениям Мишин. Телеграмма и пакет, Алексей Николаевич.

Пакет был из министерства внутренних дел и касался нашумевшего дела разоблаченного за злоупотребления по службе и за самочинно проводимые пытки арестованных начальника Харьковского сыскного отделения. Предписывалось усилить контроль за работой полиции, не допускать злоупотреблений и применения недозволенных методов, а также исключить возможность проникновения в печать сведений, порочащих чиновников государственных учреждений.

Телеграмма была со станции Арысь. Из вагона для перевозки заключенных бежало двадцать три каторжника, часть которых, по всей видимости, направилась в сторону Ташкента...

Между строк

В «легальном» варианте рукописи я, пользуясь собственным опытом, описал тюремную камеру, где содержались тогдашние заключенные, вагон, в который их посадили, и побег... Теперь я вычеркнул написанное и пишу между строк. Не бумагу экономлю, а легче так, проще и честнее. Вагоны для заключенных, вагонэаки, с давних пор и поныне называют столыпинскими, хотя конструкция их так изменилась, что побег из вагонзака я себе и представить не могу, даже не слышал о таком побеге в мое, так сказать, время. Только один был удачным. Шестнадцатилетний пацан Семенов работал с нами на станции Гжатск. Ломами, клиньями и кувалдами кололи мы битум, нагруженный в пульмановские вагоны кусками, но слипшийся в единую массу. Одни выбрасывали куски битума, другие носили его на площадку. Какая-то баба пересекала нашу запретную зону с возом длинных жердей, волочившихся по земле. В телегу была запряжена корова. Она вдруг встала, загородив конвоиру обзор, тот стал помогать бабе, стегал корову, но она не хотела идти.

И тут мы увидели, что один из нас рванул к железнодорожной насыпи. Он бежал босиком, а тяжелые чуни, сшитые из автомобильных покрышек, держал в руках за веревочки, которыми чуни привязывают к ногам. Удивительное это было зрелище. Остановившись почему-то у самой линии железной дороги, Семенов раскрутил чуни над головой и швырнул их, как камень из пращи. Может, конвоир сам его увидел, но боюсь, что это мы выдали его своими невольными взглядами.

Конвоир выстрелил, как положено, без предупреждения. Семенов перебежал путь и скрылся за насыпью, и тут же загромыхал длинный железнодорожный состав.

Семенова не поймали. Пойманных даже далеко от лагеря обязательно привозили к месту побега убитыми, кидали возле вахты на обозрение в воспитательных целях. Семенова не привезли, а от ребят я узнал, что о побеге он мечтал давно. У него была больная одинокая мать, он боялся, что без него она умрет с голоду. И в лагерь он попал из-за матери, украл несколько килограммов зерна. Ради нее.

Все другие побеги кончались трагически. В подавляющем большинстве случаев они не были запрограммированы на успех, чаще это было крайним выражением отчаяния, родом самоубийства.

Сколько бы лично или по телевизору не видел я известного пародиста Александра Иванова, я не могу не помянуть про себя человека, поразительно на него похожего лицом, такого же высокого и только куда более тощего. Фамилия его была, кажется, Сундуков. Во всяком случае, кличка была Сундучок; Он был во взрослой бригаде, не знаю, за что сидел и откуда родом. Он «доходил» быстро, помню его у кухни в надежде на добавку, помню на разводе. Однажды их бригаду вывели на какие-то земляные работы, Сундучок вдруг бросил лопату и, как лунатик, пошел за ту невидимую черту, за которой «конвой стреляет без предупреждения». Его, как рассказывают, конвоир окликнул: очень уж Сундучок медленно шел. Его окликнули, а он шел, медленно переставляя свои неимоверно длинные и тонкие ноги.

Конвоир выстрелил в голову и снес ему полчерепа. Это тоже было возле Гжатска, там еще недавно прошла война, и наши вохровцы почему-то любили стрелять разрывными.

Это было, видимо, в начале апреля, еще до удачного побега Семенова, и длинное тело Сундучка лежало возле вахты три дня. Мы на это назидание старались не смотреть, но я запомнил его открытые небу глаза.

А еще раньше, когда в низинах было много снега, значит, думаю, в марте, наша и еще две бригады малолеток работали на трассе, на той дороге Москва — Минск, по которой ездят так много наших и зарубежных туристов. Главная магистраль на Запад.

Мы подсыпали гравий на обочины и углубляли кюветы. И вот, когда нас перегоняли дальше, начальник конвоя увидел чей-то брошенный рваный бушлат.

— Чей бушлат?

Эх, никто не догадался взять его! Нас тут же стали пересчитывать. Одного не хватало. Оказалось, что исчез Руня. Он был из другой бригады, и фамилию его я не знаю, только кличку.

Кажется, и мы, и конвой вместе увидели Руню. Он был в километре или чуть больше. Шел по низине, проваливаясь по пояс в глубокий и тонкий снег. Нас согнали в кучу, три бригады малолеток, и мы видели, как гонятся за ослабевшим от голода мальчиком здоровые мужики со свирепыми немецкими овчарками. Руня шел, не оборачиваясь, шел по направлению к белой полуразрушенной церкви, стоявшей на свободном от снега пригорке.

Овчарки настигли Руню, когда ему прострелили ноги. Потом его волоком вытащили по его же следам на трассу, погрузили в срочно прибывшую вохровскую полуторку и тут, в кузове, уже пристрелили. Опять же в голову. Я помню фамилию старшего надзирателя, убившего Руню в кузове, но не назову ее, а вдруг ошибусь? Впрочем, они все действовали так, как положено.

Это не Колыма, не Печора, это почти на границе Московской области, хотя уже и в Смоленской. Это километрах в десяти от Гжатска.

Тело Руни возле вахты не лежало. Говорили, что наш лагерный доктор Израиль Витальевич Штенер, сам недавний зэк, сумел сообщить о смерти сына родителям. От Москвы даже по тем временам не больше двух часов езды, увезли они его еще до нашего возвращения с работы.

Малолетки, это те, кому не больше шестнадцати. Кажет ся, по правилам нас должны были кормить лучше и работать мы должны были не двенадцать, а десять часов, только если эти правила и были, то их никто не знал и соблюдать не собирался. Работали мы с темна до темна.

Среди малолеток я был один политический, остальные — «бытовики», то есть уголовники.

Имени и фамилии его, одного из малолеток, не помню. Они с братом накопали полмешка картошки на колхозном поле. Их посадили за кражу. Мать пошла умолять следователя, не умолила и предложила ему деньги. Не знала, что за фанерной перегородкой начальник присутствовал. Мать посади ли за взятку. Где отбывали срок мать и старший ее сын, не знаю. Младший, мой сосед по нарам, был удивительно чистым деревенским мальчиком. Рядом с нами в беспамятном жару доживал последние часы кто-то еще, и мой сосед не позволил другому зэку вытащить у него пайку хлеба: «Куда? Ведь он еще живой!» А ведь по законам лагерной жизни, которая никого не сделала добрее и честнее, тот деревенский мальчик вполне мог взять пайку себе или поделить с тем, кто эту пайку выследил.

Свирепость и тотальность сталинских законов по отношению к народу была первопричиной того неуважения к закону и морали, в котором народ этот пытался выжить. После первого освобождения я оказался в сапожном городе Кимры и снял угол у старухи Ш. Она и ее старшая дочь Нюрка отсидели за спекуляцию. Нюрка привезла из лагеря сына Алика и вместе с младшей сестрой Машкой продолжала преступный, но жизненно необходимый промысел. По выходным они возили в Москву на Перовский рынок туфли-лодочки, изготовленные местными кустарями, а в Кимры — дрожжи и трикотажные женские трусы, большой был дефицит Трусы надевали на себя, туда же совали и пачки дрожжей. Подобными способами подрабатывали на жизнь многие их соседи с улицы Салтыкова-Щедрина и других улиц.

Это был быт, но значение лагерного слова «бытовик» как синоним уголовника я понял много позже, а тогда поражало количество людей, побывавших там, откуда только что вернулся я, и то, что чуть не все Кимры говорят на лагерной фене. Двухлетний Алик матерился по-лагерному, и лагерь был для этих людей тоже бытом.

Так вот, о свирепости и тотальности. За колоски. За полмешка картошки. За три пары трико. За пачки дрожжей... Чего стоил народу закон от 7/VIII 1932-го?

Мы знаем, что политические репрессии коснулись почти каждой семьи, интеллигенции в первую очередь, но, наверное, еще меньше людей избежало страха

тюрьмы или ее самой за возможность прожить в том страшном, голодном и бесправном быту.

Жестокость всегда ходит рука об руку с несправедливостью, и вместе они деформировали мораль в масштабах всего государства.

Массовые политические репрессии обеспечивались только беспрецедентным террором против «бытовиков», против народа, когда гражданин лишен каких-либо прав, а государство — всё.

Я пишу это буквально между строк ранее напечатанного текста и думаю: неужто никто не расскажет о малолетках, попавших во взрослые лагеря? Бригадирами малолеток начальство всегда ставило матерых рецидивистов, воров в законе. Нашей бригаде повезло, наш дядя Ваня — Иван Иванюк, если это была его единственная фамилия, был мастером карточной игры, бригадный хлеб проигрывал редко, пайку мы получали чаще других. Хуже всех приходилось пацанам из бригады Воёди-краснушника. Краснушники грабили железнодорожные вагоны и по воровской иерархии были много ниже ширмачей, домушников и медвежатников.

Воёдя-краснушник был здоровый мужик лет тридцати, глупый до чрезвычайности и лишенный каких-либо человеческих чувств. В карты он играл плохо, совсем не замечал шулерства, которое между ворами в законе не воспрещалось и называлось «исполнением». Так и уславливались «с исполнением», впрочем, чаще и не уславливались.

Воёдя не произносил «р» и «л», потому и — Воёдя. Он проигрывал бригадный хлеб целиком и прямо из хлеборезки нес его «вантажистам», выигравшим. Потом наш Иванюк или другой бригадир малолеток дядя Саша Проценко, по кличке «ротский» или даже по титулу, меняли этот хлебушек на водку.

Несет Воёдя утром ящик паек мимо своей бригады к Иванюку или Проценко, а они поддразнивают его на весь барак:

— Воёдя, как твоя бьигадочка?

Воёдя очень весело орет в утренней тишине малолетского барака:

— Моя бьигадочка по утьяночке гудьончик штефкает.

Да, его бригада очень часто вместо хлеба жевала битум, «гудьончик». В его-то бригаде и был тот Руня, что средь бела дня безоглядно бежал на смерть по снегу, который уже и лыж не мог бы держать.

Был в Воёдиной бьигадочке и мальчик без клички, фамилия редкая и красивая — Дофине, сын и внук потомственных кондитеров, приглашенных в Россию бог весть когда и до революции работавших на фабрике «Эйнем». Там же, то есть на «Красном Октябре», работал мой приятель, возможно, последний из той кондитерской династии.

Он украл шоколад, получил пять лет — пятерик, он умирал на моих глазах, не отбыв и первого года.

В мае сорок четвертого мы рядом лежали на солнечном скате нашей землянки-барака, в котором вода доходила до нижних нар, но нары были уже пустые. Пацаны «освобождались через деревянный бушлат».

У меня была дистрофия III, и на внутренних сторонах ног от щиколоток до паха на коже и костях непонятным образом держалось десятка два фурункулов. Я ждал, когда начнется профузный дистрофический понос. Это уж три дня до смерти. У Дофине понос начался раньше. Меня спас все тот же доктор Штенер. Увидев мои ноги, он стал лечить меня в санчасти. Каждый день я приходил туда, он вел за занавеску и давал кусок хлеба. Может, он тоже был прежде политическим, может, имя отца о многом ему говорило? Сам он был, кажется, из Баку. Потом я попал в бригаду автослесарей, которых подкармливали вольные шофера. Но это уже другой рассказ, рассказ о счастье, о том, как я остался жив и потому должен писать о чем пишу.

Того места, где был наш лагерь, лагпункт по терминологии ГУЛАГа, я не нашел. Не нашли и того места, куда старый цыган по обычной для цыган кличке Мора, наш штатный трупповоз, сваливал мертвецов. Ящик был большой, бросали туда по двое и по трое. Возвращался Мора с пустым ящиком. Этот ящик и назывался деревянным бушлатом. Кажется, в оставшееся время Мора перепрягал свою клячу и возил откуда-то воду.

Основной контингент лагпункта составляло человек триста. К нам все шли и шли этапы из тюрем Москвы, чаще всего с Пресни, но контингент оставался неизменным. Остальных увозил Мора.

С ним часто шутили наши воры в законе:

— Эй, Мора, пойди ты до:.. клеваного прокурора, пусть он заменит тебе конную на карманную.

Мора был бесконвойный, думаю, выполнял какие-то приватные поручения блатных за зоной, за что Мора сидел - не знаю, но получалось, будто за конную кражу, за кражу лошадей.

Особенно много мерло нас в апреле и мае. Думаю, что человек сто или двести, а может, и три сотни зэков Мора «освободил через деревянный бушлат».

Однажды, когда у Моры было много основной работы, в водовозку впрягли несколько малолеток. Пожилой надзиратель сопровождал нас до речки и обратно. Не помню за ним ничего плохого, а в тот день он все улыбался и наконец не выдержал, сказал нам:

— Скоро на свободу, пацаны. Вчера второй фронт открыли, Гитлер — капут.

В лагере, как на свободе и на фронте, верили, что после победы над Гитлером жизнь станет другой. И эту веру Сталин обманул.

За обманутую веру опять заплатил народ: немногие, как Батуев и Жигулин, восстали, другие согнулись так, что и теперь выпрямиться не могут, третьи вовсе потеряли нравственные ориентиры, сами стали рабами и рождают рабов. (Кто вычеркнет эти строки из моей книги? Цензура? Редакторы?)

Рабы и надсмотрщики — одна порода. Воёдя-краснушник от них произошел.

Я пишу это над строчками о том, как хоронили мою бабушку Таджинисо в канун семнадцатого года, как по ритуалу выносили через окно, как простудилась во время похорон и вскоре умерла старшая невестка Зохида, как дом остался без женщин и моего отца заставили жениться на Ханифе.

Ханифе повезло, что отец рано оставил ее и забрал сына. Она потом вышла замуж, родила много хороших сыновей, женой врага народа не считалась, дожила до реабилитации первого мужа и даже получала пенсию как его вдова. Она умерла лет пятнадцать назад, хорошая, добрая была женщина, а ее сыновья считают меня братом, как старшего, настоящего их брата по матери.

А теперь я позволю себе вновь вернуться в год шестнадцатый, в дом на улице Гоголя

Попытка беллетристики

...Мария Игнатьевна раскрыла привезенную из столицы книжку хироманта-физиономиста и френографолога Х. М. Шиллера-Школьника, задумалась, почему Шиллер и почему еще Школьник? Как его полное имя — Харитон, Хаим, Христофор?

«Верное средство познать себя и других. Практическое, общедоступное изложение наук: хиромантии (линии руки), физиономики (черты человеческого лица), френологии (строениечерепа) и астрологии (звезды и планеты). Издание 4-е, исправленное, дополненное, с рисунками в тексте и портретом автора. Психо-графологическое издательство «Разсвет». Варшава, 1912».

На портрете автор книги был кучеряв, нос крупный, на конце подозрительно изогнут. Пусть будет Хаим. Среди них есть весьма интересные люди. Даже на сеанс сегодня Мария Игнатьевна пригласила еврейскую чету Календарёвых.

Стараясь заранее угадать, кто как себя поведет, она и обратилась к физиономике. Ей было интересно сопоставлять научные данные с реальностью. Вот, например, сказано: «небычайно вытянутое и длинное лицо характеризует наглость, бесстыдство и бесчестность» Вытянутые лица у доктора, у полковника Лелютина, у ее родного племянника.

«Безнравственность дает впалые щеки. Округленное, полное лицо — признак безрассудности». Мысль Марии Игнатьевны переключилась на супруга. «Тупоумие и чувственность преобладают у людей с очень мясистым лицом. Упорство и упрямство выражаются плоским лицом».

Лицо мужа, бесспорно, было полным и округлым. И мясистым его можно назвать.

Мария Игнатьевна любому делу отдавалась целиком, любую новую информацию она впитывала как губка, но и теряла ее так же легко. Впрочем, от сильного наплыва все новых и новых знаний голова ее слегка кружилась, неприятно как-то кружилась.

«Мужчины, родившиеся в течение первых десяти дней под знаком РЫБЫ, наивны, тихи, миролюбивы, послушны, но могут пользоваться случаем для своего материального благополучия и часто устраивают себе тихую счастливую жизнь... Сеют вокруг себя мир и любовь, не дают воли чувственности и умеют бороться с дурными инстинктами. Отличительные черты характера: хладнокровие, честность, любовь к труду и порядку. Долговечны, не достигают больших богатств, но, благодаря своей аккуратности и бережливости всегда обеспечены».

Мария Игнатьевна мечтала о большом богатстве, не о камнях драгоценных, не о коврах — о земле, о тысячах десятин в разных губерниях, об усадьбах с белыми каменными строениями, о лакеях в ливреях, ей виделись фабрики, где на воротах фамилия — Ерофеевы[1].

Астрологическое предсказание не понравилось ей. Супруг, хотя и РЫБА, но аккуратностью и бережливостью не отличался, значит, полагала она, не может достичь и настоящего богатства. Сама она родилась 22 июня под созвездием РАК и с возмущением узнала, что «женщины под этим знаком коварны, лживы, неуживчивы, влюбчивы и расточительны», а те, кто родился в первые десять дней, к тому же еще «не обладают никакими высокими качествами, талантами и достоинствами».

Кропотливое изучение труда Х. М. Шиллера-Школьника, вне зависимости от того Хаим он или Христофор, фатальное и мистическое отношение к жизни госпожи Ерофеевой выражало то общее состояние духа обреченного историей правящего класса России, с которым трудно примириться каждому, кто причину катастрофы ищет в демонском влиянии подкупленных немцами агентов, в императрице-немке или в Гришке Распутине...

Я читал письма людей того круга, к которому принадлежала Мария Игнатьевна. В одном из них сообщались результаты спиритического сеанса в самый канун Февральской революции. Духи говорили о победе над кайзером, о том, что Александр Блок спасет Россию, и о том, что Дарданеллы станут нашими.

Для самой серьезной беллетристики материала достаточно.

Салон ташкентской Марии Игнатьевны Ерофеевой жалкое подобие столичного салона Анны Паловны Шерер. Пример есть, подражание Льву Толстому не грех, а добрая традиция. Но, перечитывая беллетристические страницы, я испытал чувство

стыда. Мой ли это кризис или кризис всей художественной литературы, когда она берется описывать то, что было на самом деле, чему есть документы и документальные свидетельства?

1 Фамилия Ерофеев — вымышленная. И выбрал я ее отнюдь не потому, что начальником нашего лагпункта был старший лейтенант Ерофеев, отъявленный мерзавец и ворюга. Совпадение это я заметил лишь при вычитке рукописи.

И все-таки я вынужден время от времени прибегать к домысливанию, пусть и основанному на фактах.

Я хочу быть предельно откровенным и не могу, не желаю утаивать своих недавних попыток найти побочные сюжетные линии, которые не смогли заменить ту, что движет мной уже тридцать писательских лет — отец и сын. Две судьбы, две истории, два человека. Один жил ради будущего, другой в этом будущем живет.

Дастархан

В последние годы правления Рашидова меня все чаще и чаще спрашивали:

— Если б ваш отец увидел сегодняшний Узбекистан, что бы он сказал?

Однажды и сам Рашидов задал мне подобный вопрос

Что бы он сказал? Как бы это могло случиться, чтобы отец вдруг в какое-то окошко увидел новый сказочно красивый Ташкент с его высотными домами и фонтанами, каких я, например, и в Париже не видел?

Или из этого же окошка, какие в самолетах, с птичьего полета увидел бы Голодную степь, засеянную хлопком, степь, по которой идут диковинные хлопкоуборочные машины, похожие на слонов, мчатся сотни автомобилей, сверкает шоссе Ташкент — Термез.

Или бы отец увидел молодежь на улицах Ташкента, парней и девушек в сплошном импорте и жаждущих только импорта. Вот они идут с «дипломатами» и с сумками «адидас». Куда идут? В университеты, в институты, в НИИ. О чем говорят эти молодые люди?

А вот дети, школьники в мокрых телогрейках и пудовых от грязи сапогах, собирающие хлопок из-под снега, выбирающие белое и мокрое из белого и мокрого.

Нет, с птичьего полета, да вдруг, всего не понять. Не знаю, что увидел бы отец, что бы он подумал, что сказал. А дожить нормально до сегодняшнего дня вполне мог. Сестры его, Русора и Садыка, умерли, когда им было за девяносто. Среди мужчин

долгожителей не обнаружишь, все пять сыновей домлы Икрама умерли насильственной смертью.

Вот стоит мой отец на площади, венчающей широкий проспект. Это одна из новых улиц нового Самарканда. Улица Акмаля Икрамова.

Стоит отец — гранитный постамент, пятиметровая фигура из бронзы, лицо молодое, как на почтовой марке, выпущенной к его семидесятилетию. На той марке ему двадцать пять лет, он слушатель Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова.

Хороший памятник, очень хороший. Он выделяется какой-то легкостью, свободой движения, да и руки застыли в жесте необычном. То ли приглашает он, то ли отдает людям все, что есть у него.

Скульптор — ленинградец, фамилия его Николаев. Я его никогда не видел, только говорил по телефону. Он умер, памятник отливали без него. Николаев этот звонил мне только тогда, когда бывал сильно пьян, и всегда говорил одно и то же.

— Хочу, чтобы он стоял раскинув руки. Как распятый Христос. Понимаете, креста нет, но распятие — вот оно! Распят, как Христос. Согласны?

Кто он был, этот Николаев? И кто разрешил бы сделать распятие?

Спасибо, скульптор Николаев!

А вот в Ташкенте, на площади возле Акмаль-Икрамовского райкома партии, памятник будет другой. Мне показывали эскизы и фотографию макета. Портретного сходства — ноль, тяжелое, «волевое» лицо, сталинская шинель, а сапоги, кажется, кирзовые.

Говорят, нигде нет такой коррупции, как вокруг монументов. Коррупция вокруг памятников — явление символическое, но мне не до этого.

Каким был бы мой отец, доживя до сегодняшних дней? Думать об этом не могу. Почему-то кажется, что он ни при каких обстоятельствах не дожил бы.

Ну так что же все-таки мой отец сказал бы об Узбекистане семидесятых и восьмидесятых годов?

Не только по незнанию я уклонялся от ответа. Понимал, что большинство задает этот вопрос искренне, но если нас было больше, чем двое, то следовало предполагать, что кто-то обязательно донесет. Я не отвечал на этот вопрос и только сейчас понял, что и про это можно было донести. И наверняка — доносили.

Конечно, я не представлял себе масштабов преступлений в республике, о которых нынче говорят все, но атмосфера была насквозь пропитана ложью, ложью, ложью, ложью. Самое удивительное, что часто не удавалось понять, зачем тебе лгут.

Но тут надо понять, что какая-то часть лгущих делала это потому, что не доверяла мне, и в той атмосфере было это абсолютно простительно. Только два человека говорили со мной откровенно. Первый был моим другом, я знал его еще студентом МГУ, потом он стал известным лингвистом, профессором и членкорром, ученым, известным во многих странах. Однажды, провожая меня в Ташкенте из дома до такси, сказал:

— Ты замечал, каких московских подонков-писателей он любит?

— Замечал.

— Как ты думаешь, берет он взятки?

— Вряд ли. Чего ему не хватает.

— А по-моему, берет.

Вторым был директор совхоза. Когда он при первых наших встречах намекал, что Рашидов не тот, за кого себя выдает, я возражал. Вдруг провоцирует? На XXVI съезд партии его выбрали делегатом. Он позвонил мне, сказал, что из гостиницы их не выпускают, поэтому просил приехать.

За окнами «России» светились звезды на башнях Кремля. Он угощал меня делегатской снедью, каленными в золе урючными косточками, зеленым чаем, сначала говорил о незначащем и вдруг сказал:

— Дальше так продолжаться не может. Они уже слитками берут.

Я не понял.

— Золотыми слитками, Камильджан. Все берут, но не у всех.

— До самого верха?

— До самого, Камильджан. А лестницу надо мыть сверху. Так?

Впрочем, оба разговора состоялись, когда Рашидову оставалось жить недолго, хотя этого никто и предположить не мог, когда власть его была безраздельной и Брежнев звал его любовно Шарафчиком...

Если бы и в самом деле отец увидел Ташкент, не мог бы даже с птичьего полета не заметить чудовищного социально го расслоения. Может быть, понял бы отец, что на смену сталинской опричнине пришел по прихоти истории в обратном движении вотчинный строй со всей системой феодальных отношений в азиатском их варианте. У нас ведь эмиры, ханы, хаки мы, баи и аксакалы — совсем недавнее прошлое. К началу сороковых годов еще одно поколение не сменилось. Грибница феодально-байских связей и психологии была жива, и на ней в соответствии с социальным заказом «гения всех времен и народов» стали буйно расти поганки и мухоморы.

Не знаю пока, сумею ли я в этой книге рассказать о том, до каких чудовищных размеров все это выросло. Я писал об этом в периодике, знакомился с уголовными делами, разговаривал со следователями, которые пока что одни пишут новейшую историю республики, но сейчас не время и не место. Сейчас я должен вернуться к себе и к тому времени, когда приехал в Москву и даже о самой кратковременной поездке на родину не помышлял.

Из Москвы меня забрали, в Москву я вернулся, ибо по постановлению Совета Министров СССР № 1655, касающемуся реабилитированных, мы обеспечивались жилплощадью по месту ареста. А в Ташкенте мой отец все еще продолжал быть врагом народа, и в его имени для краткости и по невежеству совмещали и Троцкого, и Бухарина, и Рыкова, и Зиновьева.

Еще при жизни Сталина, когда я был в ссылке, мой сводный брат Ургут написал из Ленинабада письмо бывшей домработнице деда, тете Даше Хохловой. Та переслала письмо мне, я написал в Ленинабад, но ответа не получил.

Я не знал, что после освобождения из лагеря по болезни Ургут годами нигде не прописывался, стал бродячим строителем и мог не получить моего письма. Я не знал почтового адреса дома моих родственников в Старом городе Ташкента да и не ведал, живет ли там кто-нибудь из наших.

Я упивался Москвой, был счастлив своей зарплатой в 690 рублей, девятиметровой комнатой в коммунальной квартире, которую обставил мебелью, выброшенной на помойку каким-то учреждением.

Один за другим возвращались из лагерей и ссылок мои друзья, стали находиться друзья и знакомые моих родителей. Они возвращались к прежней жизни, к семьям. У одних жены с детьми, у других только дети, у третьих — иногда и родители. Они возвращались к прежним своим занятиям, попадали в колею, но которой до ареста прошли большой путь. Инженеры становились инженерами, бухгалтеры — бухгалтерами, химики — химиками. Мой лагерный друг Евгений Александрович Гнедин был до ареста дипломатом и журналистом-международником. Журналистикой он и стал заниматься, когда тогдашний МИД не захотел иметь с ним дела.

Как ни велик был перерыв, но инерция прежней жизни таилась в этих людях до самой свободы и помогла теперь все поставить на свои места. Кроме того, эти люди знали, кто они на самом-то деле, чего стоят, что могут. Автор «Одного дня Ивана Денисовича> никогда не написал бы этой и других своих «лагерных» книг, если б до ареста не был уже абсолют^ но состоявшимся человеком, подлинным героем войны, победителем, бравым капитаном Советской Армии А. И. Солженицыным.

Мы постоянно упоминаем поколение молодых людей, прошедших войну и ставших писателями,— гордостью послевоенной литературы, но и те фронтовики, которые попадали в лагерь после Победы, если они не были предателями или уголовниками, а победителями, отличались особой верой в себя, более категоричным отрицанием существовавшего порядка вещей, чем большинство старых лагерников. *

А я? До ареста — ученик ремесленного училища, в лагере просто заключенный, в ссылке мне удалось закончить фельдшерскую школу и быть не хуже других. Но в Москве-то среди старых и новых знакомых?

Вообще мое возвращение в Москву больше казалось счастливым финалом, этакой музыкальной кодой, нежели началом новой жизни.

Я обозначил жанр этой книги как роман-хроника. И то, и другое, конечно же, весьма условно. Хронологическую дисциплину мне соблюдать невозможно, оправдываю, себя тем, что это не просто хроника, а хроника постижения. Постижение прошлого через настоящее, сквозь несколько его слоев.

В первые годы на свободе я сравнивал себя с глубоководной рыбой, вытащенной на поверхность. Не до обозрения горизонта мне было. Ощущение очень своеобразное — страх, заглушаемый эйфорией. Главная инерция выражалась в том, что я всюду писал заявления с требованием реабилитировать отца. На улице Кирова, в главной военной прокуратуре, куда я пришел в очередной раз, полковник стал объяснять мне, что мое ранее поданное заявление потому не может иметь хода, что я забыл упомянуть место и год рождения отца. Как же, мол, найти его дело?

Я возмутился, ибо «дело»-то я назвал точно — «процесс антисоветского «право-троцкистского блока» в марте 1938 года. Помню, я сильно кричал на полковника — это и была эйфория, и полковник, растерявшись, сказал:

Назовите лучше людей, которые могли знать вашего отца по работе.

Люди, которые знали его по работе в Ташкенте, или погибли, или стали клеветниками. Из тех же, кто в Москве, могу назвать несколько имен.

Полковник приготовился записывать.

— Хрущев Никита Сергеевич, Молотов Вячеслав Михайлович, Микоян Анастас Иванович, Ворошилов Климент Ефремович...

Все они были тогда членами Президиума ЦК КПСС.

Полковник положил ручку.

— Простите, но этих людей я не могу вызвать для допроса.

— Это ваше дело! — крикнул я.— Пишите, что говорю!

Полковник стал очень вежлив, попросил подождать в приемной и вскоре вновь пригласил в кабинет. За его столом сидел седой генерал с сизым лицом.

Я сел на стул, третьего стула не было, полковник стоял.

— Буяните? — спросил генерал.— А зря! Полковник у нас человек молодой, необразованный. Не знает он, кто такой Акмаль Икрамов, имя и отчество Бухарина не

знает. А я знаю, только, молодой человек, без приказа я к шкафу, где те дела хранятся, близко не подойду. Пишите выше.

— В КПК?

— Выше. Неужто непонятно?

Понравился мне генерал. Я стал писать выше, на этом занятии, пожалуй, сильно двинулся профессионально как журналист. В Ташкент, в ЦК я писал с особой резкостью. Ответов не было ниоткуда. Жил я, однако, не только этим, это был азарт лагерника, который «качал права». А жизнь вокруг меня давала обильный материал о том, что, естественно, проходило мимо заключенного и ссыльного.

Студент МГИМО, снимавший кладовку у моей тети Даши, был сыном успешно практиковавшего областного протезиста. Он иногда возил меня по ресторанам. От него же я узнал, что, к примеру, стояло за «делом врачей», о готовящейся казни на Красной площади, о предстоящей депортации всех евреев в Сибирь. С ним мы прогуливались по очень шумной и людной в те годы улице Горького, где я увидел и тогдашнюю «плесень», и проституток, и великих людей, чьи лица знал по кинофильмам, чьи романы и стихи читал.

Однажды после обеда с этим приятелем я зашел к знакомой девушке Клаве, работавшей в крохотном учреждении в Козицком переулке. Кураж во мне был еще лагерный, а тут обед с чешским пивом «Праздрой»...

Я сообразил, что могу сильно удивить мою знакомую: небрежно подтянул к себе ее телефон, набрал 09, узнал номер телефона постоянного представительства Узбекской СССР при Совмине Союза.

Клава смотрела на меня, это определило дальнейшее.

Трубку в постпредстве сняла секретарша.

Наружно небрежно и начальственно я спросил, как зовут постпреда.

— Касым Рахимович Рахимов.

— Соедините.

Хорошо актерствовал, так хорошо, что меня не спросили, кто говорит.

— Слушаю вас,— вежливо ответил мужчина.

— Здравствуйте, товарищ Рахимов,— сказал я голосом тона на два ниже, чем говорил обычно.— С вами говорит сын Акмаля Икрамова. Вам это имя знакомо?

И тут я собирался «качать права», почему, мол, республиканские организации не отвечают на мои письма, что, мол, за бюрократизм такой! Но вопрос постпреда меня обезоружил. В голосе его зазвучало волнение.

— Сын Евгении Львовны? Где вы? Вы можете приехать? Я вас жду.

Это было летом пятьдесят шестого, прошел XX съезд, но волнение постпреда, как оказалось, было вызвано тем, что он считал себя учеником моей матери, работал в ее подчинении в Наркомземе, а когда он женился, мать выхлопотала ему квартиру и вместе с его молодой женой вымыла там полы.

Через некоторое время, в августе, Касым Рахимович вызвал меня в постпредство. Я сел под пальмой в кресло и независимо закинул ногу на ногу. Ждать пришлось долго. Но когда дверь кабинета открылась, первым оттуда вышел симпатичный узбек в сером костюме. Постпред шел за ним.

Человек в сером направился ко мне, я встал и пожал протянутую мне руку.

— Простите,— сказал человек в сером.— У меня здесь очень мало времени. Лучше прилетайте ко мне в Ташкент.

Ничего себе — «прилетайте». На какие, с позволения сказать, шиши я билет куплю. Он понял и сказал:

— Билет туда и обратно вам обеспечит Касым Рахимович. До свидания.

Человек в сером и постпред вышли, а я спросил секретаршу: кто это?

— Первый секретарь ЦК Узбекистана товарищ Мухитдинов Нуритдин Акрамович.

Так, благодаря чешскому пиву и девушке Клаве, я сподобился на путешествие в Ташкент, да еще самолетом.

...Вместе с нашедшимся братом Ургутом мы пришли в ЦК. Никогда не забуду разговора и той благодарности, которую я испытал к Н. А. Мухитдинову. Недавно я напомнил ему нашу встречу, но он, видимо, забыл, что говорил мне. А было так.

Кабинет моего отца, почти та же или такая же обстановка. Мухитдинов сказал нам с братом:

— Когда арестовали вашего отца, я был студентом и к его аресту отношения не имел никакого. В его гибели сыграли роль Усман Юсупов и еще некоторые. Но когда я пришел в этот кабинет, я прежде всего занялся делом вашего отца. Недавно я докладывал на Президиуме ЦК КПСС, что прокуратура республики реабилитировала всех, кто обвинялся по делу «Милли Истиклял». Не было такой организации, значит, сказал я, необходимо реабилитировать Акмаля Икрамова, который в руководстве этой националистической организации обвинялся. Никита Сергеевич помнит вашего отца. Он сказал, что вопрос надо поручить товарищу Руденко, потом ткнул пальцем в Молотова и добавил: «Вы эту кашу заварили, вы и расхлебывайте. Срок два месяца»

Н. А. Мухитдинов больше обращался ко мне, потому что Ургут сидел в позе молчаливого узбекского просителя, склонившись и сложив руки у живота.

— Запишите телефон заведующего Отделом административных органов ЦК КПСС товарища Дедова и Генерального прокурора Руденко. В разговоре с ними можете прямо ссылаться на слова Никиты Сергеевича, на срок два месяца.

Так я взлетел в сферы, о которых не помышлял. И тут же были решены практические вопросы: брата восстановили в Ташкентском сельхозинституте, дали квартиру. Я ни о чем для себя не просил, мне вполне хватало девятиметровки. Учиться дальше я не хотел, боялся, что не справлюсь, но Мухитдинов настоял, позвонил в Москву, в ЦК, большому начальнику, и меня почти насильно заставили учиться. Предлагали МГУ, но я решил; что институт должен быть похуже. Для представления о ходе моих тогдашних мыслей скажу, что думал так: проучусь семестр до первых экзаменов, которые, конечно же, завалю, но зато в анкетах буду писать, «образование высшее, незаконченное». Хоть кое-что.

Отца реабилитировали не через два месяца, как того хотел Хрущев, а через год, когда изгнали из партии Молотова, Кагановича и всю их по официальной терминологии «антипартийную группу». С Н. А. Мухитдиновым я встречался, когда после XXII съезда он не попал в Политбюро и оказался заместителем председателя Центросоюза. После снятия Хрущева Пуритдин Акрамович встречаться со мной желания не имел, а в недавних случайных встречах поразил меня своими совершенно новыми суждениями, резко положительной оценкой Молотова и, когда Черненко восстановил его в партии, резко отрицательным отношением к Хрущеву, даже — удивительно не ко времени — восхвалением Сталина и Усмана Юсупова.

О политика! Что ты делаешь с людьми!

Не могу не рассказать, как в ЦК КПСС знакомили меня с выпиской из постановления Президиума о посмертном восстановлении отца в партии. Чиновник вынул бумажку из сейфа, дал прочитать и пальцем указал на гриф в правом верхнем углу бланка: «Совершенно секретно».

— Оглашению не подлежит,— предупредил он.

— Это для вас секретно,— нахально возразил я.— Сейчас же пойду, наменяю пятнашек и буду звонить всем знакомым.

— Мое дело предупредить,— сухо сказал чиновник.

За справкой Верховного суда я зашел позже. Поскольку в тексте была указана должность отца, полковник (не тот, что на улице Кирова, а другой) сказал, что он очень рад, что справедливость восторжествовала, и т. д.

— Да,— согласился я.— Это действительно великое дело. Ведь теперь рухнул весь процесс «право-троцкистского блока», дело Бухарина и Рыкова.

— В каком смысле? — удивился полковник.

— Если один из главных обвиняемых оправдан подчистую, то значит, что и весь процесс — липа.

— А ваш отец проходил по тому процессу? Вы не ошибаетесь?

Некоторое время ушло на то, чтобы убедить военного юриста, что я не ошибаюсь.

Полковник убежал куда-то, привел еще трех полковников, и я повторил для них то, что уже сказал.

Они были ошарашены, другого слова мне не найти. И не зря не верили своим ушам. Время это показало. Понадобилось еще тридцать с лишним лет, чтобы свершилось то, что казалось мне закономерным, делом завтрашнего дня. Глупые полковники были умней меня.

...Я начал писать и печататься в газетах и журналах сразу по возвращении, а вскоре меня привлекла в нештатные сотрудники газета «Нойес Лебен», издающаяся для советских немцев. Писал я там под почти рифмующимся псевдонимом И. Крамер и в 1958 году выпросил себе командировку в Узбекистан. Редакция поставила условием, чтобы прежде я по бывал в Таджикистане, где есть целые немецкие колхозы написал бы очерк о передовике производства.

Во время этой командировки я понял значение грифа «Совершенно секретно». Прибыл я в райцентр Колхозабад, который только что переименовали. Он был Кагановичабадом, и не все вывески и бланки успели сменить.

Первый секретарь райкома узбек Исаев встретил меня, поджав губы, руки не подал, сказал, что наедине беседовать не будет. Постепенно в кабинете набралось человек пятнадцать, и секретарь сказал:

— Мы вас слушаем.

Я сообщил, что меня интересуют немецкие колхозы, а конкретно — колхоз имени Тельмана и колхоз имени Карла Маркса, хорошие механизаторы, доярки, культурно-просветительная работа.

— Видите ли,— секретарь переглянулся с молчаливыми людьми за длинным столом,— сейчас туда поехать нельзя. Во-первых, ремонтируется мост, во-вторых, нет транспорта.

За окном райкома я видел с десяток легковых машин и понял, что дело в чем-то другом.

Ну, так я поеду на попутке. У меня очень мало времени.

Этого делать нельзя,— твердо заявил секретарь.— Мы предлагаем вам пока осмотреть райцентр. Вас будет сопровождать собственный корреспондент республиканской газеты товарищ Рыбакин.

Рыбакин повел меня по центральной улице недавнего Кагановичабада. Навстречу нам шла поливальная машина.

Вот видите: у нас ежедневно поливают улицы. Это поливальная машина. А это — школа. У нас обязательное среднее образование, причем бесплатное. А это новый детский сад. Забота о детях...

— Слушай, друг,— я не выдержал.— У меня времени нет на это. В какой стороне колхоз Тельмана? Я поеду на попутке.

— Нельзя,— жалобно сказал Рыбакин.— У меня будут неприятности. Вы слышали, какое я получил указание?

— Плевать мне на твои указания,— возразил я.— Не могу я задерживаться, мне еще в Ташкент лететь, а бухгалтер в издательстве «Правда» ни одного дня просрочки не простит.

— Как вы сказали? В «Правде»? А при чем «Правда»? Я объяснил, что «Нойес Лебен» принадлежит этому издательству и бухгалтер Васильев может не оплатить мне всю поездку, если я задержусь без уважительных причин.

— А вы разве советский? — Рыбакин вытаращил глаза

Пришлось показать ему командировочное удостоверение и паспорт.

— Слушай,— теперь и он перешел на «ты»,— но ведь из Душанбе сказали, что к нам едет сын врага народа Акмаля Икрамова, который теперь корреспондент немецкой газеты. Мы поняли, что из ФРГ.

Когда я приехал в колхоз, то увидел, что все население поспешно белит дома. Даже с посевной людей сняли.

В Ташкенте я сразу пошел в ЦК, надо было добиться, чтобы в газетах опубликовали большую статью об отце, чтоб люди узнали, что он реабилитирован и восстановлен в партии.

Большие люди выслушивали меня, говорили «бажара-миз» — сделаем, но не делали ничего. Ташкент не хотел.

Тогда я написал письмо Н. С. Хрущеву. Очень горжусь формой и содержанием того письма. Оно явно было доложено Никите Сергеевичу, потому что очень скоро в «Правде» появилась редакционная статья «Верный сын партии».

Не могу умолчать и детали, весьма характеризующей время и нравы. Задание «Правда» получила срочное и сразу связалась со мной. «Кто может написать?»

Я назвал двух ташкентских историков, но редакция спешила. «А вы бы не смогли дать нам материал для статьи?»

Статью я написал полностью, но заголовка не предложил. Дежурный редактор отдела прочел ее, одобрил и стал придумывать, как статью озаглавить. В тексте нужной фразы он не нашел и приписал две строки: «Память об этом верном сыне ленинской партии навсегда сохранится в сердцах советских людей».

Заголовок был найден, но ни редактор, ни я не ожидали последствий. А они оказались замечательными: на другой день после выхода газеты ЦК КП Узбекистана и Совет Министров республики приняли постановление об увековечении памяти А. Икрамова. Как же иначе, если «Правда» сказала, что память навсегда сохранится?

Кстати, это была единственная за всю историю «Правды» статья с рубрикой «К шестидесятипятилетию со дня рождения». Так я заставил Рашидова считаться со мной. Узбекский писатель передал мне слова Рашидова, сказанные затем в узком кругу: «Если б наши дети так заботились о нашей памяти».

Писателю этому я в общем-то доверял и не сдержался: «Для этого нужно, чтобы отец был таким, как мой».

Дело моего деда

...Я перечитал написанное, даже то, что осталось в этом варианте о царской администрации: не упростил ли я противостоящие силы, не получились ли представители власти более циничными и примитивными, нежели они были в действительности? Наверное, эта мысль не беспокоила бы меня, если бы — я должен вновь подчеркнуть это — не вполне определенная теперь тенденция идеализировать дореволюционную Россию, ее нравы и устройство, ее колониальную политику.

Я взялся за папку, где лежит толстенное «Дело Туркестанского Охранного Отделения об обысках и арестах бывшего члена 2-ой Государственной Думы Абду-Кариева и его единомышленников за пропаганду против государственных идей, на 226 листах, начато 30 января 1909 года, по описи № 40».

Удивительно легко, даже не легко, а просто само собой попало это «дело» на мой стол, словно оно само искало меня, хотя принес его конкретный человек и рисковал при этом.

...А вчера позвонила мне совершенно незнакомая женщина и сказала, что в Москве проездом, что мама попросила разыскать сына Акмаля Икрамова, чтобы передать ему брошюрку с речью отца и еще какие-то газетные вырезки и бумаги, связанные с памятью о нем.

Это ведь надо! Сколько лет хранить, с какой опасностью не считаться! Нет, неистребима в людях память, и только она может противостоять одичанию. Люди часто не понимают этого, а только чувствуют.

...Опять перечитываю титульный лист охранного дела «...За пропаганду против государственных идей». Вновь обращаю внимание на существование в России государственных идей, самого этого понятия. В какой еще стране они были? В чем же они заключались, государственные идеи, и за что мулла Абду-Кариев, недавний член высшего законосовещательного органа империи, совсем недавно распущенного, был закован в кандалы? Вторая Дума, впрочем, сильно сердила охранку, разгневала Столыпина, он наказал ее, и в Туркестане сделали выводы. Периферийный чиновник всегда активней в ревностности в делах государственных, равно и в лихоимстве.

«Шифр Департамента Полиции. Текст телеграммы, отправленный 2 февраля 1909 года в 2 часа пополуночи:

Петербург

Директору Департамента Полиции. Лично. Бывший член второй Государственной Думы от туземного населения Ташкента мулла-имам Абду-Рауф Кариев уличается в противогосударственной агитации за вооруженное восстание целях отложения Туркестана от Империи Точка Кариев и выясненные розыском четыре его соучастника также как и он преподаватели туземных, школ Ташкенте мною арестованы Точка По обыскам обнаружена обширная переписка и большое количество изданий на персидском тюркском и арабском языках Точка Значение обнаруженного в смысле вещественных доказательств материала для розыска может определиться только по детальном разсмотрении всего отобранного переводчиками Точка Охранное разследование возбуждено

Начальник Отделения Л. Квицинский».

Не знаю звания Квицинского, он появляется в документах редко, чаще фигурирует штабс-ротмистр Лалетин, отсюда в предреволюционных главах возник у меня полковник Лелютин. Реальный Лалетин же — автор «дела» моего двоюродного деда — фальсификатор и провокатор. Можно бы на этих страницах показать его сотрудников и приспешников в сочетании правды с домыслом. Если это будет надобно.

Для публициста же очень важно отметить следующее: «По обыскам обнаружена обширная переписка и большое количество изданий на персидском, тюркском и арабском языках». (Уже криминал, на непонятных языках читают и пишут, канальи!) «Значение обнаруженного в смысле вещественных доказательств материалов для розыска может определиться только подетальном разсмотрении всего отобранного переводчиками». (Вот оно, сначала взять, а потом видно будет. И это девятый год. И это в отношении лица хотя и потерявшего депутатскую неприкосновенность, но весьма видного, уважаемого, пользующегося влиянием.)

В деле много имен людей, стоящих по обе стороны не баррикады, конечно, а только барьера, решетки, которая разделяет карающих и караемых.

«Его высокоблагородию Н. Н. Караульщикову

Милостивый Государь Николай Николаевич!

Впоследствии личных переговоров и нашего взаимного соглашения направляю Вам, Милостивый Государь, подателя сего — моего секретного сотрудника по кличке «Оренбургский», владеющего туземными наречиями, для розыска в уезде по известному Вам делу Кариева и других...»

По делу моего двоюродного деда допрашивались многие.

Их дети, внуки, правнуки, праправнуки вряд ли узнают по именам своих предков, ведь узбеки не наследовали фамилий, и полагаю, что это избавило многих от серьезных неприятностей, связанных с неправильным происхождением.

А дети тех, кто допрашивал, содействовал полиции, кто доносил, переводил и вообще служил? Им тоже не нужно было устанавливать прямых связей с родителями. Не с точки зрения детей я пишу это, а с точки зрения нас, родителей.

Историю дела моего двоюродного деда можно начать с того, какие важные люди собираются в белое кирпичное здание под голыми тополями. Февраль. У дувалов не стаял снег, булыжник мокрый. В фаэтоне приехал отдельного корпуса жандармов ротмистр Осипов, на своих лошадях, а кто и пешком, если жил поблизости, прибывали к назначенному хмурому утреннему часу переводчик при управлении канцелярии генерал-губернатора Бактий Галиевич Илькин, переводчик пониже рангом из ведомства градоначальника Шакирджан Согдиев Ишаев, помощник пристава 2-го участка туземной части Ташкента Султанбек Абдулганиевич Яушев, надворный советник Таирбек Киязбеков и другие компетентные люди.

Предстояло «сличение почерка муллы, сарта, жителя г. Ташкента Мухамеда-Рахима-ходжи-Нурутдина Ходжаева с почерком, коим написаны письмо и прокламация от имени депутата мусульман г. Ташкента Кариева, начинающихся словами (в русском переводе) первое: «Любезный брат» и второе «О смиренные мусульмане».

Было установлено, что это не подлинник, а копия с письма, которое «по своему стилю и отдельным выражениям могло быть написано сартом, знакомым с революционными воззваниями на татарском языке».

Допрашиваемый, тридцатилетний учитель, живший подле Шейхантаура, совсем рядом с махаллей моих предков, был еще имамом своей махаллинской мечети, имел детей и младших братьев, которых содержал после смерти своего отца.

Образование арестованный получил в Ташкенте и в Бухаре, ранее не был судим, к дознаниям и следствиям не привлекался. Он показал, что деда моего двоюродного знает с детства, учился у него высшей премудрости незадолго до отъезда учителя в Санкт-Петербург. Дружить с ним не дружил, ибо неровня ему. В гостях Кариев всегда занимал почетное место, а он сидел поближе к двери. Еще он показал, что Кариев перед отъездом своим сказал в мечети народу, что в Государственной думе он приложит все свои старания и свой ум к тому, чтобы добиться всего хорошего для населения, но свои требования он выскажет только такие, какие будут в пределах закона. Вернувшись, он говорил, что Дума распущена по воле государя и что наш край теперь лишен возможности докладывать о своих нуждах, а при существовании Думы Туркестанский край мог бы добиться улучшения для своих жителей.

Арестованный называет имена людей, которые вместе с ним слушали речи бывшего члена Думы, а потом по обстоятельствам, которых доподлинно мы никогда не установим, говорит: «Мои прихожане могут подтвердить, что я после каждой молитвы в мечети говорю им, чтобы они в своих молитвах молились за русского царя, и меня прямо поражает, что такой умный и ученый человек, как Кариев, может думать или тем более делать что-нибудь против правительства еще после того, как был в Петербурге и, следовательно, видел всю силу, самое лучшее...»

Впрочем, я ведь читаю русский перевод допроса, а как переводили и записывали показания арестованного, бог знает.

Вот допрашивают другого нашего соседа — Ахмата Ходжаева, тоже живущего близ мечети Шейхантаур. Его арестовали одновременно с Кариевым, и он тоже старается отмежеваться от него: «О приезде Кариева из Петербурга я знал, но мало интересовался подобным делом, и поэтому лично с Кариевым о его нахождении в Государственной Думе и о том, что он в этой Думе делал, я не разговаривал, но слышал, что Кариев другим лицам сообщал, что он ничего для пользы населения Туркестана достичь не мог, так как Дума скоро была закрыта».

О другом из арестованных Ходжаев говорит: «Про муллу Бердияра я слыхал, что он из уезда, что по наукам он идет впереди всех учеников в мечети Юнус-Хана».

Третий по делу — Аллаутдин-Магзум Якубходжаев уверяет, что Кариев ему вообще не доверял, откровенным с ним не был, и неприязнь его проистекает из зависти. Якубходжаева выбрали вмударисы (наставники) почти единогласно, а Кариев получил голосов много меньше. Далее арестованный отвергает свою причастность к двум письмам предосудительного содержания, начинающихся словами «Любезный брат» и «О смиренные мусульмане».

Интересно тут одно обстоятельство, рисующее нравы тогдашнего Ташкента, как принято было говорить, в туземной его части.

Якубходжаев высказывает предположение, что донос на него могли написать по злобе некто Минновар-Кары или Самиг-Кары. Минновар-Кары якобы особенно зол и на Абдувахида, потому-то и связывает их вместе в своем доносе.

(Характерно, что Минновар-Кары, или, как это имя пишется теперь, Мунновар-коры, один из идейных вождей мусульманского изоляционизма, в годы революции продолжал быть ярым врагом либерального Абдувахида Абдурауфа Кариева, а в 1919 году очень враждовал с моим отцом.)

9 февраля 1909 года допрашивается мулла Бердияр. Тут есть кое-что весьма любопытное. Ему тридцать лет, он называет себя не сартом, а куроминцем, занятие и ремесло его обозначается так: летом работает чернорабочим, зимой учится в мечети. В отличие от трех первых допрошенных, обладавших недвижимостью и кое-какой земельной собственностью, мулла Бердияр на вопрос о степени имущественного обеспечения отвечает: «Лично ничего не имею. Мать тоже».

Ему, как и другим, предъявляют два рукописных текста, о содержании которых мы можем пока только догадываться, и Бердияр заявляет: «Эта рукопись написана не мной, и я не знаю, кем она может быть написана. Я понимаю, что за писание подобных воззваний, где говорится об отторжении Туркестана от Российской империи, должна быть строгая кара и тяжелое наказание, и я знаю, что за бунт в Андижане назад тому двенадцать лет погибло много мусульман. Я еще раз повторяю, что писал это не я, а кто, не знаю, тем более что у меня врагов и недоброжелателей нет. Однако я допускаю, что враги и недоброжелатели Абдувахида Кариева могли это написать. Никаких поручений по подобным делам Абдувахид Кариев мне никогда не давал, а если и поручит на словах передать другим что-либо, что относится к разряду преступлений, я исполнять не буду. Я хотя и ученик его, и закон наш шариат обязывает подчиняться учителям, но я все равно не стал бы делать ничего против закона».

Уверен, что любой беллетрист сможет в уже описанные обстоятельства вмонтировать мальчишку лет одиннадцати, смышленого, знающего худо-бедно три языка и Коран наизусть, мальчишку, дядю которого забрали так неожиданно.

Ясно, что обысков боялись все родственники, что о возможных доносчиках говорилось в семьях много, что могли мальчишке дать поручение куда-то сбегать, кого-то предупредить, у кого-то о чем-то спросить.

Вот и была бы главка в беллетристический вариант книги о моем отце. В одиннадцать лет человек много понимает, по себе знаю, хотя я бесспорно лишь бледный список с портрета отца.

Итак, Акмальхон видел все это и слышал об этом много. Можно еще написать сцену в доме домлы Икрама, где Абдувахид рассказывает о своей деятельности в Думе, о ее роспуске. Можно! Только зачем придумывать? Лучше представить себе рассказ Абдувахида в семейном кругу, среди близких по тому, что он говорил на допросах.

«Действительно, при моем отправлении в Государственную Думу в Петербург население меня снабдило программой о нуждах Туркестанского края, подробности программы я не помню, но она, кажется, должна быть в числе вещей и предметов,

которые у меня отобрали по обыску. Перед отъездом в Петербург я сильно был занят сборами в этот дальний путь и совершенно не помню, кто эту программу мне вручил...»

Не забывайте, читатель, что речь идет о депутате, об избраннике народа, о Государственной думе, которую нынче принято ругать за злоупотребление данными ей царем демократическими правами. Не забывайте, читатель, что следователь спрашивает, а обвиняемый рассказывает не о тайных прокламациях, а об официальном наказе избирателей.

«По прибытии в Государственную Думу я вошел в состав мусульманской фракции, во главе которой стоял депутат от Уфимской губернии татарин Биглов... Вся мусульманская фракция сидела в центре, за кадетами, в правой от центрального прохода части... Я лично с кафедры Государственной Думы оратором не выступал. Голосовал и поддерживал в баллотированиях я те группы, к которым склонялась вея наша мусульманская фракция, состоящая приблизительно из тридцати человек. Насколько мне помнится, не было случая, чтобы поддерживали в баллотировках сторону левых групп».

Двоюродный дед не врал. Действительно, мусульманская фракция держалась центра и из страха, внушенного не с помощью гипноза, клонилась чаще в правую сторону. Тут их месторасположение в зале российского парламента соответствовало их местоположению в истории.

«Не зная русского языка,— продолжал Кариев,— я не могу ответить на вопрос, поднимался ли во Второй Государственной Думе вопрос об автономиях окраин империи, как-то: Польши, Финляндии, Туркестана и других. Об отложении Туркестана от империи я хорошо знаю, что подобный вопрос в Государственной Думе и не возбуждался, а о нуждах Туркестанского края я членам мусульманской фракции заявлял, но мне на это ответили, что до возбуждения этого вопроса очередь не дошла. Вопрос же об отложении неорошаемых «богарных» земель Туркестана был решен в том смысле, что за каждую десятину правительство должно взимать только по одному рублю».

Казалось бы, все ясно с этим депутатом. Но охранку почему-то интересует и то, что она сама обычно знала, то, что называлось столыпинским переворотом.

«Перед роспуском Думы я узнал от некоторых депутатов, что 17 человек из среды тех же депутатов должны идти под суд за противоправительственную деятельность и сама Государственная Дума решила вопрос о предании этих семнадцати депутатов суду, но не успела окончательно решить этот вопрос, как последовало распоряжение о ее роспуске».

По нашему семейному преданию, получается так, что никто из ближайших родственников не мог или боялся узнавать, что происходит, за что схватили Абдувахида и что с ним будет. Только свекор старшей сестры моего отца по своим связям с купцом Яушевым, родственником одного из уже упомянутых здесь

«туземных» администраторов, узнал, что дело совсем плохо, что дядю заковали в цепи и ему грозит виселица.

А мой отец именно в это время служил мальчиком в лавке у купца Шерахмеда, компаньона братьев Яушевых. Какой был бы простор для фантазии, какая экзотика, какие детали. Можно ведь устроить встречу со штабс-ротмистром Лалетиным, то бишь Лелютиным, чтобы потом продлить эту линию вплоть до Октября, а там устроить диспут Абдувахи-да-коры с Мунновар-коры. Можно муллу Бердияра сделать одним из вождей восстания шестнадцатого года, рассказать, какое влияние его решимость жить справедливо по шариату имела на моего отца... Можно и даже нужно ввести сюда агента по кличке «Оренбургский». У меня на примете есть ему прототип. И портрет готов — коренастый молодой человек с двумя рядами золотых зубов. Только зачем? Зачем, кому нужны эти фантазии, когда передо мной дело?

Помните, как герой одной из лучших повестей Юрия Трифонова рвался из нашего времени к делам царской охранки? Мне и рваться не надо, все принесли домой. «Если сыну Акмаля Икрамова надо, мы сделаем». Правда, тайно принесли, и ксерокопию сделали тайно.

Далее хочу привести цитату без всякой орфографической правки, все, как читается, разве что без ятей и твердых знаков.

Протокол №

1909 года февраля «11» дня, в гор. Ташкент я, Отдельного Корпуса Жандармов Штабс-Ротмистр ЛАЛЕТИН, на основании Положения о Государственной охране, Высочайше утвержденного в 14 день августа 1881 года, допрашивал нижепоименованного в качестве обвиняемого, который в дополнение к показанию от 10-го февраля 1909 года объяснил: Вторая Государственная Дума была закрыта 3-го июня в Воскресение 1907 года; на другой то есть 4-го июня я получил «суточный» деньги за истекшую неделю,— в тот же день выехал из гор. С.-Петербурга направляясь в Туркестанский край. Никто из членов «мусульманской фракции» в числе 17 человек преданных суду за противоправительственную деятельность — не попал в это число и я тоже: после чего я благополучно и приехал в гор. Ташкент домой. По прибытии домой я опять занимался своими обычными делами и приходящим меня навещать — моим родным и близким знакомым говорил лишь о своем благополучном прибытии. Про Государственную Думу я почти ничего существеннаго никому не говорил, а также и разговоров на политический темы ни с кем не вел. Я занимался и занимаюсь со своими учениками науками — учеников у меня более 30 и назад тому 15 месяцев я будучи выбран в «мударисы» — «Имамы» спустя месяц принял еще в число своих учеников и Муллу-Бердияра, который по наукам идет первым учеником. Но я как «Имам» строго придерживаясь своему закону по «Шариату» — не делаю никакого предпочтения Мулле-Бердияру и он пользуется одинаковым моим расположением наравне с остальными моими учениками. Тем более Мулла-Бердияр, как еще не вполне образованный и ученый человек — близко ко мне не стоит и тесную связь с ним я не поддерживаю, и никаких кроме ученических задач я ему других поручений не давал. Кроме разговоров по вопросам науки — я с

учениками других посторонних не относящихся к делу разговоров не веду и с Муллой-Бердияром я ничего подобного тоже не говорил. Предъявляемая мне Вами рукопись написанная на тюркском наречии рукописными арабскими буквами, какими обыкновенно пишут все мусульмане — на листе почтовой бумаги малого формата, на одной стороне котораго написано письмо по переводе на русский язык начинающееся словами: «Любезный брат...» и кончающееся словами: «...депутат Ташкентских мусульман Кариев», а на другой стороне этого листа написано: «Танби-Намэ» — что значит «прокламация», начинающаяся словами: «О смиренные мусульмане...» и кончающаяся: «...Указатель дальнейшего пути депутат мусульман» — я заявляю, но окончательно сказать не могу, кто это написал, то есть какой человек. Но я утверждаю, что писал это не я, и никто другой, которому бы я мог диктовать для писания эти будто бы мои собственные слова. Я еще раз говорю, что это дело не моих рук. Но я думаю и предполагаю и подозреваю, что это мог написать сарт Таджибай Иса Мухамедов. Возрения и убеждения Таджибая Иса Мухамедова я не знаю — но по нравственным качествам Таджибай по-моему способен написать как бы от моего имени подобное подложное письмо. Я приписываю подобное деяние Таджибаю Иса Мухамедову потому, что он на меня сердит,— а я друг его брата Мирза-Абдуллы, с которым Таджибай враждует, и из этого я допускаю но окончательно и утвердительно сказать не могу — что Таджибай по злобе к брату вредит и его друзьям то есть мне, о чем известно всем проживающим в нашей махалле (квартале) Пу-Штюбах. Почему именно автор этого предъявляемого письма, подозреваемый мною Таджибай — еще упоминает и выставляет в тексте письма имя моего ученика Муллы-Бердияра — я тоже окончательно и утвердительно сказать не могу: но предполагаю, что это сделано для большего усиления тяготеющаго на мне подозрения будто бы в противоправительственной деятельности и еще и потому чтоМулла-Бердияр, человек уже взрослый и считается моим первым учеником по наукам — в силу чего имя Муллы-Бердияра и выставлено,— а других остальных учеников не упомянуто как и малолетних.

Подпись Абду-Вахит-Кары-Абду Рауф Кариева на туземном языке. Отдельнаго Корпуса Жандармов Штабе-Ротмистр Лалетин.

Настоящий допрос произведен через штатного переводчика Канцелярии Туркестанского Генерал-Губернатора, Коллежскаго Секретаря Бахтия Галиевича Илькина и показания Абду-Вахит Абду-Рауф-Кариев настоящий протокол занесены правильно-верно: подписал: Штатный переводчик при канцелярии Туркестанского Генерал-Губернатора Коллежский Секретарь Илькин.—

Верно Отдельнаго Корпуса Жандармов

Штабе-Ротмистр

Дастархан

Лестно было бы и полезно для стройности доказательств кровной связи моего отца с социал-демократами поверить версии, на которой настаивает охранка. Лестно! Но ни писатель, ни читатель, ознакомившись с этими протоколами, пока еще не может сделать окончательный вывод о виновности или невиновности ташкентского муллы Кариева и его знакомых в пропаганде против государственных идей.

Потому что выводы сделать нельзя, можно дать простор воображению.

Вот, к примеру, тот секретный агент, тот «Оренбургский». Чем дальше идет сюжет, тем интересней проследить роль «Оренбургского» в этом деле и его собственную судьбу вплоть до двадцатых годов, когда все перевернулось.

Так и вижу его золотозубую улыбку, его приветливость, его руку, приложенную к животу, а не к сердцу, как обычно пишется. Он живуч, этот «Оренбургский», так и вижу его сына, тоже, кстати, с золотыми зубами. Вот он в двадцатом вместе с моим отцом в Фергане.

...Город Скобелев. Подумать только — Скобелев! — для увековечения победы. Русский город Скобелев среди туземных кишлаков, среди святых мест с древними мечетями, с кладбищами и деревьями, увешанными ритуальными, почти языческими лоскутами.

Два слоя населения, которые смешались лишь по принуждению, которые не только были чужды друг другу, но и существовали по совершенно различным, непохожим законам.

Вы обратили внимание на то, какую особую роль в деле моего деда играет ложный донос?

Мулла Таджибай Иса Мухамедов или кто-то другой пишет донос на муллу Бердияра и на его учителя Кариева. Кому пишет? Он пишет русским, которых ненавидит, считает неверными, которых одновременно боится за силу и презирает за глупость.

Мой отец часто объяснял нам, домашним, а еще чаще гостям из Москвы, что нельзя переносить в Среднюю Азию представления об общественных отношениях, характерных для средней России. При всей забитости русского крестьянина, при всем его вековом бесправии и темноте он к семнадцатому году был на два-три века впереди дехканина узбекского.

Основная масса дехкан собственной земли не имела вообще либо имела ее так мало, что не могла обойтись без арендованной у бая. Виды аренды были разные, наиболее распространенными были «половинщики», по-узбекски — ширик. Ширик должен был все иметь свое: семена, тягловый скот, свою соху — омач и кетмень. Он получал только землю, но считался счастливчиком, ибо другие арендовали не только землю, но и лошадь или вола, брали у хозяина соху и кетмень.

Расплата происходила осенью и выглядела так: на ток (по-узбекски — хирман) первым являлся хозяин земли. Он разглядывал равные кучки зерна, проса, риса или хлопка и половину кучек по выбору увозил.

Потом приходил мулла — имам и забирал десятую часть оставшегося. Вслед за ним приходил мулла — учитель детей, ему тоже полагалось получить свое. Третьим являлся сартараш — цирульник...

Цирульник в наших краях был не столько брадобреем, сколько лекарем, «скорой помощью» и немного колдуном. Он «заговаривал» кровь и зубы, исцелял от змеиных укусов. Исцелял он и осла, и кобылу, и козу. Большой чин был сартараш! Он бывал еще штатным церемонимейстером на всех празднествах, он знал, кого куда посадить, кого как угостить. Это он отвечал за приготовление общественного кетмень-палова, плова, который готовится во время тоя, в казане, принадлежащем мечети. Этот общинный плов весьма романтичен и может считаться символом чего-то очень хорошего, но не в том сейчас суть. Не в том дело, что рис в том котле собирался в кучку кетменем, не в том, что дырки в рисе протыкают деревянным черенком, а в том, что и этот общинный плов наравне с богатеями должен выставить любой бедняк.

Цирульник, сартараш, получал свою долю, и это было последнее, что хозяин давал по справедливости. Дальше начиналось самое обидное, откровенный грабеж. На хирман являлся джа ноби — волостной старшина, который по отношению к дехканам нечто вроде превосходительства. Волостной старшина носил бляху и жил не жалованием, а исключительно поборами. Никому и в голову не могло прийти, что ему можно не платить.

В сознании узбека тех лет структура империи выглядела так: я даю часть моего хлеба и мяса волостному, волостной — уездному, уездный — губернатору, губернатор — генерал-губернатору, тот — министрам, а министры — самому белому царю. Не о системе государственных налогов шла речь, а о бакшише, передаваемом из рук в руки. (Примерно те же мысли я слышал в кишлаках во времена Брежнева. Я не думал, что так все просто, но оказалось, что почти так.)

Вместе с волостным — джаноби приходил на ток едикбаши, кишлачный староста, за ним являлся мираб, он же арык-аксакал. Считалось, что мираб — это самый справедливый из людей, ибо именно мираб распределяет воду между кишлаками и между хозяйствами. Мирабу тоже полагалась часть оставшегося на хирмане.

Никогда ни в кино, ни на картине не видел я этого хирмана, в котором воплощалась не только несправедливость, но и покорность, не только нищета, но и безнадежность.

Может, в том дело, что особенности быта тогдашнего русского Востока до сих пор затмеваются в нашем сознании сценами из балета «Бахчисарайский фонтан» и половецкими плясками из «Князя Игоря»?

Я сильно сокращаю все, что называю здесь попыткой беллетристики, хотя основана она на фактах и документах. Для меня мучительно писать в этой книге не от

первого лица, но историческая истина требует выхода в любой форме, а я не знаю, как иначе рассказать о двух пластах жизни предреволюционной колониальной окраины Российской империи И рассказ мой построен на документах, на которые был наложен запрет, как и на сам факт существования колоний, колониальной политики и колониальной администрации.

Ложь о добровольном присоединении Туркестана к России, утвердившаяся чудовищными репрессиями Сталина, его ОГПУ, затем Ежова и Берия, должна наконец быть вскрыта. А дело дошло до того, что из школьных учебников десятилетиями вычеркивались даже слова В. И. Ленина о том, что Россия была тюрьмой народов.

Восточный базар только для туристов — роскошь и изобилие, для местных жителей — он скудость и аскетизм. А гаремы и серали, знакомые нам по стихам и олеографиям,— это нечто такое жалкое и страшное, что писать об этом никому неохота.

Маулян-обод — злачное место, где находились публичные дома с девушками и мальчиками для любовных утех. Бача — мальчик, наряженный в женское платье, мальчик, который поет и пляшет, а стоит совсем недорого. Все продавалось здесь, в маулян-ободе, и все стоило гроши. ...Пожалуй, нигде в нашем веке и в нашей стране не было такой социальной, национальной и общинной разобщенности, как здесь — в Ташкенте, Самарканде, Коканде, Скобелеве, Хиве и Бухаре. Даже названия наций и народностей были тогда совсем иными, чем теперь, потому что те, кто имел право называть, не признавали ничего, кроме собственного на это права.

Таджики ненавидели узбеков, те отвечали им взаимностью, первые и вторые с презрением относились к остальным жителям степей и гор Туркестана и уже вовсе за людей не считали бухарских евреев, местных цыган — люли, индусов, белуджей, ногаев и иронэ-шиитов.

Без иронэ, выходцев из Ирана, бывших в Средней Азии когда-то только рабами, невозможно представить себе начала нынешнего века в недавно присоединенных землях Средней Азии. Без татар, привезенных русскими в качестве толмачей и мелких торговцев, начинающих часто с маркитантского промысла, и без иронэ, или, как их теперь называют, ирони, сразу пошедших на службу в младшие полицейские чины и агенты, в те же толмачи и в сборщики податей, нельзя себе представить деятельность царской администрации, ее фискальной службы и карательных органов.

Удивительно мало нынешние этнографы занимаются изучением мелких национальных групп региона. Мешают те «побочные» и «деликатные» соображения, которые и составляют определяющие факторы всех и всяческих национальных отношений. Непредсказуемость в части поведения мелких национальных групп не так и велика, если посмотреть на тех же ирони, которые служили опорой царской власти, но тут же первыми пошли служить власти советской.

И в первом и во втором случае это национальное меньшинство не полагалось на симпатии коренного населения, поэтому бежало под руку пришлой власти.

В самом начале революции, в 17, 18 и 19 годах, только незначительная часть узбеков, причем чаще всего из образованного слоя, понимала Октябрь как начало национального освобождения, как путь к равноправию. Для этого надо было если не самого Ленина читать, то хоть переложение его мыслей и полемику с ним.

Капитализм наступал повсюду в России, а его высшая фаза — империализм — на земле моих предков выступал совсем иначе, нежели в Туле, Лодзи, Одессе или Иванове. Мне лестно думать, говорить и писать, что мулла Абду-вахид Абдурауф-коры Кариев был тесно связан с социалистами-революционерами, а еще теснее с социал-демократами, но сомнения гложут меня.

Дело моего деда

Начальник охранного отделения Леонид Антонович Квицинский обращается к начальнику города Ташкента Николаю Николаевичу Караульщикову (странное для меня словосочетание, но оно именно таково) с просьбой: «Имею честь просить Ваше Высокоблагородие исходатайствовать пред Г. Военным Губернатором Сыр-Дарьинской области продление срока ареста до одного месяца задержанных в гор. Ташкенте...» Это датировано одиннадцатым, но еще девятого февраля в качестве свидетеля допрашивается Таджи Иса Мухамедов, занятие — торговля шелковыми товарами в Старом городе.

Свидетель ведет себя достойно, подтверждает факт вражды с Кариевым, свою непричастность ко всем его делам и утверждает, что ни прокламаций, ни писем от лица Кариева он не видел и в противоправительственной деятельности его заподозрить бы не мог.

Вскоре после этого Лалетин вынужден сообщить по начальству, что «при сличении упоминаемых выше почерков г. г. эксперты пришли к заключению, что почерки по общему обзору писания как будто схожи при первом впечатлении, но при детальном разборе в смысле правописания, а также и начертания отдельных слов и отдельных букв — сходство между почерками никакого нет».

И вот из канцелярии туркестанского генерал-губернатора идет письмо довольно разумное: «Л. А. Квицинскому Начальнику Туркестанского Охранного отделения.

Милостивый Государь Леонид Антонович.

Главный начальник края, ознакомившись с донесением Начальника города Ташкента о настроении туземного населения города, вызванном арестами бывшего члена Государственной Думы Кариева и его единомышленников, и с копией протокола опроса Кариева, положил резолюцию: «Охранному Отделению без явных улик и без убеждения в опасно-вредной деятельности не арестовывать. Обследование о Кариеве и ближайших его помощниках произвести со всей полнотой. Предъявленный протокол этого характера не имеет».

Сообщаю это Вашему Высокородию для руководства и соответствующих распоряжений. Прошу принять уверение в совершенном уважении и преданности».

Что ж, высшая власть часто бывала в России более разумной, благоразумной и заодно умела делать вид либеральной просвещенности и милостивого благорасположения к малым сим, но все это получалось лишь тогда, когда охранительные органы не проявляли настойчивости в своем деле, настойчивости, которая позже стала называться бдительностью

Л. Квицинский отвечает

«В дополнение к записке моей от 14 февраля за № 847 имею честь представить при сем Вашему Превосходительству, для доклада г. Главному Начальнику края, перевод рукописи на персидско-азербайджанском языке, обнаруженной в переписке имама-муллы Абду-Вахит Абду-Рауф Кариева, из текста коей между прочим усматривается, что обвиняемый Кариев еще ранее принадлежал к числу лиц, недовольных имперской политикой в Туркестанском крае.

К сему считаю долгом присовокупить, что на предмет выяснения, является ли Кариев автором обнаруженных у него рукописей означенного содержания или таковыя принадлежат кому-либо из его корреспондентов,— производится особая экспертиза».

Прежде чем продолжить обзор «дела» и материалов, присланных Квицинским своему начальству, хочу еще раз оговориться, что мог бы обрисовать, как писались сии бумаги, как их читали в высших сферах, перебить это сиеной, в которой муллу Абдувахида Кариева вели в кандалах через весь город на свидание с тяжело больной матерью, а старушке было в ту пору восемьдесят четыре года.

Я мог бы, но в этом мне видится только недобросовестность и неуважение к современному читателю.

В документах — все. А был ли тот или иной персонаж с усами или с бакенбардами, потирал ли он время от времени поясницу, страдал ли геморроем, как незабвенный Порфи-рий Петрович, набивал ли он трубку или закуривал пахитоску — неужто это так необходимо?.. В документах и психология, и портреты.

Еще бы я мог написать, как мальчик лет одиннадцати в глубоких остроносых азиатских галошах на босу ногу бежал следом за конвоем, как он расспрашивал старших, зачем такого смирного человека, каким всегда был дядя Абду-вахид, заковывать в цепи, как этот мальчик потом забился в рисовую солому на балахане и думал о непостижимой несправедливости всего сущего. А ночь февральская была холодна, и месяц висел над минаретом Шейхантаура, совсем как на картинках, которых мальчуган никогда не видел.

Но зачем, зачем это?

Продолжим лучше обзор материалов со всеми возможными сокращениями.

Вещественные доказательства неблагонадежности моего двоюродного деда можно читать и перечитывать сколько угодно раз. Их стиль, язык, особенности и построения обладают для меня притягательностью, которая не может объясняться лишь тем конкретным фактом, что мой отец читал эти тексты, написанные то по-персидски, то по-тюркски, то по-арабски, и слышал бесконечные беседы старших родичей.

Наказ выборщиков Аулие-Атинского и Чимкентского уездов Сыр-Дарьинской области депутату Думы в кратком изложении по пунктам:

1. «Наивысшее желание наше» заключается в том, чтобы мы в юридическом отношении подчинялись требованиям шариата, чтобы разрешалось шариатским судьям вершить сделки на недвижимость на сумму свыше трехсот рублей и т. д.

2. Отменить закон, по которому доктора насильственно производят вскрытия трупов, убитых или умерших от каких-то причин мусульман, так как вскрытие трупов в глазах мусульман считается тяжким оскорблением и величайшим преступлением.

3. Приостановить отчуждение и заселение русскими земель, искони принадлежащих мусульманам.

4. Предоставить право самим мусульманам выбирать своих религиозных наставников и имамов в мечетях.

5. Приостановить ежегодное повышение податей.

6. Совершенно отменить адат (обычное право) у киргизов, передав их дела шариатским судам.

Среди прочих пожеланий: разрешить торговцам мусульманам не прекращать торговлю в дни русских праздников, ирригационных арык-аксакалов (мирабов) выбирать из среды своих же мусульман...

Еще один криминальный документ приведу вкратце, но с сохранением стиля и орфографии.

«Во имя бога Милостивого и Милосердного.

Да ниспошлет Вам, Господин домулла Кари, Господь Бог долголетнюю жизнь и удостоит Вас высокого счастья и всеобщего уважения. Аминь, аминь, аминь...

Наш Царь, покровительствуя своим подданным, назначил из городских средств сумму на очистку хауза (пруда). Заведывающие же городским хозяйством сообща эту

сумму растрачивают сами, между тем с наступлением времени для очистки этого хауза, пристав строго приказывает неотложно исполнять эти работы. Жители, боясь пристава, производят очистку хауза на свои средства, собирая с бедных по 1 руб., а с богатых по 2 руб. ...

На зарытие верблюдов, лошадей и баранов, падших от болезней, Государем назначена из городских средств известная сумма. Если кто-либо из нас вздумает зарезать верблюда или лошадь, издыхающих от болезней, то пристав таких людей штрафует... Таким образом, туземцы лишаются и лошади и денег. О Господи, окажи нам свои милости, аминь».

Среди других подобных напоминаний депутату Думы есть еще просьба разрешить хоронить своих покойников на ближнем кладбище, ибо осенью, зимой и весной дорога на новое кладбище непроходима. Пусть разрешат хоронить поближе, пока еще не вымощена новая дорога.

Более обстоятельно и менее наивно выглядит официальное обращение к высочайшему ревизору края графу Палену, поданное ему в обычном законном порядке.

«Его сиятельству гофмейстеру высочайшего Двора Сенатору Графу Палену,
назначенному по Высочайшему его Императорского Величества повелению
ревизовать Туркестанский край

От нижеподписавшихся благонадежных лиц — жителей гор. Ташкента

ПРОШЕНИЕ

Ввиду высочайше дарованного его императорским величеством манифеста от 17 октября 1906 года и на основании Высочайшего повеления, предоставившего нам, жителям, право выбирать от нашего края членов в Государственную Думу для изложения своих нужд и улучшения своего положения в политическом и экономическом отношении, нами был выбран в 1907 году депутат во вторую Государственную Думу, которому была вручена программа о наших неотложных нуждах, но вследствие роспуска Думы мы не успели получить удовлетворения. Для выбора члена в третью Государственную Думу Высочайшего повеления не последовало, а поэтому мы были лишены возможности иметь в ней своего представителя. Ныне же мы сердечно радуемся, от души приветствуем и поздравляем Вас с благополучным прибытием в край...»

Оценка всех материалов, изъятых при обысках, содержится в официальном же и секретном письме от 24 февраля.

«Начальнику Туркестанского Охранного Отделения.

Канцелярия уведомляет, что на записке Вашей от 18 сего февраля за № 888 Главный Начальник края наложил следующую резолюцию: «весьма успокоительно, что Ташкент (туземный) не пошел на зазывание Кариева. Последний по-видимому

мутил туземцев, но по совести сказать письма невинного содержания. В них есть о нуждах, обидах, несправедливости, взяточничестве: но противоправительственного нельзя усмотреть».

Не надо, однако, полагать, что резолюция сия подразумевала прекращение дела и освобождение арестованных, ибо в документе аналогичного содержания, полученном Квицинским несколькими днями ранее, наличествовали такие строки: «Принимая во внимание, что первоисточниками указаний на Кариева явились донесения на него местным полицейским властям на туземном языке и как бы от имени туземцев, логично с несомненностью заключить, что среди туземного населения г. Ташкента и Ташкентского уезда имеется группа лиц, хорошо знакомая с деятельностью Кариева и его кружка, недовольная этой деятельностью и желающая прийти на помощь властям для ее прекращения».

О секретность! Архивисты должны благословлять ее, ибо только она позволяет царским чиновникам внутри вполне благопристойного текста раскрыть то, что открывать не следует: «на туземном языке и как бы от имени туземцев».

Кто же эти, кто как бы?

В деле есть заявления, вернее, доносы, вернее, переводы доносов. Датированы они апрелем и даже августом 1909 года, то есть много позже того дня, когда пять узбекских интеллигентов были схвачены и заключены в тюрьму. То ли эти документы позже были переложены из агентурных папок в папку официальную, то ли сфабрикованы позже.

Первым лежит в папке донос без даты некоего Гаиббая Саиббаева о том, что мой двоюродный дед тайком собирал и отправлял в Турцию денежные средства для турецкого войска и даже имеет за эти заслуги турецкую медаль, полученную без разрешения русских властей. (Медали этой не было.)

Второй документ сообщает, что был обнаружен злоумышленник. Сами судите о достоверности этого вымысла.

Оказывается, еще в декабре 1908 года некий аноним, назвавшийся вымышленным именем, сообщал, что Абду-Ва-хид-Кары Абду-Рауф Кариев (имя полное, как в документах, а не так, как звали деда в быту) ведет противоправительственную пропаганду, направленную на отложение Туркестана от Российской империи. Затем 29 января 1909 года штатный переводчик уездного управления Дост-Магометов заявил подполковнику Н. Н. Караульщикову, что 20 января к нему на квартиру явился неизвестный старик туземец и обратился с просьбой перевести ему один (далее идет слово, которое мне не удалось разобрать) документ. В имевшемся у этого старика мешочке с разными бумагами Абдурахмат Дост-Магометов заметил «прокламацию», которую и взял себе, не спросив старика, кто дал ему эту прокламацию, и, не узнав даже, как зовут старика. Одно лишь запомнил Дост-Магометов, что по выговору этот старик туземец — ку-раминец и что в документе, который он перевел старику,

упоминался род «теляу». Вследствие этого Дост-Магометов предполагает, что старик этот — житель кишлака Теляу или какого-либо другого кишлака Теляузской волости Ташкентского уезда.

При осмотре вышеозначенной прокламации оказалось, что она представляет собой написанное на тюркском наречии воззвание, призывающее мусульман к вооруженному восстанию для освобождения из-под русского владычества. На обратной стороне листка, на котором написано это воззвание, оказалось, письмо, подписанное: «Депутат Ташкентских мусульман Кариев». В этом письме, обращенном к неизвестному лицу, названному «любезным братом», автор сообщает, что по возвращении из Петербурга у него стало много дела, что летом он уже послал этому лицу одну прокламацию, но «никакого результата не получилось», что с посланной теперь прокламации надо снять копии и распространить таковые, что он «мог уговорить» только трех лиц, но что «если Бог даст, в начале лета выступит четверо» и «еще имею несколько слов — секретных, которые скажу через Муллу-Бердияра, так как писать их нельзя: если они попадут в другие руки — будет очень плохо».

В то же время Ташкентским уездным управлением было получено по почте анонимное заявление на тюркском наречии с приложением противоправительственного воззвания на том же наречии. Автор письма, не указывая своей фамилии, но называя себя «жителем кишлака Теляу», пишет, что прилагаемое противоправительственное воззвание он нашел у своего друга, фамилию которого не называет, и что какой-то мальчик сказал ему, что такие воззвания присылаются из Ташкента мударисом Абду-Вахид Кариевым своим ученикам, которые распространяют воззвания среди населения. В этом приложенном к заявлению воззвании, составленном от имени партии социалистов-революционеров, проводится, главным образом, та мысль, что государь хочет отобрать у сартов и киргизов земли и передать таковые русским переселенцам и что в Государственной думе 3-го созыва не будет депутата от жителей Туркестана потому, что государь не желает, чтобы стало известно о недостатке земли в Туркестане для самих туземцев. Воззвание оканчивается призывом к борьбе с местными чиновниками и говорится, что туземцы всегда будут получать нужную помощь от Центрального комитета социалистов-революционеров.

«Вследствие вышеизложенного 31 января и 1 февраля были обысканы и арестованы: заподозренный уже давно в противоправительственной агитации бывший член 2-ой Государственной Думы мулла имам из мударис (священник и учитель) Абду-Вахид-Кары-Рауф Кариев, а также упомянутый в вышеозначенном письме ученик Кариева Мулла-Бер-дияр Мулла-Абдуль-Алиев и по агентурным указаниям мулла Мухаммед-Рахим-Ходжа Нуретдин Ходжаев и муда-рисы Ахмед-Ходжа-Ишан Абдул-Мумин Ходжаев и Аллаут-дин-Магзум Якуб-Ходжа Ишанов. По обыскам у этих пяти лиц была обнаружена обширная переписка и литература на разных восточных языках.

По сведениям полиции и по агентурным сведениям, полученным с базаров туземного города, аресту Кариева многие туземцы были рады, так как считали его главным смутьяном, увлекшим и других вместе с ним арестованных лиц. В числе предметов, взятых по обыску у Алиева, обоих Ходжаевых и Ишанова, не оказалось ничего преступного. В переписке же, взятой по обыску у Кариева, были обнаружены следующие, написанные на разных восточных наречиях, документы:

I. Инструкция на сартовском наречии, врученная Кариеву как члену Государственной Думы выборщиками города Ташкента. В этой инструкции обращают особое внимание следующие требования:

а) Предоставить компетенции мусульманских казиев (на родные судьи) «без всякого вмешательства и претеснений со стороны Начальства Русского Правительства» разбор вся ких дел, возникающих между мусульманами.

б) Избавить население Туркестанского края от разного рода денежных сборов и уменьшить наполовину Государственный налог.

в) Упразднить в Туркестанском крае Управление Земледелия и Государственных Имуществ.

г) Возвратить во владение туземцев горы, степи и кочевые места и не заселять переселенцами без разрешения ту земцев земли орошаемые и богарные.

д) Устранить вмешательство учреждений Русского Правительства в шариатские духовные и светские дела.

е) Предоставить жителям туземной части гор. Ташкента право выбора лица на должность Полицмейстера этой части и сократить имеющийся в ней штат полиции.

II. Инструкция членам от Мусульман Государственной Думы «От выборщиков Аулие-Атинского и Чимкентского уездов Сыр-Дарьинской области», которая, по объяснению Карцева, была прислана прямо в Государственную Думу и передана ему секретарем мусульманской фракции. В данной инструкции обращают на себя внимание следующие требования:

а) Расширить компетенцию народных судей по совершению сделок на недвижимое имущество.

б) Приостановить отчуждение и заселение русскими земель, принадлежащих с незапамятных времен мусульманам

в) Приостановить прогрессивный рост Государственных податей и упразднить сбор с наследства.

г) Предоставить в полное пользование туземцев все имеющиеся в степях и горах леса и добываемую там соль.

д) Изъять производство экзаменов в туземных школах из ведения русских инспекторов, предоставить таковое исключительно туземным мударисам.

ж) Закрыть русско-туземные школы.

III. Собственноручно написанный Карцевым черновик прошения жителей гор. Ташкента Туркестанскому Генерал-Губернатору. В этом прошении обращают на себя внимание следующие просьбы:

а) Снятие чрезвычайной охраны.

б) Запрещение заселять край переселенцами.

в) Отмена чрезмерных окладов жалованья.

IV Два экземпляра прошения жителей гор. Ташкента Сенатору Графу Палену, написанного Кариевым собственноручно. В этом прошении обращают на себя внимание следующие просьбы:

а) Отменить противоречащие шариату статьи Положения об управлении Туркестанским краем и расширить компетенцию казиев.

б) Возвратить по принадлежности отобранные вакуфы, т е имущество, принадлежащее мечетям, кладбищам и медресам, и освободить их от налогов.

в) Возвратить право выбора населением казиев.

г) Снять чрезвычайную охрану.

д) Запретить переселение в Туркестанский край русских, так как земли не хватает и самим туземцам.

е) Отменить сбор с наследства.

V Прошение сенатору Графу Палену, которое, по объяснению Кариева, ему вручил житель гор. Ташкента Минновар-Кары. В этом прошении обращают на себя внимание просьбы аналогичные с выраженными в пунктах а), б), г) указанного выше в IV пункте прошения и еще просьба о том, чтобы Русское Правительство не вмешивалось в духовные дела туземцев и в вопросы об открытии школ и постройки мечетей, а также о том, чтобы отменить метод обрусения, применяемый в туземных и городских училищах.

VI Прошение бесприютного и несчастного, которое, по объяснению Кариева, было получено им в Петербурге по почте от неизвестного лица. В этом прошении, между прочим, говорится, что туземцы недовольны чрезмерными денежными сборами, установленными Царем, и унижениями, которым они подвергаются со стороны русских вообще и русского начальства в частности.

VIIЗаписка об отличительных чертах конституционного и республиканского образов правления. Кариев объяснил, что не знает, кем написана и как попала к нему эта записка.

VIII. Письмо, в котором автор просит писать ему о всех дефектах и неправильных действиях русского Правительства в Туркестане и выражает упрек Ташкентским мусульманам за то, что они не сообщают ему о своих нуждах. Кариев объяснил, что это письмо писал он вместе с членом Государственной Думы Максудовым и что им самим написана часть этого письма на персидском языке, а Максудовым — на арабском. IX.

IX Письмо без подписи, написанное на имя какого-то корреспондента, представляющее ответ на статью, помещенную в № 54 японской газеты «Чин-Чубан». Автор письма выражает радость и благодарность корреспонденту за написание такой благотворной статьи. Затем приводит стих из Корана, гласящий о том, что если Богу будет угодно сниспослать помощь и спасение, то народ целыми группами перейдет в веру, указанную Им. В конце письма делается намек на раздробление владений мусульман, что объясняется отсутствием у них единства, указывается судьба Марокко, Египта и Формозы и говорится, что Россия привыкла причинять обиды и притеснения. Кариев показал, что видит это письмо в первый раз и не знает, кто его писал.

Из совокупности всех добытых расследованием данных с несомненностью явствует, что Кариев — личность широкого мусульманского образования, попав в обстановку 2-ой Государственной Думы, три четверти личного состава коей принадлежали к оппозиционной и прямо противоправительственным партиям, как уроженец восточных окраин России, подпал под влияние господствовавшего тогда настроения и, в увлечении до того невиданным для него зрелищем резкой публичной критики Правительства, переоценил значение этого переходного момента в жизни русского народного представительства. Также ясно из дела, что на Кариева в особенности повлияло его общение с мусульманской фракцией 2-ой Государственной Думы, тогда лево-кадетской, отражающей на себе и по сейчас недоразумения аграрного характера, от времени до времени беспокоящие население киргизских степей. В то время, когда расследование не выяснило никаких данных к тому, чтобы серьезно заподозрить существование противогосударственных организаций среди туземного населения Туркестана, в мусульманском населении восточной России несомненно существуют такие организации, и из них вышла та прокламация, которую распространял Кариев. Это обстоятельство доказывается языком и стилем воззвания и признано экспертизой.

Ввиду вышеизложенного я полагал бы вполне достаточным, вменив всем привлеченным к настоящему делу лицам в наказание их, предварительное содержание под стражей, выслать Кариева, как центральную фигуру, агитаторски действующую на других, на жительство под гласный надзор полиции на трехгодичный срок в одну из центральных губерний северного района Империи.

Об изложенном, с приложением переписки, имею честь представить на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Переписка в одном томе, и в ней пакет с вещественными доказательствами.

Начальник Отделения».

Опять позволю себе дорисовать второстепенные детали.

Леонид Антонович Квицинский прочитал написанное и (вполне возможно) вздохнул. Долго, нудно. Хотя и неубедительно, но внушает уважение обстоятельностью. Еще он знал, что длинные бумаги начальство не читает, а если и читает, то наискось: а если не наискось, то все равно без возражений по существу.

Длинный, бледный, с узкими бедрами и узкими плечами, но с животиком, который неприятно, наподобие небольшого пушечного ядра или арбуза недомерка, выкатывался под мундир, Квицинский встал и звякнул колокольчиком.

— Экипаж.

Стояла жара, которая в августе наступает по явной несправедливости. Казалось бы, хватит, довольно, будет ужо!

Квицинский вышел на крыльцо. Фаэтон со сверкающими лаком крыльями, тройка серых в яблоках коней, кучер в полной полицейской форме с «селедкой» на боку.

Англичане придумали пробковые шлемы, вся колониальная администрация ходит в них. Какая термоизоляция, как легко и гигиенично, размышлял Леонид Антонович, не торопясь спускаться по тем пяти ступеням, которые отделяли здание Туркестанского охранного отделения от земли Туркестана. Вот кабы нам разрешили ввести для здешних мест пробковые шлемы. Не разрешат. Разве у нас чего-нибудь путного от начальства дождешься? Пробковый шлем — ишь, чего захотел! А жалованье? А почет? В Индии — вице-король, а у нас — главный начальник края. Разница!

По обшлагу белого мундира начальника отделения полз клоп. Обыкновенный клоп. Не лесной, не древесный, а самый обыкновенный клоп, какие часто выползали на страницы секретных и совершенно секретных бумаг Охранного отделения. Если клопов давили, то на листах, принадлежащих вечности, оставался вечный же и след. И запах.

Леонид Антонович щелчком полированного ногтя сбил клопа и сбежал к фаэтону.

Он слышал, будто клопы живут по триста лет Интересно было представить, что увидит этот клоп, если он, Леонид Антонович, не убил его своим щелчком? Россия через триста лет, шестьсот лет царствования Романовых... Формы бесспорно изменятся, но Россия останется, ибо шестьсот лет в истории не срок. Взять хоть ту же Византию, империя огромная, катаклизмов внутри множество — заговоры, перевороты, интриги, террор даже, если современным языком говорить, однако

Византия простояла на стыке двух миров свои восемь веков, простояла, выстояла и стояла бы поныне, кабы Запад не предал ее Востоку.

Леонид Антонович весьма осторожно относился к Столыпину. Реформы — хорошо, но нельзя спешить. Прежде твердой рукой надо обуздать, утихомирить смутьянов и... Тут даже в мыслях Квицинский останавливался, ибо слово «жид» всегда внутренне сотрясало его. Он был готов поручиться, что в его весьма приличном шляхетском роду не было ни грана семитской крови, юдофобами были и отец и дед, но в корпусе, в Нижегородском графа Аракчеева кадетском корпусе кличка у Квицинекого была «жид»

Фаэтон на дутых шинах вез Леонида Антоновича по жарким и пыльным улицам Ташкента. Тополя тоже были пыльные, листва серая, трава у арыков серая, стекла витрин мутные, афиши на круглых тумбах блеклые, выгоревшиека какими-то пятнами. На одной из афиш значилось: «Всемирно известный дрессировщик Стенфорд и его доги» Щеголеватый молодой брюнет в белом чесучовом костюме и пробковом шлеме стоял возле здания Русско-Азиатского банка Армянин или еврей? Жилистый человек в пенсне и с кадыком, видным даже за сто шагов, хотел перебежать дорогу, замер на тротуаре, потом узнал Квицинского и сразу отвернулся. Это был учитель гимназии, высланный в Туркестан в девятьсот четвертом и теперь уже два года состоящий секретным агентом. Почему он отвернулся? Леонид Антонович любил ста вить перед собой вопросы, особенно из сферы психологии

Жара душила, и начальник брезгливо вспомнил, что в городской тюрьме, как показывали жалобы и прошения, условия антисанитарные. Были случаи кишечных заболеваний и даже тиф. Сам он дальше канцелярии не заглядывал, не его ведомство, а эти пять мулл, естественно, писать прошения зареклись... Впрочем, что им надо: воды для омовения, коврик для молитвы?.

По улице шли двое мальчишек с пустыми молочными ведрами на коромыслах. Узбечата были веселые, глаза наглые. Распродали молоко и идут себе. Квицинского по утрам часто будили их ни на что не похожие крики: «Кисля-прес-ный малякё!» И стоило Леониду Антоновичу вспомнить это, как из улочки справа, из-под карагача, раздался истошный и нескончаемый вопль:

— Кра-а-а-а-у-у-у-сын!

Азиат торговал керосином. Боже, до чего дикий народ!

Из тюрьмы Леониду Антоновичу предстояло ехать в резиденцию генерал-губернатора, предстоял обед в честь прибывшего в Ташкент барона Фредерикса, особы весьма приближенной к государю.

России нужна крепкая, железная рука... Ежовые рукавицы ей нужны... Интересно, сколько на самом деле живет клоп?

Квицинекий просил моему двоюродному деду три года ссылки без суда. Поскромничал.

«Канцелярия Туркестанского генерал-губернатора

отделение 1-ое

Секретно

Начальнику Туркестанского Охранного отделения

Вследствие представления и на основании п. I ст. 15 Туркестанского Положения Главный Начальник края разрешает выслать туземца Абду-Вахид Кары Абду-Рауф Кариева в Тульскую губернию сроком на пять лет.

Об этом Канцелярия уведомляет для сведения, присовокупляя, что о высылке Кариева сообщено Военному губернатору Сыр-Дарьинской области. Зав. Канцелярией

полковник подпись неразборчива».

Это в августе 1909 года. День на листе срезан, а номер есть — 1367.

Год 22-й. Реконструкция по воспоминаниям

Автомобиль слишком жестко прыгал на булыжнике, и шофер-механик правительственного гаража, Август Петрович Репман, недовольно глянул на своего помощника. Перекачал шины, перестарался парень.

Должность помощника шофера ввели недавно, и не от хорошей жизни. Автомобили в гараже ЦК были старые, бензин низкого качества. Запальные свечи забивались... Куда справиться одному, если каждая деталь и каждый узел грозил отказать. Помощника Август Петрович искал не слишком долго, взял к себе пасынка Валентина. Валентин смышлен, деловит и аккуратен во всем. Только вот старательность его иногда была чрезмерной. Разве можно так перекачивать баллоны, да еще когда под колесами булыжник?

Август Петрович Репман редко возил Икрамова — нового секретаря ЦК. Его избрали недавно, заведовал он до этого учраспредом, занимался национальными кадрами, а потом, когда обсуждались задачи нэпа в Туркестане, выступил неожиданно обстоятельно, как экономист, и, хотя в Туркестане многие не понимали этой новой идеи В. И. Ленина, Икрамов на ленинскую точку зрения встал твердо.

Август Петрович Репман на пленуме не был, но на VI съезде Компартии Туркестана присутствовал как старый коммунист и речь Икрамова слушал с удовольствием.

Автомобиль трясло сильно, булыжник был круглый, ядреный, из мостовой выпирал неравномерно.

— Перекачал,— сказал Репман помощнику.

— Понял,— сказал Валентин, мотнув стриженой головой.

«Тальбот» — фирма уважаемая, Репман в довоенное время возил на такой же машине самого морского министра.. Кто знает, сколько бы он возил министра, может, и в императорский гараж попал бы, если бы в самый канун революции, в декабре шестнадцатого, не обнаружили у него в машине под сиденьем, предназначенным для министра, целой пачки большевистских брошюрок, которые Август Петрович захватил с собой из Гельсингфорса.

Возле мечети Шейхантаур Икрамов сказал:

— Здесь, пожалуйста, влево, Август Петрович. Проедем? Проехать-то проедем, про себя сказал Репман, а вот как выезжать будем? Пятиться придется.

Так и получилось. Икрамов вышел возле обычного азиатского дома и вскоре вернулся, сопровождая старика в огромной белой чалме.

Старик усмехался в седую бороду, Икрамов тоже улыбался, но одними глазами.

— Валентин,— сказал Август Петрович.

Помощник выскочил с заводной ручкой, на мгновение скрылся за капотом и радиатором, а потом стал крутить ручку так неистово, что Август Петрович тоже улыбнулся. Круглая голова Валентина то появлялась, то исчезала, пока мотор не заработал.

— В Наркомюст, Август Петрович, пожалуйста.

Детишки высыпали со всех дворов, переулков, тупичков, но к машине подходить боялись, жались возле дувалов, глазели жадно, следили за каждым движением шофера.

Август Петрович включил заднюю скорость и нажал резиновую грушу клаксона: па-а-ак!

Пятились они долго, и седоки молчали. Когда выехали на нормальную дорогу, Икрамов что-то по-своему сказал мулле. Август Петрович языка не знал, но понял, что секретарь ЦК называет муллу учителем. А вообще-то прислушиваться он не хотел.

Мы от всей души благодарим, домла, за помощь. Конечно, Советская власть на данном этапе должна бороться с религией, но ведь это временно, пока религия воюет с нами, стреляет в нас из винтовок и режет нас ножами.

Я много раз говорил, Акмальджан, что религиозный человек не должен выступать против власти. Как все несчастья в мире, любая власть послана нам всевышним. Власть — как холера, как чума Все равно — какая власть. Ваша, царская, эмирская или ханская. При хане в Хиве для ислама было еще хуже. И при эмире Алимхане только мракобесы и невежды считались людьми религиозными. Религия должна быть

отдельно от власти Бог — в душе, царь — в мире Секретарь ЦК слушал муллу серьезно. Не перебивал.

— Я всегда, продолжал тот, — не считал себя вправе поправлять правительство, я только просил... Видишь, что получалось.

— Видите ли, домла, говорил секретарь. — Надо, чтобы вы стали членом коллегии Наркомюста, чтобы переход от суда шариатского к суду народному не воспринимался в качестве насилия.

У киргизов в степях еще при царе народных судей ввели Что толку'

— Это была фикция, обман. Мы же хотим настоящий, справедливый суд. Разве шариатские судьи судили по справедливости? Вы же знаете, домла...

«Тальбот» подкатил к белому зданию с колоннами и часовыми у входа.

— Вас ждать, товарищ Икрамов? — спросил шофер.

— Меня не надо, я на трамвае доеду, а вот старика этого надо потом обязательно доставить домой. Необходимо оказать ему уважение, которое будет заметно всем. Отвезите его, если это не очень трудно, Август Петрович.

Наркомюст республики занимал три комнаты в здании, где помещалось еще с десяток наркоматов и комитетов, но все учреждения работали сейчас во дворе под навесами, потому что в доме морили клопов и начинался ремонт. Сквозь задраенные окна из дома во двор несло серой, которую жгли внутри на противнях.

Члены коллегии Наркомюста все сплошь были людьми молодыми, старшему из них было двадцать восемь. Они встали, увидев гостей. Но не из-за секретаря ЦК встали, а из-за старика в чалме. И поздоровались с ним с первым.

Икрамов сел за письменный стол сбоку, колени остро уперлись в дерево, и он встал.

Товарищи! Мулла Абдувахид Кариев, бывший член Государственной думы. При царе преследовался за связь с левыми партиями, был закован в кандалы, некоторое время сидел в этом самом доме, потом был сослан и вернулся под надзор полиции. В годы революции мы опирались на его порядочность в борьбе против улемистов. Домла дал мне предварительное согласие войти в коллегию Наркомюста.

— Акмаль,— перебил его мулла.

— Я сказал предварительное, я не сказал окончательное согласие. Думаю, что товарищи постараются вас уговорить, домла. Кто им поможет разобраться? Кто, если не вы, домла?

Продолжение этого эпизода изложу в документах. Сын Абдувахида Кариева пишет:

«В 1925 году в Мекке проходил Всемирный мусульманский конгресс, где решался вопрос об избрании халифа. На этот конгресс Советское правительство послало в качестве представителя от Туркестана Абдувахида-коры. Я провожал его из Москвы. Советское правительство поручило ему не голосовать за халифа. Он выполнил это поручение.

Абдувахид-коры был очень религиозным человеком, в то же время стремился к светским наукам, придерживался прогрессивных взглядов. После Февральской революции он отдал меня в Николаевскую гимназию, а потом отправил моих старших и младших братьев в советскую школу. Он боролся против организаций реакционного духовенства «Улемо» и «Фукахо», опираясь на «Шурой исламия» и джадидов.

В 1937 году Абдувахид-коры Кариев был репрессирован и через 3—4 месяца умер в Ташкентской тюрьме в возрасте 82-х лет».

Пасынок Августа Петровича Репмана — Валентин Августович Яксон. Вы, читатель, о нем уже слышали. Он пишет, что отчим умер во время блокады в Ленинграде от голода 15 января 1943 года, там же в марте сорок третьего скончалась его мать. Сам Валентин Августович получил высшее инженерное образование, работал на стройках Камчатки, в Баку, в Челябинске, Волхове, Березниках, выходя на пенсию, выбрал для жительства Доброполье.

«Мы с женой всегда будем рады Вашему приезду к нам. У нас свой автомобиль «ВАЗ-2103», буду весьма рад познакомиться с Вами, вспомнить, как я когда-то возил Вашего отца и воскресить светлую память о нем.

Как ехать к нам?

С Курского вокзала примерно в 18 часов, фирменный поезд «Донбасс» до Донецка, прибывает он на следующий день утром. Ввиду того, что я зимой на автомобиле не катаюсь, нужно Вам троллейбусом с вокзала доехать до автовокзала «Северный». Автобус отвезет Вас в город Доброполье. С автовокзала две остановки троллейбусом, шахты РКК, остановка «Баня», и наш девятиэтажный дом. Весной и летом встречу Вас на автомобиле в Донецке. Просьба предварительно позвонить по телефону...»

Дастархан

Февральский день в городе Кашине был поразительно красив. Это не ностальгическое восприятие последнего дня на свободе, это факт.

Мороз и яркое в конце зимы солнце. Высокий берег Кашинки, церковь Фрола и Лавра на горе и знаменитый собор Анны Кашинской под голубым небом. А плакучие

ивы в инее таком сильном, что каждая опущенная к реке ветвь как хрустальная и в руку толщиной. Нет, не могу я описать это красивое, ясное, очень русское утро, не знаю, как в тысячный раз писать о том, что снег слепяще голубой и белый, что он скрипит под моими сапогами — вытяжками, что мне тепло в моем полубушлате с воротником, добытым в лагере в последнюю неделю перед «свободкой».

Я был совершенно счастлив в то утро и, чтобы еще раз убедить читателя, что то утро не задним числом так ярко окрашено, свидетельствую: в моей жизни было много дней и ночей, когда я бывал совершенно счастливым человеком. Таких дней было много, а забирали меня только дважды. Это было во второй раз, в 1951 году.

Так вот я был счастлив. Я бежал через речку в свою медицинскую школу, где ребят вообще-то было мало, а я был, вернее, чувствовал себя едва ли не самым заметным из них

Накануне художественная самодеятельность нашей школы по просьбе публики повторяла в городском Доме культуры концерт из произведений Пушкина. Я был художественным руководителем этой самодеятельности, а еще я вел концерт, читал стихи и во втором отделении исполнял роль старого цыгана в «Цыганах», которые сам поставил

Хорошо помню, как, сбегая с берега на лед и вновь легко поднимаясь на крутой берег к школе, я думал о том, что на третьем пушкинском концерте надо будет показать сцену в корчме из «Бориса Годунова».

Привлекало меня в этой сцене поразительное, только тогда открывшееся мне качество/ Тогда я, видимо, формулировал это иначе, но смысл, как сказали бы теперь, в том, что все персонажи этой короткой сцены пребывают не в своих социальных ролях. Их внешнее «легальное» положение вовсе не соответствует внутренней цели и даже противоречит ей. Может быть, это в жизни вообще так? Или только в России? У Шекспира? Нет, у Шекспира иначе. Сцена в корчме это Россия вчера и завтра.

Я повторял про себя любимые реплики этой сцены.

Да, вчера был успех. Сняв грим, я спустился в буфет, взял две кружки пива, протиснулся с ними в угол, где стояли пустые ящики и бочки. За мной следом со своими двумя кружками пролез к бочке низкорослый и мрачный младший лейтенант. Лейтенант кивнул мне, как знакомому, и я до сих пор не могу сказать, знал ли он о том, что завтра нам встречаться. (А вокруг люди обсуждали наш концерт. Господи! Ведь никто теперь не поверит, что так было. Какой клуб? Какая самодеятельность? Обсуждали? Теперь никаких таких дел. Теперь телевизор.)

А в нашей фельдшерско-акушерской школе вчерашний концерт обсуждался и в классах, и в учительской. И я не удивился, когда меня с урока химии попросили к телефону. Ученика с урока к телефону? Но ведь я не просто ученик, я в некотором роде знаменитость.

В учительской меня ждали двое: один из них — тот, с которым мы на одну бочку кружки ставили, другой — рослый, бравый, как из ансамбля красноармейской песни и пляски.

— Вы извините, что мы вас оторвали от урока, но надо бы подъехать к дому, где вы живете. Через час будем обратно.

— Портфель брать?

— Обязательно.

Я все понял. Когда говорю это слово, то именно «все» и подразумеваю.

Я знал, но еще час назад не хотел думать о том, что постепенно подбирают всех, кого выпустили из лагерей по окончании срока. Поживет человек год-два на свободе где-нибудь вдалеке от столиц, а его опять возьмут, а что сделают — неизвестно. Сгинет, и все. Уже исчезали так кое-кто. Мой солагерник Константин Павлович Ротов, например. Но Ротов — знаменитый карикатурист, а после лагеря слишком близко к Москве потянулся. А меня-то, меня-то за что было брать? Сын за отца не отвечает.

Если это повторять очень часто, то можно себя убедить в чем-то. Один раз ведь отсидел за отца, неужто второй раз возьмут? Ведь сын за отца не отвечает. Все-таки.

Нет, я сразу понял, что хотя сын за отца не отвечает, но меня сейчас взяли, что это уже навсегда, что второй раз я не переживу ни следствия, ни тюряги, ни каторги. Второй раз не пережить. Навсегда берут меня парни. Никаких к ним претензий. Ни тогда, ни сейчас. Перечитываю написанное, вспоминаю, и вдруг приходит мысль: а может, грустный младший лейтенант с каким-то крамольным умыслом ко мне с пивом протиснулся. Может, хотел предупредить, остеречь, намекнуть, чтобы я исчез куда-то. И не поручусь я, что тот младший лейтенант ничего не говорил мне. Только разве понял бы я в эйфории, в детском своем упоении от сценического успеха. А фамилии запомнились. Маленький — Битилев, а большой — Майоров.

За окном учительской я увидел голубые санки, в которые был запряжен лоснящийся под солнцем вороной жеребец. Я пошел в раздевалку, надел свой полубушлат, вывезенный из лагеря, поднялся на второй этаж за портфелем, и в этот момент раздался звонок с урока.

Из всех дверей выскочили девчата и ребята — участники моей самодеятельности.

— Ты куда?

— Надолго?

— Чего среди уроков?

И тут я сделал нечто, чего от себя не ожидал.

— Репетиция, ребята, будет обязательно. Ровно в пять! Чтобы все были! Весь состав драмкружка — «Цыганы», «Годунов», и пусть хор тоже соберется. Если я задержусь, то ждите. Час, два. Но я обязательно приду. Ждите!

«Зачем?» — спросите вы.

А затем, чтобы у моих артистов было время всем вместе обсудить мой арест, если им скажут прямо, или мое исчезновение, значение которого они поймут позже. Это будут мои поминки! Как хорошо, что я догадался их устроить! Небезвестно уйду с этого света.

Мы сели в голубые санки. Сияло небо, снег скрипел под полозьями, и летел снежный пух из-под копыт вороного. А плакучие ивы над рекой были как в опере. А мы сидели в санках — трое молодых людей, и один из нас вдруг запел песню про тачанку-ростовчанку, все четыре колеса. Это пел я.

В тот день ко мне привязывались разные песни и песенки. Во время обыска в доме у бабы Дуни я стоял у окна и пел про городской сад, где играет духовой оркестр; позже, когда сидел в предварилке,— про солдат, которые идут стороной незнакомой. Не знаю, почему я пел. Почему мне это было надо? Парадоксальная реакция?

А не парадокс, что баба Дуня потом рассказывала, что квартиранта ее посадили, чтобы не распространял рак. «Он уколы делал вроде для аборта, а на самом деле от этого рак». («Уколы для аборта» я тоже никогда не делал, и бабка это знала.)

Ни в чем не виню бабу Дуню, хорошая была старуха, добрая, справедливая, правда, дикая совсем.

Летом того же года я ехал этапом из Калинина через московскую, рузаевскую, куйбышевскую и ташкентскую пересылки в Джамбульскую область, где, как мне объяснили авторитетно, я буду пребывать до конца своих дней, если кто-то не решит загнать меня еще дальше. «Ведь, по идее, вы не должны быть так близко от Узбекистана».

...Ташкентская пересылка пятьдесят первого года, наглухо закрытые бараки, где, видимо, битком набито. Зной, бьющий по крышам этих бараков, пустые аллеи, клумбы вровень с крышами бараков, розы и хризантемы размером в чайник, гладиолусы, ирисы, астры, опять розы, розы, розы.

Нас, транзитников, в барак не загнали. Мы сидели под огромным карагачем, в тени. Кто-то сказал, что часам к семи поведут на вокзал к поезду Джелалабад — Фрунзе, там идет вагонзак, столыпинский, как его называли очень долго после того, как самого Столыпина не только убили, но и забыли.

Я почти не помню товарищей по этому этапу. Они менялись часто. Распихивали нас по разным камерам, по разным купе (не знаю, как назвать эти камеры в вагоне).

Врезалось только, что в том этапе люди часто теряли сознание. Лето было жаркое. Так, по дороге с Ташкентского вокзала потерял сознание здоровенный широкоплечий крымский татарин, получивший четвертак за побег с места поселения.

...Мы сидели под деревом в тени, еды нам не давали, чтобы не канителиться. А нам и не хотелось есть, очень уж противно воняло с кухни.

Мы сидели между белыми бараками у белой какой-то стены, и цветов было столько, сколько я не видел потом ни в ботаническом саду, ни на виллах Средиземного моря, ни в правительственных резиденциях. Цветов было так много, что меня все не оставляет мысль о тогдашнем начальнике пересылки. Кто он был? Сумасшедший? А может, он торговал цветами? Или это была показуха?

Часов, наверное, в шесть, когда жара еще полыхала, нас опять набили в «воронок», раскаленный снаружи и вонючий внутри. Мы долго ехали по каким-то ухабам, долго стояли где-то, опять тряслись, когда наконец дверь открылась, и мы стали вываливаться на землю. Земля запомнилась прохладной и влажной.

Как это она могла быть в Ташкенте в конце летнего дня — прохладной и влажной? Наверно, ее полили к вечеру из шланга.

Быстро, по-деловому нас построили, пересчитали и ввели во дворик, который одной калиткой выходил на привокзальную площадь, а другой — на левую часть перрона в той его части, где останавливается паровоз.

Рядами нас поставили на колени. В этом не было специального унижения достоинства. О человеческом достоинстве вообще никто и думать не думал. Просто есть разные теории предупреждения побегов, по одной из этих теорий считается, что в положении «на коленях» ноги сильно затекают, а на затекших ногах стартовый рывок совершить труднее.

Мы стояли на коленях и наслаждались вечерней прохладой. Я оказался в первом ряду перед проемом, выходившим на перрон. Калитку кто-то сорвал, она валялась в стороне, поэтому передо мной открывался самый заманчивый театр, театр воли, театр загадочных странствий — перрон большого вокзала.

Ходили какие-то люди, кто-то по делу, кто-то прогуливался в ожидании поезда. Кто-то из гулявших видел людей, стоявших на коленях в хитром дворике, одни вглядывались в нас краем глаза, замедляли шаг, другие испуганно отворачивались, спешили прочь. Не знаю, как бы поступил я, если б смотрел во дворик с перрона. Что было бы сильнее: любопытство, сочувствие или страх, инстинктивное желание отойти от пропасти?

А я стоял на коленях в первом ряду и далеко слева увидел в тупике салон-вагон, которым примерно дважды в год мы с отцом ездили в Москву. Ни в какое другое время я не оказывался в такой близи от отца. Он не уходил на работу, не уезжал в командировку... Пять суток в Москву и пять суток из Москвы он был рядом.

Он читал какие-то книги, просматривал какие-то бумаги, что-то писал. Иногда играл в преферанс или в шахматы. В вагоне нашем пустых купе не было, попутчиков отец набирал с удовольствием. Это были интересные люди из Ташкента и областей. Любил я и проводников этого вагона, один из них был поваром. В вагоне кормили вкуснее, чем дома, все пять дней жарили котлеты с картошкой. Дома мяса нам давали мало.

Салон-вагон цепляли в хвост поезда, и задняя его стена с большими зеркального стекла окнами, с креслами у этих окон была моим самым любимым местом.

Летели из-под вагона рельсы, мелькали шпалы и черная мазутная галька, а по краям насыпи за полосой отчуждения неслась и мелькала страна тридцатых годов, то голодная, разутая, раздетая, то едва утолившая голод и надевшая ватник. Станционный люд и пристанционная жизнь, наверное, один из самых верных показателей жизни всей страны.

Мне было, видимо, лет шесть, когда наш салон-вагон зимой шел по казахской земле.

Кажется, это была станция Казалинск. Вагон остановился против белого станционного здания, снег тонкой рваной простыней покрывал пути и степь вокруг, а возле поезда с воздетыми в мольбе руками стояли скелеты, живые скелеты с маленькими детскими скелетиками на руках.

Не хочу придумывать или додумывать, что сказал мой отец или хоть какое у него было лицо. Не помню отца в те минуты, вообще ничего не помню, кроме белой простыни несвежего снега и людей с черными лицами и черными руками, воздетыми не в протесте, а в мольбе о куске хлеба.

А в вагоне нашем, наверное, жарили котлеты с картошкой, наверное, на бараньем сале.

...Да, без сомнения я видел из калитки именно наш салон-вагон. Теперь он, судя по внешнему виду, был спущен в пользование другой номенклатуры, может быть, он принадлежал начальнику отделения дороги, политотделу, профсоюзу, комсомолу, но это был тот самый салон-вагон.

Между тем поезд, к которому нас привезли, все еще не подходил, ног под собой я вовсе не чувствовал, а глядел во все глаза на вольную жизнь и думал о сюжете собственной жизни. Без сожаления к себе, но с восхищением перед всемогуществом судьбы, той судьбы, которую тогда, я это точно помню, считал только сюжетом.

Если бы люди, гуляющие сейчас по перрону Ташкентского вокзала, знали, если б им рассказать, что худой арестант в ковбойке и очках, стоящий здесь в первом ряду, это сын человека, именем которого назывались в республике десятки колхозов, улиц, многие предприятия и школы, главный стадион республики и Дворец пионеров... Даже город был Акмальабад... Если бы они знали, что этот доходяга — очкарик в ковбойке, стоящий на коленях в ожидании команды, сын того человека и это его единственная

вина, они бы кое-что поняли в жизни. «Какой сюжет! — с восторгом думал я.— Какой сюжет!»

Нет, я и не мечтал быть писателем,— я читал собственную жизнь как читатель со стороны.

Я ехал из тюрьмы в ссылку. Не на каторгу, не в лагерь, не в другую тюрьму. Я ехал в ссылку. Какое счастье — не в лагерь, а в ссылку!

Я читал свою жизнь со стороны и, может быть, думал: как ему повезло! Какой сюжет!

Мне вспомнилось все это особенно ярко и с тем же невольным восклицанием перед сложностью жизни, когда я ноябрьской ночью 1978 года прилетел в Ташкент на юбилей отца.

У трапа самолета стояла машина, какой-то незнакомый человек бросился ко мне.

— Вы товарищ Икрамов? Камил Акмалевич?

Я и не думал, что меня должны встречать, да еще у трапа.

Встречавший старался не подать виду, но явно огорчился, что вещи мои в общем багаже, а не в специальном, что их придется ждать, потом он извинился, что везет меня не в ту гостиницу, куда бы хотел. Там сейчас разместился руководитель Эфиопии товарищ Менгисту Хайле Мариам и сопровождающие его лица.

Что-то мешает мне хоть на пять минут подъехать к ташкентской пересылке, хоть снаружи поглядеть. Не посмотрел я и на тот проходной дворик, цел ли, починили ли калитку. Что-то мешает, боюсь, что ли?

Юбилей отца проходил в конференц-зале филиала музея В. И. Ленина. Люди стояли в проходах. В фойе развернули фотовыставку. Очень мало фотографий отца сохранилось... может, и хранятся где-то до поры. Помню, например, такую: отец надевает на Сталина полосатый халат — традиционный подарок узбеков. Это съезд колхозников-ударников хлопкосеющих республик.

И вот опять я на родине, опять езжу по колхозам и совхозам, чтобы понять и попонятней написать для всех о нынешнем дне республики.

И опять, как годы и годы назад, идут по дорогам автобусы с зажженными среди бела дня фарами. Идут автобусы, поют в автобусах горожане. Десятки, сотни, тысячи автобусов, сотни тысяч студентов, школьников, рабочих и служащих...

Я писал статьи для газеты о том, что на нынешнем уровне техники ручной сбор хлопка долее терпеть нельзя. Нашел сравнение: попробуйте хлеб собирать руками. Не серпом, а именно руками, срывая колоски по одному. Студенты собирают по

шестьдесят килограммов в день, школьники — по тридцать. Это в начале уборки, когда хлопка много, когда он сам дается в руки. А в декабре? В декабре с темна до темна, и пять килограммов считается нормальным сбором. Пять килограммов хлопка четвертого сорта по двести рублей за тонну. Это сколько же в день он зарабатывает? Рубль? А сколько стоит совхозу или колхозу пропитание этого горожанина за тот же день? Сколько государство платит ему стипендии или среднемесячного оклада, сколько стоит простой оборудования и какой ущерб будет нанесен государству этими нынешними недоучившимися студентами, когда они станут специалистами?

Экономика колхозов и совхозов, бригадный подряд и безнарядные звенья... Все это я записывал в блокнот, наговаривал на диктофон, силился не забыть.

Зачем я все это делаю? Разве нет у меня, москвича, других забот, других тем? Я кляну себя за потерянное время, и единственное объяснение всему этому одно: я — сын Акмаля Икрамова, а он отдал жизнь этой земле, этим людям. Многое из того, о чем он мечтал, сбылось, но другое получилось не совсем так, а кое-что, возможно, вовсе наоборот. Что ж, все на свете поправимо, все, кроме смерти.

Несколько дней добросовестной журналистской работы и — дастархан перед отъездом. Так положено. Угощение будет обильное, но я не пью, научился решительно уклоняться даже при самых трогательных тостах. Но отказаться от застолья невозможно.

Меня ведут к дастархану, и вдруг я вижу, что людей становится все больше и больше. Пока режут барашка и разводят огонь, под чинарой расставлены стулья для избранных. Меня ведут, сажают в середину, сами хозяева придвигаются ближе. Пауза. Она затягивается.

— Рассказывайте, пожалуйста.

— Про что? — не сразу понимаю я.

— Про вашего отца. Как все это было?

Рассказываю. И вижу, что многое из моего рассказа этим людям известно давно, что они просто жаждали подтверждения того, что знали. Вижу, что время не стирает интереса, а разжигает его. И еще я вижу, что истина имеет абсолютное значение, иначе она вообще никакого значения не имеет.

— Какие благополучные на вид люди слушают меня! Казалось бы, зачем им это? Зачем? Разве к ним это имеет отношение?

Оказывается, что имеет.

И как неуклонно влекут они меня своими расспросами к роковым дням тридцать седьмого! Как важно людям еще раз услышать, как это было. А может, как это бывает? А может — как сделать так, чтобы этого никогда уже больше не было? Все больше убеждаюсь, что в основе жгучего, неугасимого интереса к прошлому лежит

подсознательный или даже почти бессознательный страх повторения ужасов тех лет с нами или нашими детьми, попытка найти, нащупать гарантии, если не гарантии, то хоть какие-нибудь надежды избежать повторения. Вот ведь жили же люди честно, были честными коммунистами, а потом вдруг все рухнуло для них и для их близких.

...Мы сидим под чинарой на венских стульях. Где-то за нашими спинами уже сготовилась еда, а хозяева слушают и слушают мой рассказ об отце, о матери, о нашем доме, о том как нависала над нами туча, как ударил гром.

Вдруг я перебиваю себя, потому что не первый раз говорю об этом и давно говорю спокойно. Вдруг я перебиваю себя и спрашиваю о чем-то, что относится к моей будущей статье о сборе хлопка.

— Да, кстати, я хотел спросить, есть ли хозяйства, которые отказываются от последней коробочки ради подъема зяби и промывки полей?

Мне отвечают, но смотрят на меня с удивлением: «Как он может?»

И правда! Как я могу?!

Я уже написал книгу в серии «Пламенные революционеры». Называется она «Все возможное счастье», повесть об Амангельды Иманове. В этой книге я хотел ответить на один из важнейших вопросов: почему в данном регионе победила Великая Октябрьская Социалистическая революция, почему она не могла не победить? Я люблю эту книгу, рад, что она благосклонно встречена критикой и читателями, что вышла вторым изданием, но повесть об Амангельды в значительной степени лишила меня возможности в данной книге возвращаться к проблемам кризиса царской власти, к фактам тупости и продажности колониальной администрации. Многое уже сказано, повторение и уточнение возможны, но в них мало необходимости. Во всяком случае, нет необходимости исследовать это художественно. Вот ведь известно, что из общей суммы государственных расходов в Туркестане 65% шло военно-полицейскому ведомству, 13 817,9 тысяч рублей из 21 322 тысяч[1]. Чего стоило охрана! На это только часть суммы, ибо на низших ступенях охранительная деятельность царизма финансировалась не бюджетом, а самими охраняемыми. Туземное население само содержало своих старшин, полицейских и уездных начальников.

Впрочем, и об этом говорилось в моей предыдущей книге. А вот о том, чем жизнь Акмаля Икрамова в корне отличается от судеб многих героев книг серии «Пламенные революционеры», я все еще ничего не сказал. До сих пор.

О героях этой серии иногда говорилось: «Его жизнь трагически оборвалась в таком-то году...» Год этот чаще всего — тридцать седьмой, тридцать восьмой, сороковой... Обстоятельства гибели всем понятны, а подробности в какой-то мере повторяются.

Акмаль Икрамов выделяется из этой массы героев тем, что принадлежит к числу самых трагических жертв. Он не только погиб тогда, но погибал публично, служил показательной мишенью у всех на виду. Он «проходил» по знаменитому открытому процессу «право-троцкистского блока» в марте 1938 года.

1 Кастельская З. Д. Основные предпосылки восстания 1916 года в Узбекистане. Москва, 1972.

Стенографические отчеты выдержками печатались в газетах, журналисты давали свои репортажи, а позже вышли судебный отчет и стенограмма процесса.

Теперь, в восьмидесятых, оказывается, что эти книги сохранились во многих домах, их читают и перечитывают, потому что многое там выглядит абсолютно загадочным. Так и мне казалось когда-то, когда я впервые решил выяснить: что же это было, как могло быть?

Я возвращался в Москву в конце апреля 1955 года. За двенадцать лет у меня не осталось ни родственников, ни близких друзей, и в поезде я думал о том, куда бы деть мой фанерный самодельный чемодан, который я покрасил черной липкой краской, куда деть нелепое зимнее пальто, когда я сойду на Казанском вокзале.

Пальто, допустим, можно было бы сдать на какую-нибудь ресторанную вешалку и уйти с номерком в город, а чемодан?.. Я боялся, что липкий чемодан без замка не примут в камеру хранения.

Сосед по общему вагону, рентгенолог Саша, возвращался в Москву после трех лет работы по распределению и считал, что наши судьбы схожи. Его заставили три года жить не дома, и меня тоже. Саша этот все время занимал меня разговорами о кукурузе, которая тогда только начала заполнять газетные страницы.

— Кукуруза! — восклицал он мне шепотом в ухо.— Кукуруза! Какая может быть кукуруза!

С непонятной мне страстностью этот вполне городской человек подсчитывал трудовые затраты, которые требует возделывание кукурузы на зерно и на силос, сравнивал кукурузу с ячменем и с овсом, вздыхал и охал.

— Не на кого опереться,— шепотом говорил он мне.— Понимаешь, не на кого опереться.

Я не понимал ни в кукурузе, ни в овсе, ибо в отличие от Саши не прочел какого-то очередного подвала в центральной газете. Я не понимал: почему Сашу четверо суток волнует этот вопрос, на кого и в чем ему нужно опираться? Я думал о чемодане, думал о том, удобно ли просить Сашу оставить чемодан у него, и соглашался с ним насчет кукурузы и трудовых затрат.

У противоположного окна ехала блондинка, инженер-химик, возвращавшаяся из Чимкента в Мончегорск. Я заигрывал с ней, но блондинка не принимала моих ухаживаний.

Видимо, за время командировки ей надоели случайные ухаживатели. А может быть, я был слишком рассеян и напуган предстоящим приездом в Москву, чтобы быть хорошим кавалером. Мне кажется, что весь я тогда вибрировал, и голос мой дрожал и ломался.

Тринадцать тюрем и лагерей, пересылки, этапы, вагонзаки-столыпинки и телячьи вагоны, конвой с собаками и деревянными молотками — все это не вспоминалось. Нет, я ни о чем не мог думать, а если бы тому, что происходило в моей голове и в моей душе, можно было найти словесное выражение, то оно умещалось в один вопрос: «Неужели?»

Сын врага народа Акмаля Икрамова возвращается в Москву. Сын реабилитирован, хотя про реабилитацию отца и речи не шло. Был тогда анекдот, который, боюсь, кроме меня, никто уже и не помнит.

«Посадили репку. За репку — дедку, за дедку — бабку, за бабку — дочку, за дочку — внучку, за внучку — Жучку, за Жучку — кошку, за кошку — мышку... Так вот мышку на днях реабилитировали».

Я был этой самой мышкой.

Поезд пришел в Москву утром 28 апреля. Чемодан и пальто я оставил у Саши. Я выпил с ним и его женой сладкого вина, получил приглашение (очень важное, очень существенное) переночевать у них, если не найду где, и пошел гулять.

Я шел по Москве, не боясь, что меня остановит милиционер... Я даже хотел, чтобы меня остановил милиционер, и потому всякий раз, когда я его видел, у меня немного замирало сердце.

Это только говорится так: пошел гулять. Я не знал, кто пустит меня к себе, а кто не пустит. Не было уже деда по матери, не было тетки — его падчерицы. Оставалась сестра деда и двое ее Взрослых и благополучных детей. Я пришел к ним. Ох, какая поднялась суета, как меня кормили обедом, какой был чай, с каким домашним печеньем! А когда я вышел от них на улицу, то вдруг понял, что они не спросили меня, где я буду жить, где переночую? Не спросили, и все.

Я пошел к семье своего лагерного друга Евгения Александровича Гнедина, бывшего до ареста заведующим отделом печати Наркомата иностранных дел, ближайшим сотрудником М. М. Литвинова. Безуспешно звонил я в их индивидуальный звонок, потом позвонил в общий, и соседка по коммуналке объяснила, что родные Евгения Александровича уехали к нему в ссылку.

Но ничто не казалось мне сложным, ничто не огорчало, даже не заботило.

В апреле я приехал, в мае мне удалось временно прописаться у моей бывшей няни, с первого июня я поступил на работу, а в один из летних вечеров пошел в Историческую библиотеку, чтобы выяснить, кто же все-таки был мой отец Акмаль Икрамов, за что его расстреляли, в чем он признавался на знаменитом процессе в марте 1938 года.

Я никогда не верил, что он шпион, диверсант, убийца, вредитель и буржуазный националист. Но, видимо, что-то было? Иначе зачем же поднимать весь этот сыр-бор? Что-то было, что-то было. Что?

Не шпион, не диверсант, не убийца, не буржуазный националист — этого мало знать об отце.

Среди тысяч коммунистов и старых коммунистов, которых я встречал в лагерях, не было врагов народа. Ни одного. Встречались плохие люди, бывали мерзавцы, фанатики и дураки. Врагов народа не было.

Зато многие из них говорили о том, что «лес рубят — щепки летят». Видимо, подразумевая, что лес — это другие. А мы — щепки. Щепки с подпольным партийным стажем говорили о лесе, который нужно рубить, и почти никогда — не вспомню я ни одного случая — о лесорубе, который по совместительству был и садоводом. Впрочем, одно другому в абстрактном значении ничуть не противоречит. Сколько нужно времени, чтобы заметить очевидность, уйти от абстракций?

Не думаю, чтобы эти люди боялись высказывать свои мысли. Они не думали так, как думают теперь все нормальные люди. Абстракции полностью лишали их возможности видеть то, что было перед глазами. А может быть, очевидность угнетала их, в то время как абстракции утешали. Как медленно протекает процесс общественного осознания? И что такое общественное сознание?

Помню только один, поразивший меня разговор. Старый троцкист — троцкистов за коммунистов никто в лагере не считал — беззубый дистрофик со злыми глазами, вмешался в какой-то разговор о Сталине.

— Сволочь! Он уничтожил нас, опозорил Троцкого, а потом взял нашу же программу. Он все украл у Троцкого.

Старика звали Савченко, он был на грани между жизнью и смертью. Я поверил ему и, до сих пор ничего толком не зная о Троцком и троцкизме, к словам Савченко отношусь с доверием. Симпатии к Троцкому у меня тогда не возникло — даже, скорее, наоборот. Но странно, что благоговения перед Сталиным почему-то тоже не убавилось.

«Лес рубят — щепки летят», — говорили люди. И еще говорили о логике борьбы. Мой отец не был щепкой — это я знал точно. Оставалась логика борьбы.

О борьбе люди любили поговорить. Тоже абстрактно. Сейчас — поразительно, как быстро летит время,— у всех на устах слова известной песенки:

За что сидим — не помним и не знаем.

Здесь конвоиры дики и грубы.

Мы это все, однако, понимаем

Как обостренье классовой борьбы.

Все улыбаются иронически и мудро. Получается, что песня сочинена вроде бы не теперь, а в тридцать седьмом году. А мне обидно, что мои друзья и наставники в лагере, люди очень образованные, много видавшие на своем веку, прочитавшие тысячи умных книг, которых давным-давно и достать-то нигде уже нельзя, они, эти люди, не могли так мудро иронически улыбаться.

«Лес рубят — щепки летят!» О превращении леса в щепку люди боялись думать.

Однажды меня отправляли из одного лагеря в другой. Это было в сорок восьмом году. Я почти полностью отсидел свои первые пять лет, близился день освобождения, и возле вахты, напутствуя меня, собрались мои друзья.

У каждого из них на свободе были дети, как правило, старше меня; они не видели их лет по восемь — десять и не знали, когда увидят и увидят ли. Они любили меня, верили, хотели верить в мое счастье. В бараках после работы они подсовывали мне книжки: «Диалектику природы» и «Анти-Дюринг», Чернышевского, Белинского, «Историческую поэтику» А. Н. Веселовского. Они специально выписывали эти книжки из дома, после работы проводили для меня семинары, корили за ошибки и уклоны, которые я допускал в своих соображениях по поводу прочитанного. Они стыдили меня за «экономизм», за «вульгарное социологизаторство» и за многое другое, что было так же точно и просто сформулировано. Они очень верили в меня, преувеличивали мои способности, радовались моей элементарной сообразительности и юношескому любопытству. Я заменял им их детей, поэтому они не знали меры ни в похвалах, ни в упреках. Как я узнал много позже, один из них, старый педагог, сидевший еще при Николае Втором Кровавом и при Александре Федоровиче Керенском, при каждом поправении правительства Латвии и при диктатуре Ульманиса, за глаза называл меня молодым титаном.

Этим прекрасным и чистым людям верить в меня было необходимо. Я один мог иметь хоть какую-то надежду на будущее, а без веры в лучшее будущее они не могли бы жить.

В то холодное осеннее утро я стоял у вахты в ожидании конвоя, а мои друзья и наставники торопились обнять меня, сказать самое необходимое, самое сердечное.

Ты должен учиться. Ты должен стать образованным человеком. Ты будешь счастлив, но за счастье нужно бороться.

— Помни, что говорил Ленин: «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свой мозг всеми знания ми, которые накопило человечество».

Тебе предстоят трудности, но ты должен бороться за будущее, за коммунизм. Важно видеть главное в жизни, не спотыкаться о мелочи.

— Не озлобляйся в борьбе. Помни, ты должен быть на стоящим коммунистом, достойным твоего отца.

Так или примерно так говорили мои старшие друзья. Сейчас их слова кажутся мне слишком уж прямолинейными, но других слов не припоминается. Да, да! Они говорили именно это — быть достойным отца, быть ленинцем.

Вдруг открылась дверь конторы, откуда выглянул рыжий и узкогрудый начальник УРЧ, лейтенант, фамилию которого я нарочно искажу — Собеев, и позвал меня.

— Можно вас на минуточку?

Я встревожился, забеспокоились и провожающие. Лейтенант впервые назвал меня на «вы».

Он провел меня в кабинет, плотно прикрыл обитую черной клеенкой дверь и, кивнув за окно, где стояли провожающие, сказал:

— Гляди-ка, кто вас провожает.

— Мои друзья,— ответил я, не очень понимая, куда он клонит

— Друзья,— сердито подтвердил он.— Я знаю, что друзья. У каждого дело-то небось томов на пять. Везде побывали, со всеми разведками связи...

Не считая нужным спорить с ним в тот момент, я возразил не по существу:

— Ну что вы. Это очень хорошие люди.

— Хорошие,— искренне согласился он.— Одно другому не мешает. Но скажи-ка, как я к тебе относился за это время, скажи?

Начальник относился ко мне без злобы и, когда я в последние месяцы работал у него в канцелярии, упрекал меня только за почерк. «Почерк — это главное,— говорил он.— Вот возьми меня. Я в армии начал с рядового и дошел до лейтенанта. Всю войну прослужил в наградном отделе. У нас капитанов на передовую отправляли, а я — старшина, и все равно меня ценили».

(Почерк у Собеева был действительно отменный. Я всегда вспоминаю его, когда вижу дипломы кандидатов наук. Фамилии там вписывает, очевидно, кто-то из малоспособных учеников моего бывшего начальника.)

— Слушай,— проникновенно продолжал лейтенант,— как я к тебе относился? Ты на меня не обижаешься?

— Что вы, гражданин начальник. Никакой обиды быть не может, вы мужик хороший.

— А твои дружки? — опять показал он за окно.— Они на меня не обижаются?

— Да вроде бы нет,— сказал я.— Чего им на вас обижаться.

— Ну то-то,— Собеев благодарно мне кивнул и с фальшивой бесшабашностью добавил: — Когда все переменится и вы будете наверху, ты мне это не забудь.

— Конечно,— ответил я.

Заранее настроившись соглашаться со всем, что мне скажет начальник, я даже удивиться не успел. Так до сих пор и удивляюсь.

Те старики, что провожали меня на вахте, умерли. Мы виделись, переписывались, перезванивались, передавали приветы через общих знакомых. Никто из них не хотел того, что мерещилось начальнику УРЧ, никто никуда не уехал. А для старого латышского эсдека и перед смертью высшей рекомендацией было сказать о ком-то: «Это — настоящий коммунист».

Эх, начальник, начальник!

Не могу не вспомнить: один из тех, кто стоял возле вахты и кого обвиняли в связях со всеми разведками, незадолго до освобождения имел со мной разговор.

Меня только что выпустили из карцера, где я пробыл десять суток за пререкания с начальником режима. Выйдя, я нес этого начальника как мог и вслух мечтал пристрелить его, если бы хоть на минуту попал мне в руки автомат А старший друг сказал:

— Я вас понимаю, Камил, но представьте себе такую ситуацию: американцы выбросили в район нашего лагеря десант. Они решили вооружить заключенных и повести против Советской власти. И вот с одной стороны — американцы, власовцы, бандеровцы, а с другой — вохра и наш подлый начальник режима. Ведь вы все равно должны быть с ним, ибо он за революцию. Помните о главном выборе!

Я помнил, я четко знал, что быть мне с начальником режима, и в бою я докажу ему, что я настоящий советский человек.

Друг мой покоится на Митинском кладбище под Москвой. О нем я еще расскажу в этой книге.

Дело моего отца

В Исторической библиотеке газетный зал находился на каком-то высоком этаже, много лестниц и переходов. Я приготовил пачку «Беломора» и спички, выбрал стол поближе к двери, чтобы можно было быстро выскочить на лестницу и покурить, когда перехватит горло.

— Дайте мне «Известия» за март тридцать восьмого года.

— Выпишите требование.

Я выписал. Пожилая библиотекарша сурово, как мне показалось, глянула на листок и вернула его мне.

— Здесь нужно указать, над какой темой работаете.

Я возмутился. И испугался. Потом, сообразив, что это пустая формальность, я дрожащей рукой написал первое, что пришло в голову.

«Драма в стихах для кукольного театра». Именно так написал я тогда в требовании. Я не знаю: почему я написал тогда именно так и зачем сейчас вспоминаю об этом. Помню только, как дрожала моя рука. Дрожь часто охватывала меня в тот год.

Газетные листы были желтыми и ломкими. Однако они хорошо сохранились, потому что мало кто листал их за семнадцать лет, отделявшие процесс от дня, когда я написал свое требование. В подшивке были газеты трех месяцев — январь, февраль, март...

В более поздние годы я многажды бывал в Исторической, Ленинской и во многих других библиотеках и архивах, и всегда меня удивляло, что там читают. Когда я склонялся над «Московскими ведомостями», «Новым временем», «Искрой», «Правдой» за предвоенные или послевоенные годы, над «Известиями» или «Правдой Востока», над книгами и журналами, все молодые люди вокруг меня читали учебники и справочники, а газеты — максимум за последнюю пятилетку. Кажется, никому из них не было интересно хоть мельком глянуть в газету прошлого века или в ту, что читал Ленин...

Почему интерес к прошлому неистребимо живет в одних людях и начисто отсутствует во вторых? Эти вторые чаще всего именуются у нас историками.

Обвинительное заключение

по делу Бухарина Н. И., Рыкова А. И., Ягоды Г. Г., Крестинского Н. Н., Раковского Х. Г., Розенгольца А. П., Иванова В. И., Чернова М. А., Гринько Г. Ф., Зеленского И. А., Бессонова С. А., Икрамова А., Ходжаева Ф., Шарангови-ча В. Ф., Зубарева П. Т., Буланова П. П., Левина Л. Г., Плетнева Д. Д., Казакова И. Н., Максимова-Диковского В. А. и Крючкова П. П.— обвиняемых в том, что они по заданию разведок враждебных к Советскому Союзу иностранных государств

составили заговорщическую группу под названием «право-троцкистский блок», поставившую своей целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР провокацию военного нападения этих государств на СССР, расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана, Приморья на Дальнем Востоке — в пользу упомянутых иностранных государств, наконец, свержение в СССР существующего социалистического общественного и государственного строя и восстановление капитализма, восстановление власти буржуазии.

Произведенным органами НКВД расследованием установлено, что...

Читать подряд было трудно. Я забегал вперед, возвращался к первым страницам, читал то один допрос, то другой, и постепенно мое напряжение спало.

Я всегда был убежден в том, что дело это очень тонко сфабриковано, что люди, осужденные этим процессом, навсегда опозорены, да и мне самому предстоит убедиться в том, что так называемая логика борьбы закрутила и моего отца. Конечно, не шпион, не диверсант, не убийца, но...

Тонко сфабриковано, не разобраться мне, не понять. Где там. Какие умы трудились. Хоть тот же Вышинский Андрей Януарьевич — это же ум, что ни говори, это же голова. Как он отбривал в ООН буржуазных дипломатов. Умен, остроумен, диалектик! Да и что тут разбираться, если все поголовно признали себя виновными. Как этого достигли— другое дело...

Дрожь моя была неслучайной, ломкие листы рвались... Не шпион? Не диверсант? Не убийца?

Я листал и листал страницы «Известий», пока не заметил, что я довольно громко хмыкаю и даже изредка посмеиваюсь.

Я вышел на лестницу, выкурил папиросу, вернулся в зал и принялся читать подряд.

Сейчас передо мной не газеты, а солидный том в семьсот восемь страниц, выпущенный в Москве в 1938 году юридическим издательством Народного комиссариата юстиции СССР. «Ответственные за выпуск — В. Усков и В. Машуков. Техническое оформление Л. Васильев. Ответственный за корректуру—В. Пчелинцев. Сдано в набор 20.111.1938 г Подписано к печати 28.Ill—6.IV.1938 г. Печ. листов 44,25. Уч. авт. листов 52,31. Уполномоченный Главлита № Б-42812».

Тираж не обозначен, но думаю, что он весьма велик. Эту книгу я видел во многих периферийных районных библиотеках, в частных домах.

Хорошо, что книга сохранилась. Каждый может взять ее и прочитать. Нелепости и несуразицы бросаются в глаза любому внимательному читателю. Уже сам перечень

подсудимых, среди которых в большинстве своем люди, неразрывно связанные с партией и революцией, люди, которые любым контрреволюционным судом были бы приговорены к смерти за все то, что они совершили во имя революции,— уже сам перечень этих подсудимых, да и тех, что проходили по другим открытым и закрытым процессам, должен вызвать недоверие у всякого, кто хоть как-то знает историю. Или нужно уверовать в то, что время наше небывалое и любая небывальщина — правда.

А обвинительное заключение?

Впрочем, возможно, я пристрастен. Возможно. На одном из предшествующих процессов был Л. Фейхтвангер. Он описал его и поверил в то, что слышал и видел. Но он тоже не был беспристрастен. Книгу «Москва 1937» он заканчивает словами: «Как приятно после несовершенства Запада увидеть такое произведение, которому от всей души можно сказать: да, да, да!»

Да, да, да!

Случайно я знаю две истории с этой книгой, с ее судьбой в нашей стране. Изложу их так, как узнал.

Уже упомянутому мной заведующему отделом печати Наркоминдела позвонил Каганович и стал выговаривать в том смысле, что кто это позволил вам выпустить бредовую и антисоветскую книгу Фейхтвангера. Заведующий отделом печати, человек, которому потом пришлось в куда более трудных условиях продемонстрировать свою выдержку, отвечал, что впервые о существовании подобной книги, да еще на русском языке, слышит.

Каганович замолк и, видимо, очень испугался, потому что стал называть заведующего отделом печати уже по имени-отчеству, а не по фамилии, как минуту назад, и извинялся, извинялся, извинялся...

Если читатель еще не понял, почему испугался Каганович, то ему будет интересно узнать другую историю.

Кабинетный ученый, занимающийся в последние десятилетия проблемами марксистско-ленинской эстетики, в 1937 году работал в Госполитиздате и по заведенному там порядку должен был нести ночные дежурства в кабинете директора. И вот в одну из ночей ему позвонили.

— Товарищ Митин? Здравствуйте, говорит Сталин.

Дежурный объяснил, что он не Митин, а только ночной дежурный, но Сталин не огорчился. Он сказал, что сейчас из Кремля в издательство доставят перевод новой книги Лиона Фейхтвангера «Москва 1937» и надо сделать так, чтобы эта книга через три дня была в витринах книжных магазинов.

Думаю, что экземпляр для Сталина мог быть изготовлен в указанный срок, но и на прилавки книг Фейхтвангера вылетела поразительно быстро. Потом книгу изъяли

из библиотек, что только прибавило весомости тем поразительно безнравственным суждениям немецкого еврея, решившего, что нацизм есть единственная опасность XX века, что стратегия и тактика антифашизма может быть освобождена от «химеры совести», как и сам фашизм, что писатель может закрывать глаза или демонстративно отворачиваться от того, что видит, только потому, что именно на это указывают его враги. В первом варианте моей рукописи я говорил о книге «Москва 1937» и о ее авторе куда более резко, чем сейчас. Однако и теперь я смею утверждать, что Фейхтвангер с его огромным авторитетом «свободного человека» и автора многих хороших книг повлиял на наше общее сознание более страшно, чем упомянутые им «сто тысяч портретов человека с усами», чем все наши писатели, публицисты и поэты-песенники от Михаила Кольцова до Василия Лебедева-Кумача.

Я перечитываю эту книгу и в сотый, в тысячный раз вижу, как опасно в литературе и публицистике лавирование между ложью и правдой. Если начал лавировать, прибьешься ко лжи. Признаюсь, в каждой из книг Фейхтвангера, написанных до тридцать седьмого и после, я вижу теперь ложь, надменность умника в общении с истиной и хитрую саркастическую усмешку. Сарказм этот так велик, что его хватает с избытком и на тех, кто задумал Освенцим, и на тех, кто его эксплуатировал, и на тех, кто в нем погиб.

«Да, да, да!» — сказал Фейхтвангер. Не знаю, что он говорил и думал, читая материалы нового процесса в марте 1938 года. А очень хотелось бы знать.

Васисуалий Лоханкин, например, сказал бы, что в этом вполне может быть сермяжная правда. Вот уже много лет самыми крамольными словами мне кажется название главы из «Золотого теленка»: «Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции». Это не юмор, как не юмористичен образ Лоханкина, это одна из самых горьких фигур знаменитого романа, который был популярен, потом запрещен, потом разрешен, допущен и девальвирован нашим хихикающим интеллигентом, который в зеркале себя никогда не узнает.

Среди всех типов русской истории и русской литературы, среди всех уродов, готовых подвергнуться телесным наказаниям и самолично доставить палачу веревку, которой его удавят, персонажи типа Лоханкина, как и умники вроде Фейхтвангера — продукты тридцатых годов. В этом их единственное извинение.

В уже цитированной книге Фейхтвангер, рассказав о своем непонимании многих моментов в процессе Радека, Пятакова и других, пишет: «Если спросить меня, какова квинтэссенция моего мнения, то я смогу, по примеру мудрого публициста Эрнста Блоха, ответить словами Сократа, который по поводу некоторых неясностей у Гераклита сказал так: «То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно».

Когда речь идет о безвинно замученных, это уже просто подлость, которой прощенья нет! Причем подлость высокомерная.

Это много хуже, чем слова о великой сермяжной правде, хотя и сродни им.

Связь литературы с политикой опровергнуть нельзя, и нельзя освободить писателя от политической ответственности за написанное им. Я обвиняю Фейхтвангера во лжи и в сокрытии истины. Стыдно быть умнее замученных, а позиция над схваткой — позорна.

Допускаю, что иной читатель, если ему понравились в данной моей книге попытки беллетризировать биографию Акмаля Икрамова, заскучает от фактов. Вдруг да ему надо поболе экзотики, бытовых подробностей...

Летом пятьдесят шестого года ко мне пришла пожилая женщина и в слезах рассказала, что она — близкая подруга моей матери, жена одного из первых среднеазиатских коммунистов — Ханифа Бурнашева, что звать ее надо тетя Надя. Тетю Надю реабилитировали, посмертно оправдали мужа, бывшего члена коллегии Наркомзема СССР, и она получила денежную компенсацию за конфискованные вещи, а также двухмесячный оклад мужа и свой.

Она узнала о том, что я жив, и просила меня взять несколько тысяч рублей, ибо у нее нет никого ближе, чем сын Жени и Акмаля. Денег у нее я не взял, но она купила мне отличные ботинки на микропористой подошве, потому что увидела: мои — рваные.

— Я говорила с твоей мамой в последний раз в июне тридцать седьмого. Вы жили тогда в гостинице. Она была одна в номере. Я пришла и говорю: «Женя! Ханифа арестовали! Что мне делать?» А мама твоя говорит: «Собирай вещи, забирай донку, мы завтра возвращаемся в Ташкент, поедешь нашим вагоном». Я говорю: «Женя, не могу же я бросить здесь Ханифа, надо хлопотать, ведь он невиновен» А она ответила мне: «Если его взяли, Надюша, значит, он — сволочь».

Моя мама, Евгения Львовна Зелькина,— старый член партии, очень знающий и талантливый экономист-аграрник — была заместителем наркома земледелия Узбекистана. С Ханифом Бурнашевым она работала с 1922 года и знала его так же давно, как и моего отца.

— Понимаешь? Она мне сказала: «Если его взяли, значит, он — сволочь». Я тогда упала в обморок.

Мне стало стыдно за мать, а тетя Надя, увидев мою растерянность, добавила:

— Нет. Ты не понимаешь. Я упала в обморок потому, что когда в тридцать шестом арестовали моего главного редактора (я тогда в издательстве работала), Ханиф сказал: «Если его взяли, значит, он — сволочь». Те же самые слова. От этого я сознание потеряла.

Тетя Надя не была ответственным работником. Она была женщиной. Она жалела своего редактора, любила мужа, до сих пор жалеет мою мать. А недавно я узнал, что в тот час, когда мать говорила это, в мае и июне тридцать седьмого, на допросах в

НКВД Узбекистана арестованных сотрудников Наркомзема под пытками заставляли давать показания о ее вредительской деятельности.

Это было в то самое время, когда Сталин обнимал моего отца на заключительном концерте декады узбекского искусства в Большом театре и указывал аплодирующему залу: «Не мне, мол, аплодируйте, а ему. Это он такой молодец».

Я помню этот заключительный концерт, сияющий золотом Большой театр, полную сцену артистов и ложу далеко слева, где находилось все Политбюро и мой отец рядом со Сталиным. Мне было плохо видно его, потому что мы сидели в центральной, бывшей императорской ложе. Я помню этот концерт, потому что до него и после отец был единственным, кто не радовался. Он был хмур, сдержан и немногословен.

Почему не радовали его сталинские объятия?

В каждом из нас, наверное, с детства, с букваря живет уважение к печатному тексту. Со временем мы начинаем понимать, что бумага все стерпит, но кажется нам, что в этом есть преувеличение, что какая-то доля истины в печатном тексте должна быть. Ибо не может быть...

Как бы то ни было, а читал я книги и статьи тех лет, чтобы узнать правду. Конечно, я не верил тому, что отец был завербован английской разведкой, что сам был басмачом, но что-то было?

Читаю, что отец в начале революции был связан с националистическими контрреволюционными организациями «Темир туда» и «Изчиляр тудаси». Одна организация была создана пленными турецкими офицерами, другая объединяла местную интеллигенцию. Узнаю, что А. Икрамов, будучи обвинен в подстрекательстве и связи с контрреволюционными организациями, был вынужден написать открытое письмо в газету «Иштракиюн» («Коммунист»). Узнаю также, что в качестве члена общества «Чигатай гурунчи» отец написал несколько националистических стихотворений под псевдонимом Эльхон. Это все 18, 19 и 20 годы. Что удивительного, если совсем молодой человек в буре революции потерял на время ориентиры? А что мы знаем об организациях, в которых состоял отец?

«В 1919—1920 годах он открыто писал статьи и стихи против Советов в качестве члена организации «Изчиляр тудаси» и «Чигатай гурунчи». В своей статье «Вниманию наших комиссаров», опубликованной в газете «Иштракиюн» в мае 1919 года, он писал, говоря о восстании Осипова, о том, что восточные народы должны играть основную роль в революции Востока, потому в Ташкентском военном училище должны быть специальные курсы для обучения военному делу молодежи местных национальностей, а Чрезвычайный комиссар Туркестана Трояновский в своих практических делах должен советоваться с местными людьми (буржуазными интеллигентами), хорошо знающими Восток. Он в статье «Тюркская молодежь», напечатанной 28 апреля, говоря о том, что английские колонизаторы оскорбляют

братские мусульманские народы в Турции и Арабистане и попирают священную Мекку и матерь мусульман — Турцию, призывал молодежь Туркестана к выступлению против них и освобождению Аравии и Турции. Известно, что в это время узбекский народ погибал под гнетом басмачей, Икрамов же призывал узбекскую молодежь не к борьбе против басмачей, а к освобождению Мекки и Истамбула». (М. Г. Вахабов, «Узбекская социалистическая нация», на узб. яз.)

Предоставляю читателю возможность самому понять, что испытывает сын, впервые в жизни узнавая это про юность отца. Не знал я ни про стихи, ни про статьи, ни про организации, о которых ничего достоверного широкому кругу людей и сейчас не известно.

«По-видимому, Икрамов к 1924 году еще не ликвидировал свои националистические чувства. Поэтому на совещании работников национальных республик, созванном ЦК РКП (б) в 1923 году, он вместе с Ходжаевым выступил с клеветой, говоря, что в период Советской власти никаких изменений в Туркестане не произошло, изменилась только вывеска, на самом же деле эксплуатация сохранилась. Хотя он и выступал как сторонник развития культуры и хозяйства Туркестана, на самом деле он выдвигал подстрекательские идеи, как националист». (Там же.)

Забегая вперед, а в этой истории не забегать вперед слишком страшно, скажу, что и в 1971 году при подготовке «Избранных трудов» Акмаля Икрамова в трех томах обвинения в националистических статьях и стихах все еще маячили. Правда, оказалось, что нет ничего контрреволюционного в статье «Вниманию наших комиссаров», и она вошла в трехтомник, а статья «Тюркская молодежь» — это призыв ко всем молодым силам Туркестана (отсюда и обобщение в слове тюркская) изгнать англичан из Красноводска и сопредельных территорий. А как еще можно было сказать в Туркестане...

Если бы заранее знать, что все выяснится, что правда восторжествует, что справедливость будет восстановлена!

Поздно?

Нет! Это важно и сейчас, и завтра, и через тысячу лет Справедливость одна на всех. Более всего она нужна не тем, кого уже нет, не нам даже, а нашим детям и внукам.

Посмотрите на тех, кто сегодня ходит в детский сад. Им справедливость нужней, чем нам. Посмотрите на них, пожалейте их, позаботьтесь, чтобы им не хлебнуть того, что хлебали мы.

Однако надо вернуться к процессу.

Мы все знаем, что он был тщательно подготовлен, что подсудимые оговаривали себя по детально разработанному плану со шпаргалками и суфлерами. Характерно, что многие говорили, как ученики на уроке: «Разрешите, я еще скажу», «Позвольте дополнить».

Чтобы понять роль моего отца в этом спектакле, нужно было хоть на время забыть, что именно он мне интересен.

О том, какими средствами сотворился процесс, ходят разные суждения, версии, догадки, существуют весьма оригинальные домыслы. Людям мало знать, что процесс сфабрикован и что подсудимые оговаривали себя и других. Всех интересует, как именно это сделано. Как именно!

Один из приемов мне совершенно ясен. Я покажу его на разборе допроса, о котором многие знают, но, видимо, не все знают все и далеко не все понимают значение происшедшего.

— Ну понятно, что пытки,— говорят сегодня весьма разумные интеллигенты.— Но ведь на процессе были не простые и «средние» люди. Там были борцы, общественные деятели крупного масштаба, революционеры с подпольным стажем.

— Ведь были же люди, которые ни в чем не сознались!

Этот довод кажется особенно убедительным.

Конечно, лестно думать о героизме и стойкости хотя бы отдельных представителей рода человеческого. Однако те, кто занимался пытками, кто разрабатывал методику физического и психологического воздействия на подследственных, очевидно, думали иначе. Каждый срыв, неудачу, каждую преждевременную смерть арестованного, не говоря уже об отдельных случаях удавшихся самоубийств, Ежов, Берия и неведомые доселе теоретики бывшего НКВД и бывшего Министерства государственной безопасности считали браком в работе. Я полностью согласен с ними.

К тому же следует помнить, что личный героизм как фактор, как гарантия исторического прогресса — наивность, вредный романтический предрассудок. И у сторонников реакции всегда находились люди, готовые до последней капли крови отстаивать исторически обреченное дело. Я видел бандита, убившего целую семью, а потом в тюрьме в доказательство своей невиновности семьдесят шесть дней державшего голодовку. Он похвалялся этим в вагоне на этапе. Преклонение перед стойкостью духа необходимо, но преклонение без разбора — глупость.

Не стану строить предположения о пытках, которым подвергался мой отец и очень дорогие мне люди из тех, кого я знал в детстве. Душа противостоит этим домыслам, только в кошмаре это может прийти в голову. Пусть каждый, усомнившийся в силе пыток, примерит к себе хотя бы часть того, что он читал из истории, из документальных книг о фашизме и о методах работы разведок, и пусть ответит честно, все ли бы он выдержал. Другое дело, что кто-то выдержал три дня, кто-то неделю, а кто-то — три месяца.

Генерал Горбатов, печатавший воспоминания в журнале «Новый мир», сурово осуждавший сломленных пытками людей (кажется, даже более сурово, чем тех, кто

пытал их), сам говорит, что не знает, выдержал бы он следующий сеанс избиений (не пыток, а избиений).

Для меня вопрос о пытках всегда был весьма реален, и должен честно признаться, что я не выдержал бы того, что выпало на долю молодогвардейцев.

Когда-то поняв это, я очень мучился, казнил себя стыдом, чувствовал себя недостойным окружающего меня общества, отщепенцем. Потом я догадался, что завышение моральных норм, навязывание невыполнимых требований и создание культа мученичества всегда служит тем, кто хочет разъединить людей и в каждом отдельном человеке воспитать комплекс моральной неполноценности. Такой одинокий человек легче станет ханжой, стукачом и конформистом.

Непомерное завышение официальных морально-этических норм всегда приводит к падению общественной морали.

XX век дал много оснований для исследования проблемы пыток. Именно об этом говорят герои Бертольта Брехта. Ученик упрекает Галилея в том, что тот испугался, когда ему показали орудия пыток. «Несчастна та страна, в которой нет героев». А Галилей отвечает: «Нет. Несчастна та страна, которая нуждается в героях».

Да, я не мог бы выдержать пыток, я даже не мог бы выдержать зрелища пыток. И я не буду их изобретать. Скажу только, что очень известный английский контрразведчик О. Пинто в книге, которая у нас переведена, спокойно констатирует:

«Безусловно, телесные пытки способны сломить самого волевого и физически сильного человека. Я знал одного мужчину поразительной силы воли, у которого гестаповцы вырвали все ногти, а затем сломали ногу, но он не вымолвил ни единого слова. Позже этот человек признавался, что его терпение истощилось как раз в тот момент, когда мучители прекратили пытки, но если бы они продолжали пытать его, он наверняка не выдержал бы и во всем признался.

Ни один человек не может вынести пытки с применением воды: капли воды падают на голову человека с интервалами в несколько секунд. Я уверен, что любой человек через несколько минут перестанет молчать, через час — сойдет с ума...

Зверские пытки могут заставить невиновного «сознаться в преступлении», за которое полагается смертная казнь. В таких случаях человек считает, что быстрая смерть легче нечеловеческих страданий.

Телесные пытки в конце концов заставляют говорить любого человека, но не обязательно правду».

Так пишет английский контрразведчик, которому по роду службы обязательно нужно было узнать правду у подозреваемых в шпионаже. А если заведомо ясно, что мучители и не добиваются правды, что им нужна любая ложь, то это ведь еще больше облегчает задачу палачей.

Мне рассказывали про одного из старых коммунистов, который под страшной пыткой отказался признать себя врагом народа. Тогда на его глазах стали пытать и замучили до смерти его жену. Однако старый коммунист был непреклонен. Тогда на глазах отца стали пытать его тринадцатилетнего сына. Мальчик умер в муках, но коммунист не признал себя виновным в измене Сталину.

У кого-то этот случай вызывает восхищение. У меня — ужас. Я не понимаю этого человека. Я не могу его любить и даже жалеть не могу. Я боюсь его и его стойкости Эта стой кость патологическая и античеловеческая

Короче говоря, не могу я поверить, что наш ум и воля в норме сильнее нашего тела, независимы от него. Простой пример: американские психологи установили экспериментальным путем, что лишение сна в течение ста двадцати часов полностью разрушает сопротивляемость внушению. Сопротивляемость внушению в таких случаях равна нулю.

Это я слышал на обычной лекции для адвокатов. Повышение квалификации. Там приводилось много таких ценных сведений из нашей и зарубежной практики. Много конкрет ных примеров. Например: муж, спешащий к только что родившей в тайге жене, признается в поджоге электростанции с тем, чтобы потом, после того, как он привезет жену домой, все поставить на свое место; говорили про двух мальчиков, которые тоже спешили и потому согласились взять «на время» чужую вину. О пытках и угрозах - само собой. Всех, кого это интересует, я отсылаю в коллегию защитников. Лекция называется «Психология самооговора», автор Александр Экмекчи.

Одно дело выдавать под пыткой своих настоящих сообщников, товарищей, завалить дело, которому служишь. Совсем другое, если требуют признания твоей собственной вины и вины тех, кто уже погиб под пыткой на твоих глазах, кто сам дал на тебя показания, кто все равно обречен, о чем тебе хорошо известно. Что ни говорите, а страшно, до сих пор страшно читать, перечитывать и переписывать слова, вырванные палачами. Да, я часто пользуюсь этим словом «палачи», потому что другие до сих пор боятся его произносить. А как назвать тех, кто пытал, истязал, убивал?

Скажу еще, что, когда мы осуждаем тех, кто под пыткой оклеветал себя и других, мы уже только одним этим оправдываем палачей.

Мне давно уже казался подозрительным «социальный» заказ на возвеличивание в литературе всевозможных мучеников, которые, например, попав в плен, не только отказывались назвать номер своей части, но и свое имя и фамилию.; Именно эта пропаганда привела к позорному для нашей страны и нашего общества явлению, когда каждый из миллионов солдат, попавших в плен или немецкий концлагерь, рас сматривался как человек второго сорта, если не как государственный преступник. Мне стыдно знать, что пленные других стран возвращались на родину под звуки оркестров, а наших пленных ждали проверочные, а часто и исправительно-трудовые лагеря. Именно эта система взглядов привела к тому, что даже девушек, насильно угнанных в

Германию с оккупированных территорий, воины-освободители встречали как изменников родины, а администрация создала для их проверки лагеря, расположенные часто на месте бывших немецкий лагерей смерти. Один из таких лагерей, говорят, находился в Освенциме.

После вопросов председательствующего в начале процесса о том, получили ли подсудимые обвинительное заключение на что все ответили «да», и после вопроса о том, желают ли подсудимые иметь защитников, на что все, кроме врачей Левина, Плетнева и Казакова, ответили «нет», а также после, вопроса, признают ли себя подсудимые виновными в предъявленных им обвинениях, на что все, кроме Н. Н. Крестинского (на этом я еще остановлюсь впоследствии), ответили «да», моего отца не трогали довольно долго.

Во время допроса Файзуллы Ходжаева, изобличавшего отца в совместной антисоветской деятельности, Вышинский спрашивает:

— Это было когда?

Ходжаев. Это было в середине 1928 года или в начале 1928 года. Точно сказать очень трудно. Много времени прошло с тех пор.

Вышинский. Вы с Икрамовым контактировали работу?

Ходжаев. Да.

Вышинский (к председателю). Позвольте вопрос Икрамову. Подсудимый Икрамов, вы слышали эти показания Ходжаева?

Икрамов. Да, слышал.

Вышинский Вы согласны с его показаниями?

Икрамов. Нет.

Вышинский. Подсудимый Икрамов, вы были членом подпольной националистической организации в 1928 году?

Икрамов. Да.

Вышинский. Эта организация называлась «Милли Пстиклял»?

Икрамов. Да.

Вышинский. Значит, в этой части показания Ходжаева правильны?

Икрамов. Правильны.

Вышинский. Ходжаев был членом подпольной националистической фашистской организации «Милли Истиклял»?

Икрамов. Нет. Файзулла Ходжаев не был. У Ходжаева была своя организация.

Ходжаев. Я так и говорил.

Вышинский. Значит, Ходжаев был в своей организации, а вы — в своей. Обе организации буржуазно-националистические. Фашистского типа.

Икрамов. Правильно. Но что контакт сами установили — это неправильно. Контакт установлен под нажимом правого центра.

…

Вышинский. В чем же у вас разногласия с Ходжаевым?

Икрамов. Я говорю, что не в 1929 году, а в 1933 году, под нажимом Бухарина.

…

Вышинский. Действовали порознь? Обвиняемый Ходжаев, в чем тут дело?

Ходжаев. Я с Икрамовым по этому вопросу не говорил перед тем, как давать свои объяснения суду, и не понимаю, из каких мотивов исходит обвиняемый Икрамов, когда он, признавая принадлежность к буржуазно-националистической организации, отодвигает срок нашей совместной работы. Мне кажется, Икрамову хочется кое от каких фактов отмахнуться. Может быть, я ошибаюсь, это мое предположение.

Недалеко от подмосковного райцентра Новая Руза есть желудочно-кишечный санаторий «Дорохово». Там в финском домике с мезонином жила супружеская пара Иван Николаевич и Фатина Михайловна Чинкины. С Иваном Николаевичем я почти незнаком, а с его женой, милейшей Фатиной Михайловной, мы виделись и перезванивались довольно часто.

Фатина Михайловна очень хороша собой, знает это и с: некоторым даже интересом сообщает, что уже вышла на пенсию В 1937 году мужем Фатины Михайловны, тогда еще Петровой, был Файзулла Ходжаев. За это она отсидела свое на Дальнем Севере и спаслась потом), что была врачом. А красивая была пара Файзулла Ходжаев и Фатина Петрова. Среди женщин, отдыхавших на особо охраняемых дачах Кавказа и Подмосковья, считалось, что в тогдашнем нашем правительстве самые красивые мужчины — Тухачевский и Ходжаев.

Кажется, я не видел Тухачевского или не запомнил его, но Файзулла был действительно очень красив. Тонкое лицо, большие «персидские» глаза, усмешка в углах спокойных губ

С моим отцом они издавна не ладили. То ли их друг на друга натравливали, то ли держали именно потому, что они сами никогда бы не стали доверять друг другу. Во всяком случае, сколько я себя помню, отец часто говорил о Ходжаеве с раздражением.

Они и внешне были очень непохожи. Отец - быстрый и резкий в движениях, острый и решительный в действиях и словах, спортсмен, или, как тогда говорили, физкультурник, едва ли не единственный в том ЦК человек, который крутил «солнце» на турнике. Он был, как бы мягко ни формулировать, человеком несколько аскетического склада. Это сказывалось на быте нашего дома, на взаимоотношениях в семье, на одежде. Точно так же, как на быте домочадцев Ф. Ходжаева сказалась любовь к удобствам, к изящным безделушкам, драгоценностям и дорогим коврам.

Отец почти всегда, кроме самых жарких месяцев, ходил в суконной гимнастерке, в галифе и сапогах. Это был стиль, уже уходивший в прошлое, это был стиль для внешнего употребления, а внутри семей тогда все решительно менялось. Аскетизм ставился под подозрение. Отец же сам ни в чем не нуждался, и домочадцы должны были примеряться к тому же.

Несмотря на занятия спортом, отец страдал сильными головными болями и часто выглядел старым и изможденным. Такой он на большинстве сохранившихся фотографий. Только одна есть — прекрасная. Отец говорит. Он на трибуне. Строгий профиль, нос с горбинкой... Но это одна такая фотография.

Файзулла, напротив, всегда и на фотографиях очень красив.

Как-то, совсем недавно, Фатина Михайловна заговорила о нежной дружбе своего мужа с моим отцом, и я, чтобы быть справедливым, сказал, что между ними, кажется, не все было в порядке.

Я не сказал тогда Фатине Михайловне, что знаю о словах Файзуллы, которые милейшая Фатина Михайловна утаила от меня.

В Ташкентской тюрьме она рассказывала сокамерницам, что незадолго до ареста муж говорил ей:

— Если Икрамова арестуют, я спасен.

Никого не виню, никого не оправдываю. А как говорить плохое о людях, которые погибали вместе с моим отцом. Как говорить плохое, если это плохое мне известно? А как можно утаивать правду, ту правду, которую я знаю? Я знаю не все, знаю односторонне, это безусловно так, но пусть другие скажут то, о чем я умолчал по незнанию или все же потому, что помешало мне чувство жалости или чувство такта.

Это касается многих людей, а не одного Ф. Ходжаева.

Исаак Абрамович Зеленский проводил одну из первых «чисток» среди узбекской интеллигенции, именно он в конце двадцатых годов, будучи эмиссаром Сталина, санкционировал обвинения узбеков в национализме.

Чем он не угодил Сталину? Почему попал под нож, почему оказался на скамье подсудимых рядом с Икрамовым?

Это давно прошло, а знать необходимо. И мы узнаем это, несмотря ни на что. Ведь разобрался же академик С. Б. Веселовский в «Синодике» Ивана Грозного.

А вот про Файзуллу Ходжаева я так и не могу сказать того, что знаю о нем точно. Одно скажу: за дело не любил его отец. И я никогда не простил бы ни одному из знакомых того, что не прощал Ходжаеву отец.

Но вернемся к протоколам.

Ф. Ходжаев говорит, что вместе с Икрамовым они поставили перед собой задачу «захвата нашими националистическими кадрами целого ряда советских организаций в Узбекистане, таких организаций, как Наркомпрос, чтобы школы иметь в своих руках, университет иметь в своих руках, печать, плановые организации, Наркомзем, и так далее».

Отец во всем признает свою вину, он только пытается не ввязывать в это дело Бурнашева, которого упомянул Файзулла Ходжаев в качестве связного между двумя националистическими организациями. Видно, отец в это время уже не думал так, как думала моя мать, сказав тете Наде: «Если его взяли, значит, он — сволочь».

«Я двурушничал с 1928 года»,— говорил мой отец. Помню, как поразила меня эта фраза. Но это было первое потрясение. Потом я привык к лексикону подсудимых, если только это был действительно их лексикон. Очень уж все однообразно звучало в устах болгарина Раковского, русского интеллигента Бухарина, узбека Икрамова, еврея Зеленского, белоруса Шаранговича и других.

В 1929—1930 годах в Узбекистане были арестованы известный писатель, работник Наркомпроса Бату и руководитель Научно-исследовательского института Рамзи. Теперь они реабилитированы.

«Я так же, как и Икрамов, в силу солидарности с ним вел борьбу с тогдашним руководством ЦК Узбекистана, которое хотело в связи с делом Рамзи и Бату разоблачить националистов,— говорит Файзулла Ходжаев.— Я вел вместе с Икрамовым борьбу в связи с процессом над этими работниками, которые вели борьбу против партийного руководства и против тогдашнего Средазбюро».

Мне приятно, что мой отец пытался освободить людей, как теперь установлено, ни в чем не виновных. Отец признает это на процессе. Одно только непонятно: с каким таким руководством ЦК Узбекистана и Средазбюро могли вести борьбу член Средазбюро и секретарь ЦК Узбекистана А. Икрамов и председатель Совнаркома республики Ф. Ходжаев, если первым секретарем был тоже враг народа И. А. Зеленский? Через три страницы стенографического отчета, после рассказа Зеленского о вредительстве в области планирования сельского хозяйства, Вышинский спрашивает:

— Обвиняемый Зеленский, вы подтверждаете, что эта политика проводилась под вашим руководством?

Зеленский. Я уехал из Туркестана в январе 1931 года.

Ходжаев. А это было в 1928 году.

Вышинский. Обвиняемый Зеленский, не вам ли принадлежит эта формула — догнать и перегнать в Средней Азии передовые районы Советского Союза?

Зеленский. Да, мне.

Вышинский. А что означала эта формула?

Зеленский. Срыв коллективизации.

Вышинский. Не только это, но и срыв хлопковых планов, и разорение дехканских хозяйств. Вы подтверждаете это?

Зеленский. Да, подтверждаю.

Вышинский. Вы тогда кем были там?

Зеленский. Секретарем ЦК.

(Зеленский был тогда секретарем ЦК ВКП(Б) и первым секретарем Средазбюро ЦК ВКП(б))

Значит, это с ним враг народа Икрамов вел борьбу? Я не мог не хмыкнуть тогда, в газетном зале Исторической библиотеки

А еще говорят, что Вышинский был очень умен или, по крайней мере, весьма хитер. Кстати, на другой день Зеленский на допросе, целиком посвященном ему, сказал еще и так:

«Да, я подтверждаю (показания, данные на предвари тельном следствии.— К. Я.) И прошу суд предоставить мне возможность рассказать о разоблачающих моментах как моей предательской, так и преступной деятельности в качестве члена контрреволюционного изменнического и право-троцкистского блока», поставившего своей задачей реставрацию капитализма в Стране Советов... (Поразительная лексика у этого диверсанта: «В Стране Советов!» — К И) Я должен коснуться в первую очередь самого тяжелого для меня преступления — это о своей работе в царской охранке.. При вербовке мне была дана кличка «Очкастый». Мне было предложено информировать о работе местной социал-демократической большевистской группы, ее борьбы с ликвидаторами. В дальнейшем я регулярно получал деньги за эту предательскую работу — 25, 40, 50 и даже 100 рублей.»

Тогда, в Исторической библиотеке, я понял, что за «документы» оставил нам пресловутый 37-й год. А ведь мы этими цифрами обозначаем далеко не один год нашей жизни

Исаак Абрамович Зеленский посмертно восстановлен в партии. Его жена, в отличие от моей матери, пережила все это, после лагеря вернулась и похоронена на Новодевичьем Коммунисты Узбекистана поставили памятник на ее могиле

Не знаю, остались ли дети у Рамзи, но у Бату прекрасные сын и дочь, а жена его, вернее вдова, скончалась совсем недавно. Это была русская женщина, поповна из Казанджика, красавица Валентина Петровна. В 1922 году она познакомилась во дворе Московского университета с двумя узбеками. Один стал ее мужем, его звали Махмуд. Другим был мой отец. «Махмуд жил в общежитии, Акмаль в гостинице «Метрополь». К счастью, он часто уезжал в Азию и свою комнату оставлял нам. У него мы и гостей принимали. У нас в гостях Маяковский был, плов ел. Есенин приходил однажды.

Нам говорили, что он пьяница, а он рюмки не выпил. Плов ел, а водку не пил».

Маяковский говорил Акмалю, что Махмуд талантливый, и Луначарский это говорил: «Товарищ Икрамов, таких поэтов надо беречь, помогать им».

«Мы много ходили втроем по театрам, концертам и поэтическим вечерам. У Акмаля был пропуск, и мы ходили. Потом к нам присоединилась Женя. Мы вчетвером ходили».

Все это Валентина Петровна рассказала своему сыну, который расспрашивал ее по моей просьбе. Меня он к матери не пустил. «Не надо. При одном имени Акмаля ей бывает хуже, а если она тебя увидит... Я осторожно буду подводить к теме, на положительных эмоциях».

А вообще-то какая глава могла получиться: нэповская Москва, разгул нэпа, а в нем две красотки студентки, дочь полкового священника и дочь доктора медицины, одна — хохотушка, другая — неистовая якобинка, с ними два смуглых парня, говорящие с акцентом... Театр Мейерхольда и кафе поэтов, Есенин незадолго до смерти, может быть, Айседора Дункан, Маяковский... А еще прибыл из Ташкента в Москву, чтобы вставить себе золотые зубы, сын того золотозубого, о котором Квицинский писал Караульщикову.

Какая забавная, яркая и веселая вышла бы глава!

...Валентина Петровна после ареста мужа сошла с ума. Приступы болезни чередовались с полосами относительного здоровья и ясной, типично женской памятью на детали и ситуации.

Сын Бату, Эркли, долго бедствовал, беспризорничал, но потом сумел получить высшее образование, теперь доктор наук, хирург.

— Ты знаешь, Камиль,— говорит мне Эркли.— Бабушка рассказывала, как пришла в ЦК к твоему отцу, а ее не пускают: «Кто такая? Зачем?» Она говорит: «Я Акмаля Икрамова мама». Там один милиционер был узбек, он говорит: «Неправда, мама у Акмаль-ака перед революцией умерла. Отец тоже скоро умер, жениться не успел, откуда мама может быть?» А твой отец услышал, наверно, разговор, выглянул

из окна и сказал, что правда это его мама и надо ее пропустить. «Заходите, мама, заходите».

Что мы знаем о том времени? Может быть, о своем мы знаем не больше.

Мы сидим в доме сына Бату за дастарханом, беседуем уже не о наших отцах — о наших детях. Жена Эркли, Аза, говорит, что слышала обо мне, когда работала участковым врачом в Москве. Однажды ей пришлось заменять другого врача, и на Серпуховской улице в деревянном доме она лечила от простуды безногого мотоциклиста. Он очень интересовался Узбекистаном и сказал, что знает сына Икрамова.

Этот безногий мотоциклист был моим тренером в спорт-обществе «Трудовые резервы»

Мир тесен, люди! Связи наши становятся все более и более причинными, и следствия этих причин будут наступать значительно быстрее, чем прежде.

Среди всевозможных догадок о методах пыток, истязаний, медикаментозного и гипнотического воздействия на подсудимых есть и такая: на скамье подсудимых сидели не Бухарин, Рыков, Икрамов, Ходжаев, Зеленский и т. д., а их двойники. Мне бы хотелось, чтоб было так. Очень страшно думать о том, какими средствами следователи добились от моего отца того, чего они добились.

(Вот уж много лет отгоняю от себя одно воспоминание. Жизнь свела меня с узбеком, которого я бы назвал последним проходимцем, если бы он на каждом повороте истории не оказывался точкой приложения сил могущественных и неотвратимых. В 1938 году он отбывал срок за подпольную врачебную деятельность, он был табибом, лечил молитвами, заговорами и выдавал себя за прямого потомка пророка Мухаммеда. Срок подходил к концу, когда его внезапно из лагеря привезли в Москву на Лубянку, держали там весь февраль и часть марта без допросов, изредка только в камеру приходили какие-то большие начальники, оглядывали. Этот человек на основании каких-то своих сведений говорил, что его готовили вместо Икрамова. «Я боялся, что меня вместо него и расстреляют».)

В справке Верховного суда о реабилитации А. Икрамова сказано: «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Невиновен — это ясно и без вновь открывшихся обстоятельств. Не о том я пишу. Как это было? Как это могло случиться?

Но вернемся к процессу

Вечернее заседание 5 марта. Триста пятая страница стенографического отчета. Допрос подсудимого Икрамова.

«На путь антисоветских действий я вступил в 1928 году. Правда, еще в сентябре 1918 года я вступил в легальную молодежную организацию националистического типа. К троцкистской оппозиции я примкнул в 1923 году».

Так мой отец начал свои показания. Вряд ли стоит приводить их полностью. Отец признает себя виновным, когда речь идет о виновности вообще, но когда дело касается других лиц, пытается сопротивляться.

Я пишу: «так мой отец начал свои показания», «пытается сопротивляться», а ведь неизвестно, был ли там мой отец, и если был, то верно ли записаны его показания в стенографическом отчете. Ведь авторы процесса, совершив то, что они совершили до судебного заседания, могли пойти на простую фальсификацию материалов после процесса. Пусть читатель простит мне эти частные сомнения. Ведь главное-то подтвердилось: осудили и расстреляли невиновных.

И все-таки временами мне кажется, что на процессе был мой отец.

Вышинский. Рамзи участвовал вместе с Бату в этом убийстве?

Икрамов. Нет, он в убийстве не участвовал, потому что его не было в Узбекистане.

Вышинский. А Бату участвовал?

Икрамов. Об этом я уже сказал вчера. Я могу говорить только на основании официальных материалов.

Вышинский. Но Рамзи в это время был разоблачен как член вашей организации?

Икрамов. Я не помню. Качимбек и Назиров были разоблачены.

Вышинский. А Назиров участвовал в убийстве?

Икрамов. Нет.

Вышинский. А кто из них участвовал в убийстве?

Икрамов. Я могу сказать только на основании официальных материалов. Из участников этого убийства помню: Бату, Саидова...

Какие это официальные документы, остается только догадываться. Очевидно, это официальные документы ОГПУ, с которыми знакомили секретаря ЦК. А может быть, с этими документами знакомили уже арестованного.

«Я могу сказать только на основании официальных материалов». И. А. Зеленский об «официальных материалах» против Рамзи и Бату знал, полагаю, больше, чем мой отец. Думаю, что Исаак Абрамович верил документам органов ОГПУ. А может, и не верил? Но спрашивают не его, а Икрамова.

Интересно другое. Подсудимого, признавшегося в предательстве, вредительстве, терроре, шпионаже и всех вообще смертных грехах, спрашивают:

Вышинский. Нет, вы ответьте сначала на вопрос: удалось вам завоевать массы?

Икрамов. Нет, не удалось.

Вышинский. И не удастся.

Икрамов. И слава тебе, господи, если не удастся.

Вышинский. Какие же вы хотели принимать меры, чтобы оградить себя от тех честных граждан, кто вас разоблачал? Абид Саидова за что убили?

(Между тем вопрос о подлинных убийцах Абида Саидова ранее так и не был решен. Вышинский ушел в сторону от этого вопроса.— К. И.)

Икрамов. Абид Саидов был нечестный человек, и я убежден, что он попал бы в тюрьму или убежал. (Очевидно, за границу. Такие случаи были в двадцатых и начале тридцатых годов.— К. И.) Он был раньше организатор басмачества.

Вышинский. Он бы сидел, по вашему мнению, а вы уже сидите. Так что вы нам не говорите, что он нечестный. За что он был убит?

Икрамов. Я это только по официальным материалам сообщаю.

Вышинский. Как вы знаете по официальным материалам, за что убили Абид Саидова?

Икрамов. За то, что он разоблачил «Милли Истиклял».

Вышинский. То есть вашу контрреволюционную организацию?

Икрамов. Да.

Вышинский. Значит, поступил как честный гражданин.

Икрамов. Возможно.

Вышинский. Как это «возможно»? Я думаю, что он поступил как честный человек, разоблачил контрреволюционную организацию. Ведь он погиб за это?

Икрамов. Да. (Жаль, что интонация не фиксируется стенограммой.— К. И.)

Вышинский. Погиб за Советскую власть?

Икрамов. Да.

Вышинский. Как же вы позволяете себе говорить о том, что он нечестный человек?

Икрамов. Он был одним из организаторов басмачества.

Вышинский. Кто он был — это один вопрос. А вот кем он стал? Он стал вашим разоблачителем.

Икрамов. Нет, не нашим разоблачителем.

Вышинский. Он разоблачил контрреволюционную организацию?

Икрамов. Да

Вышинский. Но ведь вы тоже были членом контрреволюционной организации?

И крамов. Да. Вышинский. Значит, вашим?..

Я выхватил этот удивительный, на мой взгляд, диалог из текста, состоящего в основном из сплошных самооговоров, самобичеваний и саморазоблачений. Непонятно, почему вдруг такое упорство из-за мелочи, из-за характеристики человека, весьма далекого от моего отца? Почему вдруг такое даже не упорство, а упрямство, такое нарушение всей логики поведения на суде из-за частности, не имеющей для судьбы обреченного никакого значения?

Не знаю. То ли гипноз стал проходить, то ли медикаментозное воздействие ослабело — не знаю. А может быть, просто, вопреки договоренности все признавать, отец зацепился за этот факт в естественном бунте личности против насилия. Возможно, это минутное пробуждение дремлющего или полумертвого от пыток сознания. (Теперь я знаю, что в самом конце тридцать седьмого отец пытался покончить самоубийством. Есть в деле его записки: «т.т. Сталин и Ежов! Прошу верить, что я никакого отношения к контрреволюции не имею...» «Нарком, простите. Вчерашнее обвинение Матвеева терпеть нельзя. Икрамов». «На себя наклеветал. Больше не могу...»

Есть и акт о нанесении себе ранения лезвием, безопасной бритвы в области шеи. Надо думать, что наказали того, кто не уследил, как Икрамов достал бритву или ее осколок. А того, кто неусыпно глядел в глазок камеры, вовремя ворвался в нее и вызвал тюремного врача, возможно, поощрили.)

Я не берусь более определенно комментировать диалог палача и жертвы. Пусть кто-нибудь другой попробует. Но все-таки я думаю, что спорил с Вышинским не артист, не дублер.

Дастархан

Порой ума не приложу, изо всех сил стараюсь вспомнить, откуда у меня эта фотография, эта газетная вырезка или копия приказа о сборе продналога в Ферганской

области. Зачем он попал ко мне, этот приказ, ведь не отец его подписывал. Подписи тоже мне ничего, кроме побочных соображений, не говорят: «Фероблпродкомиссар Красе, начзаготовок Ионис, завканц Эйдригевич».

Написал насчет побочных соображений и понял, что должен о них рассказать. Никто не заподозрит меня в национализме или антисемитизме, но вот то, что Красе, Ионис и Эйдригевич не местные жители, не знают они всех местных условий и корней здесь не имеют,— это существенно.

И в антиполонизме меня упрекать не следует. Фамилии Квицинского и Вышинского рифмуются случайно, а вот то, что выходцы из угнетенных национальных групп становятся самыми отъявленными негодяями из наемников,— этот факт требует осмысления. Как опасно неравенство малой нации и как большая от этого может пострадать!

Сколько бы ни думал; сколько ни читал, а ничего лучше ленинских работ по национальному вопросу не знаю.

И эта бумажка, откуда она? Фотокопия телеграммы МСК Ташкента 1490736141855 нмск Наркомпрос Союза Крупской.

В телеграмме отец заверяет Надежду Константиновну, что Ташкентская публичная библиотека полностью будет сохранена, что участок, предназначенный для строительства ее нового здания, будет освобожден, что не будет допущена задержка или перенесение места стройки.

Говорят, что фонды этой библиотеки благополучно пережили многие годы, а вот разграблению и уничтожению подверглись совсем недавно.

...Фергана. Отец был здесь секретарем обкома в самые трудные годы. У меня много добрых знакомых и друзей в городе и области. А когда-то я оказался там в первый раз, приехал выступать на республиканском семинаре очеркистов. Прямо из аэропорта я уехал к людям, знавшим отца, слушал их, записывал на диктофон и в блокноты их рассказы, а в гостиницу вернулся к полуночи.

Мой сосед по номеру — заместитель председателя Союза журналистов Узбекистана Николай Дмитриевич Уваров не спал. Он смотрел телевизор, машинально брал из какой-то корзины персик, косточку клал на стеклянный поднос. Косточек была гора.

— Откуда фрукты? — спросил я, потому что, кроме персиков, увидел еще другую корзину, с виноградом.

— Тебе привезли, в подарок,— сказал Уваров, не отрывая глаз от телеэкрана.— Какой-то раис, типичный, знаешь, председатель, пузатый и с бритой головой. «Здесь живет Икрамов?» Я говорю: «Здесь».— «Вот ему и вам».

Слушай, Николай Дмитриевич. Ты жрешь чужое. Мои друзья знают, что я приеду через два дня, значит, это не они. Икрамов, ты ведь не хуже меня знаешь, фамилия распространенная. Приехал какой-то ревизор Икрамов, ему дали взятку, а ты навалился.

Николай Дмитриевич положил персик обратно в корзину, а в это время в дверь постучали. Вошел тот, кого мне описал Уваров, вошел и сразу кинулся меня обнимать.

Он сидел в холле несколько часов, карауля меня, и не узнал, когда я шел мимо. Неудивительно, что я его не узнал. Это был Каримберды, сын нашего узбекского Калинина, первого председателя ЦИК республики Юлдаша Ахунбабаева.

Кто-то из встречавших нас с Уваровым в аэропорту поехал потом в колхоз имени В. И. Ленина, в знаменитую колхозную баню, а после бани в чайхане сказал, что сегодня встречал московских журналистов и среди них оказался сын Акмаля Икрамова, совсем москвич, по-узбекски почти не говорит. Скоро в чайхану примчался председатель колхоза Карим Ахунбабаев и спросил только одно: «Где он остановился?»

В энциклопедическом словаре сказано: «Ахунбабаев Юлдаш — советский государственный деятель. Член КПСС с 1921 года, участник борьбы с басмачеством, в 1925—1938 — председатель ЦИК Узбекской ССР, депутат Верховного Совета СССР с 1937 года. С 1938 года председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР».

17 февраля 1925 года на Первом всеузбекском съезде Советов рабочих, дехканских и красноармейских депутатов мой отец говорил:

«Товарищи! Прежде чем предложить вам кандидата на пост Председателя ЦИК Узбекской ССР, нужно сказать, что фракция коммунистов (большевиков) думала, кого именно предложить, и при выборе кандидата, прежде всего, учла, что тот товарищ, которого выдвигает наша партия, должен быть обязательно дехканином, батраком. Это потому, что наша страна дехканская, и необходимо, чтобы председатель был таким человеком, чтобы к нему каждый батрак, каждый дехканин мог бы прийти непосредственно и побеседовать с ним о том, что ему нужно, и чтобы наш Председатель удовлетворял их просьбы, и, когда наш Председатель что-нибудь скажет, чтобы дехкане и батраки верили ему. Такого кандидата, который обладал бы всеми нужными качествами, мы нашли в сельскохозяйственной области — Фергане. Там мы нашли батрака, не имеющего ни клочка земли, только что начавшего работать и работающего в Маргеланском уезде в союзе «Кошчи», а именно товарища Ахунбабаева. (Громкие аплодисменты, крики «Ура!») Ваши аплодисменты указывают на то, что фракция нашей партии справедливо, правильно учла, что требуется массам — какой Председатель, какой работник нужен во главе ЦИКа для нашей страны...»

Вряд ли Каримберды знал, что именно и когда мой отец говорил о его отце. Но он знал другое: как относился и что говорил о моем отце его отец. Нет, я не имею в виду тех официальных речей, которые Юлдаш-ака Ахунбабаев должен был произносить

после ареста отца, тех проклятий и оскорбительных кличек, которые сочиняли ему его «помощники». Да, Ахунбабаев говорил много, вернее, все, что положено, но всю жизнь любил и даже почитал моего отца.

О тридцать седьмом мы с Каримберды не говорили. Мы не вспоминали и тех лет, когда жили забор в забор, они на улице Бухарина, мы — на Уездной, и когда мы учились вместе в первом и втором классе неподалеку от конфетной фабрики «Уртак». Учился Каримберды плохо, хотя и я не блистал. Ему было неинтересно в школе, как это часто бывает со смышлеными ребятами, у которых «своих дел» полно. Учился Каримберды плохо, а человеком вырос хорошим, отличным хозяйственником и прирожденным механизатором. Каримберды — достойный сын своего отца, я убеждался в этом всякий раз, когда после той первой встречи заезжал к нему. Оказалось, что он еще и прекрасный рисовальщик. Он нарисовал меня очень похоже, подробно и смешно.

— Приезжай ко мне в Москву,— всякий раз приглашал я его, и он объяснял мне, что ехать одному ему неловко перед женой и детьми, а ехать всей семьей — денег нет.

— Я в Москве был. Мы все вместе были, помнишь? Наши отцы были живы. А дети сами побывают.

О Каримберды, настоящем узбеке, нужно было бы писать отдельно, но я пишу не о нем.

Мы миновали Фергану и Маргелан, въехали в прекрасную современную колхозную усадьбу, не остановились там, а только чуть притормозили у той чайханы, где Каримберды узнал о моем приезде. Он сам вел машину и, судя по всему, стремился куда-то, к какой-то точке.

Отсутствие мостика не остановило нашего движения. Мы вышли из машины и грузно заскакали через арыки, пошли по меже и наконец остановились. Каримберды стал объяснять мне, что теперь вся эта территория вошла в колхоз имени Ленина, а когда-то именно на этих «картах» был первый в здешних местах колхоз, и назывался он именем Икрамова. «Вот старики, видишь, пойдем туда, они подтвердят». Я не мог противоречить, хотя сказал: «Я верю тебе, зачем подтверждать?» — «Пойдем, пойдем, неужели не понимаешь, они специально пришли, чтобы посмотреть на сына Акмаля-ака. Им очень важно увидеть, что ты живой».

Весной и летом тридцать восьмого года весь Ташкент был заклеен гневными карикатурами на врагов народа. Моего отца изображали чаще всего в виде скорпиона.

Брат мой Амин, сын старшего брата отца, рассказывал:

— Однажды я пошел к ребятам в обсерваторию. Пока из Старого города шел, сто этих скорпионов видел. Потом ребята в обсерватории меня угостили портвейном. Знаешь, с непривычки сильно подействовало. Иду домой, покачиваюсь, по улице

Бухарина иду, она тогда Орджоникидзе уже была. Иду, понимаешь, и вижу: возле своего дома сидит на лавочке Юлдаш-ака Ахунбабаев. На лавочке, рядом с милиционером. У него милиционер был узбек, тоже с усами и бородой, они похожи были. Сидят два узбека и беседуют. А вечереет. Я на другую сторону улицы перешел, чтоб они меня не узнали, а он узнал и позвал: «Иди сюда!» Сам знаешь, нельзя было в то время, чтобы взрослый узбек увидел выпившего парня. Это же позор! Это раньше позор был на всю жизнь, если от тебя вином пахло. Я стою красный, а он мне говорит: «Как тебе не стыдно пить, Амин, дорогой, как не стыдно! У тебя такая семья хорошая, такой великий, такой замечательный человек дядя у тебя был, а ты пьешь, позоришь их. Иди, больше не пей!» Ты понимаешь, весь город заклеен: «Икрамов — шпион! Икрамов — скорпион!» А он: «Иди и больше не пей». Не одни мы были, рядом же милиционер сидел, он же мог донести, понимаешь. Я тогда от этих слов сразу трезвый стал. От страха. Понимаешь, я же верил, что шпион, что скорпион.

Прошли годы, идут новые, а я все больше проникаюсь любовью и благодарностью к этому простому узбекскому дехканину из кишлака Жойбазар.

Я рассказал Каримберды про встречу его отца с Амином, он не удивился.

— Отец всегда так говорил дома. Ты знаешь, чего я не могу простить Усману Юсупову? Он не выполнил последнюю волю отца. Пообещал и не выполнил.

Последняя воля всеузбекского старосты, в чем она?

Каримберды рассказал мне, как собрались руководители республики вокруг Ахунбабаева. Мне представилась почему-то конкретная комната в его доме, парадная, где я чаще всего бывал... Там в этой комнате стоял замечательно сделанный макет железнодорожного состава, там Буденный «произвел» меня в комбриги, отцепив со своих петлиц и воткнув в петлицы моей детской гимнастерки по ромбу. Как сейчас вижу эту комнату...

Собрались в этой комнате руководители республики и стали спрашивать, кого Ахунбабаев хотел бы видеть своим преемником. Перечисляли различные кандидатуры.

— Пусть будет любой, но обязательно пусть он будет грамотный.

Каримберды всерьез обижен на тех, кто обманул отца.

— Обещали назначить грамотного, а назначили такого же неграмотного, как отец.

...В книгах и фильмах иногда появляется Юлдаш Ахунбабаев, но это плоская, фанерная фигура, говорящая с акцентом тексты, которые предварительно уже произнес по радио диктор Юрий Левитан. А мне рассказали, как в те страшные годы прибежал к нему один узбекский интеллигент с мольбой о защите: «Из партии исключили, с работы выгнали, теперь каждый день жду, что заберут. На вас одна надежда, Юлдаш-ака. Вы наше солнце, ведь Икрамова забрали, Ходжаева забрали... Вы наше солнце!»

Ахунбабаев показал на люстру: «Как эта люстра, да?»

«Да, конечно, от вас весь свет».

«Я как эта люстра,— подтвердил Ахунбабаев.— Я как эта люстра. А выключатель вон там».

Отец познакомился с Ахунбабаевым в 1920 году, когда был секретарем Ферганского обкома. Входили в эту область четыре нынешние, а центром был город Скобелев, о пере: именовании которого только еще шли дебаты. Убогие кишлаки, роскошные мазары и мечети, азиатские города и городки с улочками в одну арбу, святые места в горах под чинарами и ореховыми рощами, мавзолеи с малодостоверными легендами о том, кто в них покоится, а в центре всего этого — Скобелев, русский город.

Бывший активист ферганского комсомола Г. С. Ячник, умерший сравнительно недавно в Костроме, аккуратным почерком исписал много страниц, где есть и очень важные строки о моем отце. Замечательные по своей правдивости и памяти на детали письма я получаю из Коканда от А. И. Артемьева. Пожалуй, стоит на основе этих достоверных сведений нарисовать картину.

Барон Николай Александрович Фредерике приходился племянником бывшему министру двора его императорского величества. В Туркестане побывал еще в чине мичмана, когда путешествовал вместе с дядей. Второе его путешествие по Туркестану было вынужденным и затягивалось до бесконечности. Он часто вспоминал своего первого учителя — Василия Васильевича Верещагина. Свет азиатский, воздух, само солнце получались в его полотнах верно, а вот в жанре учитель бывал не в меру романтичен. Василь Васильич к занятиям молодого барона живописью относился со вниманием и одобрением, хвалил руку и глаз. Редко встречались они, но и те немногие уроки сегодня спасали жизнь барону. И от расстрела спасли, и от голода спасают.

Он стоял перед мольбертом в раздумье. Лицо на холсте ему категорически не нравилось. Он боялся, не сочтет ли заказчик такой портрет карикатурой.

Писал Фредерике «сухой кистью», быстро, каждое движение оживляло лицо. Прикоснулся к виску — и чуть оттопыренное ухо, существовавшее само по себе, приросло к голове; еще два тычка кистью — и заблестели у Троцкого, отражая невидимый свет, стекла очков.

Рядом на земляном полу стояли вполне готовые портреты Маркса, Энгельса и Ленина. Лучше всех выглядел Маркс, густота шевелюры, мощь бороды и смуглое лицо выделяли его среди прочих.

Заказчик вошел в павильон, поздоровался и молча смотрел на портреты. Николай Александрович знал, что это товарищ Икрамов, но в чинах и должностях нынешних начальников разбирался с трудом. Художник был невысок, изящен лицом и фигурой, сильно поношенные английские ботинки с крагами и сероватые бриджи сидели ладно,

белая солдатская рубаха сияла чистотой. Художник чувствовал, что начальник относится к нему с уважением.

— Откуда срисовывали? — спросил Икрамов.

Художник показал. Оригиналами служили газетные фотографии, напечатанные на плохой бумаге с текстом, проступающим с оборота листа. Как мог этот человек с таких плохих фотографий сделать такие прекрасные портреты, подумал Икрамов.

Художник хотел обратиться к начальнику с просьбами, но не был уверен, что может называть его товарищем. А как надо? Фредерике знал местную шуточку: товарищи — товар ищи. Ищи товар! Жулики. Грабители. Шуточка была мещанская, не ахти какая уж остроумная, но все же.

— Как ваша фамилия? — спросил Икрамов. Кажется, впервые поинтересовался.

— Фредерике,— ответил художник.— Но я не сын министра, а племянник.

Судя по тому, как ни в чем не изменилось выражение его лица, Икрамов и про того Фредерикса ничего не знал, смотрел на портреты, стоящие рядком, и явно был доволен. Про художника он знал со слов заместителя начальника ЧК Хабибуллы. Взят в плен художник где-то в туркменских пустынях, там его почему-то не расстреляли, хотя установлено, что он белый офицер.

— Где научились рисовать, товарищ Фредерике?

Вот те раз, я стал товарищем, удивился про себя художник и ответил подробно:

— С детства мне давали уроки весьма крупные живописцы, потом два, вернее, полтора года в Академии художеств, но не кончил по личным обстоятельствам.

Можно было бы этим ограничиться, но Икрамов смотрел с интересом, и художник, смутившись, продолжил:

Мой отец прочил мне военную или военно-морскую карьеру, дядя по матери был командиром императорской яхты, но карьера моя оборвалась из-за дуэли. Наш полк стоял в Туле....

— Вы с Толстым встречались? — спросил Икрамов, и этот вопрос вовсе сбил с толку Фредерикса.

— Я видел его однажды на Курском вокзале.

— А могли бы вы его нарисовать?

— Если прикажете. Его Илья Ефимович хорошо знал, Репин.

Художник снял с мольберта готовый портрет, поставил рядом с тремя, отошел в сторону, вгляделся.

— Маркс вылезает,— сказал он.— Не правда ли?

Икрамов понял, что хотел сказать художник, осторожно заметил:

— Вам видней, но висеть они будут не рядом, а на порядочном расстоянии.

— Энгельса я еще разок пройду,— сказал Фредерике.— Бледноват вышел. В таких работах нужен особый навык, а техника для меня новая. Я акварель люблю и писал больше пейзажи, леса, стога, слабый свет, знаете. Под Ревелем у нас имение было, там хорошо работалось.

Он вскинул портрет Энгельса на мольберт, начал работать. Фредерике ждал, что Икрамов уйдет, но тот смотрел, прислонясь к косяку павильона.

Когда-то, совсем еще недавно, город Скобелев считался жемчужиной Туркестана, умно распланированный, с тенистыми парками, зелеными лужайками, зданиями административными, военными, прекрасными собственными домами, а также с мужской гимназией, женской прогимназией, высшим начальным училищем и двумя вполне приличными приходскими школами.

В этом пустом парковом павильоне, где сейчас трудился барон Фредерике, до революции продавали мороженое, зельтерскую воду, пирожные и жареные орешки. По вечерам тут гремел медью гарнизонный духовой оркестр, на скетинг-ринге на роликовых коньках катались гимназисты-старшеклассники, молодые офицеры и местные барышни из хороших семей.

Фредерике бывал в провинциальных городах России, посещал, как и положено холостому офицеру, вполне приличные, менее приличные и вовсе неприличные места и заведения, но здесь, в Скобелеве, даже перед катастрофой семнадцатого все было несколько иначе, нежели в Туле или во Пскове.

— Вы обедали? — спросил Икрамов и смутился.— Простите, забыл имя и отчество.

— Вы не забыли, вы не спрашивали.

— Простите.

— Николай Александрович, как покойного императора. Легко запомнить.

Это был выпад, в котором Фредерике не мог себе отказать. Не убьет же этот большевик за «императора». Что тут такого.

— Вы замечательный художник, Николай Александрович. Замечательный!

— О вкусах не спорят. Репин меня недолюбливал даже в качестве ученика. Верещагин относился сдержанно, а вам я понравился. Как говорят историки искусств, признание пришло неожиданно.

Видимо, Икрамов уловил иронию, стал сдержаннее.

— Сегодня с трех часов в здании бывшей женской прогимназии будут выдавать талоны на обед для работников умственного труда. Я дам распоряжение, чтобы вас включили в список вместе с учителями и музыкантами духового оркестра.

Фредерике питался скудно, и перспектива каждый день получать обеденный талон лишила его охоты ерничать. Он с радостью решил сопровождать Икрамова в женскую прогимназию, ибо куй железо, пока горячо.

— Говорят, что вам помогло спастись ваше умение рисовать? — спросил Икрамов, когда они вышли из парка на улицу. Он судил по себе, на него всякий талант действовал обезоруживающе.— Вас простили за талант?

— Ну что вы, товарищ Икрамов,— рассмеялся Фредерике. Его ноги в блестящих крагах и тупоносых ботинках семенили рядом с размашистым шагом спутника.— Талант, как известно из истории, чаще приводит к гибели, нежели к спасению

Профсоюз работников умственного труда только что сформировался, только что обрел признание властей; получил материальную поддержку, но уже находился в состоянии раскола. Бывший директор гимназии признал Советскую власть и претендовал теперь на ведущую роль в профсоюзе, а учитель высшего начального училища, поэт и ярый прогрессист, требовал исключения директора, ибо надворный советник никак не может быть приравнен к числу рядовых работников умственного труда.

Именно в разгар весьма острых дебатов на эту тему в класс, где происходило заседание оргкомитета профсоюза, вошел Икрамов. Его знали, знали, что именно он поддержал организацию профсоюза, но сейчас было не до него. Послушав споры и искренне огорчившись всем услышанным, Икрамов вышел во двор, где его ждал Фредерике.

— Один мудрец из персов надоумил,— продолжал свой рассказ художник Фредерике.— Мы вместе ждали расстрела, он — по имущественному признаку и в связи с частыми поездками за границу, я — по вполне вам понятному принципу: классовому Вдруг приехала какая-то высшая комиссия не то с самим Фрунзе, не то от самого Фрунзе, кого-то из наших мучителей отстранили от должности, кого-то расстреляли за взятки и злоупотребления, а нас начали допрашивать заново. Перс этот посоветовал: фамилия у вас записана правильно? Немецкая фамилия. Скажите им, что вы пленный австриец, по-русски старайтесь вообще не говорить, старайтесь по-немецки.

— А вы умеете? — спросил Икрамов.

— Больше люблю английский и французский. Так я и сделал. Они спросили, как я отношусь к Марксу, я ответил, что отношусь хорошо. Мне дали со склада эти ботинки с крагами, два фунта хлеба для совершения мировой революции и документ, который никто не хочет признавать.

Откровенность и словоохотливость художника почему-то раздражали Икрамова. Он вспомнил портреты вождей, которые ему так понравились час назад, и портреты эти ему сейчас тоже не понравились.

В обкоме его ждал комиссар Хабибулла с телеграммой о том, что главарь банды басмачей Исламбек доставляется из Намангана под усиленным конвоем.

— Здесь будем судить, Акмаль. Здесь, чтобы все видели, чтоб неповадно было.

Хабибулла очень гордился тем, что курбаши Исламбека будут судить в Скобелеве. Это он обманом заманил кровавого главаря басмачей на переговоры, где в засаде сидела целая рота красноармейцев. Почти без жертв взяли. Пятеро убитых басмачей, двое наших, а у Хабибуллы Исламбек выбил головой четыре передних зуба. Под Наманганом в горах это было, а потом в обкоме при обсуждении итогов операции, когда все радовались и поздравляли Хабибуллу, Икрамов заявил:

— А на Коране и на хлебе клясться ты не должен был.

— Он бы не поверил.

— Не должен,— сказал Икрамов, и в голосе его звучали не секретарские, а какие-то совсем домашние ноты.— На хлебе и на Коране — не должен.

— Он заставил. Он говорил: «Если поклянешься на Коране, я поверю». Я поклялся. Он опять говорит: «Поклянись на хлебе». Еще молитву заставил читать. Я молитвы читаю, как мулла, я в Казани зря, что ли, пять лет учился.

— Ах, не надо было! — крякнул Икрамов.

— Ты верующий, что ли? Ты боишься, что меня Аллах покарает?

— Я боюсь, что люди о нас скажут. Нельзя клясться тем, что свято тебе, но и тем, что для других свято, тоже нельзя клясться. Забыл, как это по-русски называется.

— Обман?

— Хуже.

Хабибулла рассердился, сквозь дыру в зубах плюнул за окно.

— Брось, Акмаль. Ты завидуешь. Просто завидуешь. Или в тебе еще не до конца изжито твое происхождение.

— А в тебе до конца?

— До конца! А что — это плохо?

— Не знаю. А вот слово я вспомнил — кощунство. Или надругательство.

Хабибулла взорвался:

— Они же нас каждый день, каждый час, каждую минуту готовы обмануть, а мы их не можем?

Икрамов подошел к окну, выходящему в сад, где на деревьях висели уже вполне съедобные, хотя и кислые плоды урюка и вишни.

— Однако он поверил тебе, когда ты клялся на хлебе и на Коране...

Иногда я позволяю себе дорисовать картину потому, что не могу себе позволить назвать подлинных прототипов этих вполне документальных эпизодов. Еще двадцать лет назад жил под Москвой и преподавал рисование в школе художник с более знаменитой и менее почетной фамилией, чем та, которую я ему дал здесь. Недавно умер Хабибулла. У него было два ряда золотых зубов... А папки, листы, конверты так и прут на меня из всех углов, со всех полок. Трудно найти ту бумагу, которую в данный момент ищешь, а посреди стола или на полу вдруг лежит другая и сама просится в книгу.

Дастархан моих бумаг — это теперь скатерть-самобранка.

Дело моего отца

Не знаю, был ли случай, чтобы я, оказавшись в Октябрьском зале Дома союзов или проходя мимо этого здания, не думал бы о том, как сюда привозили отца и других подсудимых, через какой подъезд вводили, по каким лестницам вели.

А стенографический отчет этого процесса?

Так трудно взять его в руки, хотя он всегда под рукой, так трудно читать любую страницу, что силы собираешь иногда целую неделю. Особенно трудно читать все, что касается отца.

Так и вижу, как нависает над моим склонившим стриженую голову отцом Генеральный прокурор СССР Вышинский.

— Нет, вы ответьте сначала на вопрос: удалось вам завоевать массы?

— Нет, не удалось.

— И не удастся.

— И слава тебе, господи, если не удастся.

…

— Как вы знаете по официальным материалам, за что убили Абид Саидова?

— За то, что он разоблачил «Милли Истиклял».

— То есть вашу контрреволюционную организацию?

— Да.

— Значит, поступил как честный гражданин.

— Возможно.

— Как это «возможно»? Я думаю, что он поступил как честный человек, разоблачил контрреволюционную организацию. Ведь он погиб за это?

— Да.

…

— Как же вы позволяете себе говорить о том, что он нечестный человек?

— Он был одним из организаторов басмачества.

Зачем я перечитываю и переписываю этот ужасный диалог?

А затем, вероятно, чтобы понять не только то, что послужило самой возможности этого немыслимо циничного и жестокого текста, но и для того, чтобы понять общество, которое могло верить в подобные тексты в тридцатые годы, которое и в пятидесятые и в шестидесятые, когда была возможность во всем этом разобраться до конца, не сумело и не захотело этого сделать и которое сейчас не хочет никак оградить себя и своих детей от новых ужасов.

Почему так?

Все больше убеждаюсь, что наше общество издавна было равнодушно к истине как таковой. К истине исторической, литературной, нравственной...

Издавна?

Да. Очень давно уже повелось все факты нашей жизни считать лишь аргументами в спорах, а не явлениями, из которых нужно делать выводы.

Пожалуй, больше всего это сказалось в литературоведении, но сейчас мне не до него.

Я все-таки опять беру этот толстый том, обернутый в газету шестидесятых годов. И больше всего мне хочется прочесть обертку.

Но нет, читатель!

Перекрестный допрос с Бухариным.

Правда и ложь перемешаны окончательно. Но, прежде чем перейти к этому, должен еще раз отметить: отец в показаниях о других своих «сообщниках» придерживается тактики, понятной лишь тому, кто знает несколько больше, чем просто человек, прочитавший эту стенограмму. Отец дает показания о М. Ширмухамедове, арестованном раньше отца, сломленном в первые месяцы и подписавшем все, что требовали палачи. Формальным руководителем организации «Милли Истиклял» отец называет А. Каримова, человека, которому удалось выброситься из окна в кабинете следователя. Он разбился насмерть во дворе внутренней тюрьмы НКВД в Ташкенте. Пятно крови на асфальте видели многие арестанты. То же касается Балтабаева, стрелявшего в себя в канун ареста и умершего в тюремной больнице.

Между прочим, и Николай Иванович Бухарин одной своей репликой подтверждает мою догадку о линии поведения отца.

«Дело в том, что Икрамов на очной ставке отрицал всякий разговор политического характера. Я заставил его сознаться».

Этой реплике я верю. Мне известно, что показания на Бухарина отец дал только на последнем допросе предварительного следствия. В феврале.

А вот о какой очной ставке говорит Н. И. Бухарин — можно лишь догадываться. Возможно, что Николай Иванович вспоминает очную ставку в сентябре тридцать седьмого, когда отец еще был на свободе... Нет, читатель, этим людям я не судья! А вы?

Итак, вечернее заседание пятого марта 1938 года. Икрамов ... Зеленский тут говорил относительно своего лозунга «догнать и перегнать». Это правильно. Такой лозунг был выдвинут: Перефразировав установку Зеленского, я дал такую установку: Узбекистан — хлопковый район, сельскохозяйственный район, поэтому в деле коллективизации мы не должны отставать от передовых районов Советского Союза. В результате этого в ряде районов были массовые выступления против колхозов.

Вышинский. То есть этот лозунг был провокационным?

Икрамов. Да, этот лозунг был провокационным,

(Явная липа. А далее — смесь.— К. И.)

Икрамов. ...Непосредственную контрреволюционную связь с правыми я установил в 1933 году в Ташкенте. Бухарин приехал в Среднюю Азию отдыхать. До тех пор у меня с ним не было никаких дружеских отношений. Он дал телеграмму, что едет отдыхать. Он приехал ко мне и дней 7 или 8 жил у меня на квартире. Мы вместе

ездили на охоту, на дачу, всегда вместе были. В это время у нас установились связи — организационно-политическая связь с правой контрреволюционной организацией и правым центром. Бухарин сначала завел разговор о коллективизации, о колхозах, что это неправильная линия. Повторил старый, общеизвестный, бухаринский тезис о военно-феодальной эксплуатации крестьянства.

Вышинский. В 1933 году?

Икрамов. Да. Сравнивал колхозы с барщиной...

Где достигнуто это дьявольское смешение правды с ложью? Во время пыток перед судом? Бесспорно. Но было ли это смешение на самом процессе? Или стенограмма «дополнена и исправлена» после суда? Видимо, так. Среди редакторов явно были люди с литературными задатками. У некоторых они даже осуществились. Популярностью пользуются у нас произведения одного из следователей по этим делам Льва Шейнина.

Икрамов. ...Дальше Бухарин говорил, что партия и Советская власть ведут неправильную линию, что индустриализация не нужна, что индустриализация ведет к гибели.

Вышинский. Индустриализация ведет к гибели?

Икрамов. Да. Наряду с этим он сказал, что не верит в тезис Ленина, что отсталые колониальные страны при поддержке передового пролетариата могут прийти к социализму, минуя стадию капитализма. Бухарин считал, что в таких республиках, как среднеазиатские, это невозможно и что им придется обязательно пройти стадию нормального развития капитализма.

— НУ И ЧТО ЖЕ,— скажет сегодня внимательный и непредубежденный читатель.— Вполне понятный теоретический спор. Возникла эта проблема давно, и Бухарин писал об этом. Были дискуссии о нэпе и о государственном капитализме.

Так скажет и сегодняшний непредубежденный читатель. Сейчас предубежденных мало. Видимо, это и называют утра той убежденности. Но тогда предубежденность была главным идеологическим требованием.

Итак, в то время разговоры о госкапитализме, о военно-феодальной эксплуатации крестьян и, конечно же, о нэпе уже были криминалом в глазах широкой советской публики. И те, кто разделял мысли Бухарина, наверняка знали, что это криминал. Говорить об этом было нельзя задолго до процесса.

Но Вышинский был юристом и знал, что в глазах между народного общественного мнения подобных «признаний» недостаточно. Нужно было вырвать и другие.

Вышинский. То есть он предлагал в Узбекистане восстановить капитализм?

Икрамов. Да, именно так. Я с ним согласился, так он меня завербовал...

Так старый коммунист-подпольщик, любимец партии, по словам Ленина, Николай Бухарин завербовал для борьбы с партией и Советской властью для восстановления капитализма одного из первых узбеков-коммунистов, первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Акмаля Икрамова.

Меня ничуть не волнует то, что будущие историки не смогут понять, какая здесь липа. Меня волнует и беспокоит то, что стасемидесятимиллионный народ Советского Союза мог поверить в это. Неужели поверил? Я не понимаю, почему и сейчас я должен сомневаться, увидят ли мои записки свет Хочу верить, что увидят.

Но крупица правды, видимо, есть. Бухарин действительно мог говорить с Икрамовым о просчетах коллективизации, о нэпе, о методах индустриализации. Видимо, он счел возможным откровенно говорить с моим отцом о том, что казалось ему вредным и опасным в политике Сталина? Все эта происходило в период подготовки к XVII съезду ВКЛ(б)

Вышинский. Это изложено было в 1933 году?

Икрамов. Да, в августе или сентябре.

Вышинский В течение нескольких дней пребывания у вас в гостях?

Икрамов Да

Вышинский Это все, что говорил и передал Бухарин?

Икрамов Это все, потом были другие встречи, другие вопросы.

Вышинский. Это уже в другие годы?

Икрамов. Да.

Вышинский. Я Бухарина хочу спросить. У вас было свидание с Икрамовым в 1933 году?

Бухарин. Было, я жил у него в течение нескольких дней в 1933 году

Вышинский. Значит, он правильно рассказывает?

Бухарин. Совершенно верно.

Вышинский. Были политические разговоры?

Бухарин. Были.

Вышинский. Икрамов правильно излагает их?

Бухарин. В основном я держался рютинской платформы.

Вышинский. В основном правильно излагает?

Бухарин. Что считать основным.

Вышинский. Вы предлагали ему вместе с вами бороться против Советской власти?

Бухарин. Да.

Вышинский- Затем говорили, какие методы в этой борьбе применить?

Бухарин. Методы, которые входят в рютинскую программу. Там было глухо и о терроре.

Вышинский. О вредительстве тоже с ним говорили?

Бухарин. Нет, не говорил.

Вышинский. Что же, он неправильно показывает?

Бухарин. Он, очевидно, спутал.

Вышинский, Может быть, попозже говорили?

Бухарин. Дело в том, что Икрамов на очной ставке отрицал всякий разговор политического характера. Я заставил его сознаться Вышинский. Бывает, что не хочет говорить, а потом перекрывает.

Бухарин. А потом хочет перекрыть.

Вышинский. Бывает. Вот мы и проверяем.

Бухарин. Я хочу сказать, что я не отрицаю, что все установки давал, что я вербовал его и что я первый завербовал его в правую организацию.

Вышинский. Это вы признаете? Я ставлю вопрос — он ничего не перекрывает, он говорит правду?

Бухарин. Да, да.

Это короткое «да, да» меня поразило. Почему Николай Иванович без всякой видимой логики перестал возражать Вышинскому. Что он вспомнил, что подумал? Может быть, он поглядел на отца в этот момент? Какие были у них глаза?

Сын Николая Ивановича Бухарина тогда был совсем маленьким, таким маленьким, что не только не помнил отца, но лишь через много-много лет он узнал о том, чей он сын. И по сей день носит он фамилию матери, под ней и проходят выставки его картин. На двух таких выставках удалось побывать и мне.

Что думал Николай Иванович о жене и сыне?

А что, если только это короткое «да, да» сохранило жизнь Анне Михайловне и сыну Юре, которому шел второй год.

...Художник Юрий Ларин известным себя не считает, выставляется редко, пишут о нем пока только серьезные специалисты и только в специальных изданиях. Я лично не могу судить о его работах, потому что сильно подслеповат, если не сказать, что малость слепой. Очки у меня — минус 24, помутнение хрусталиков, и нарушено цветовосприятие. Теперь это называется как-то мудрено, а прежде — дальтонизмом.

При всем том на выставки Юрия Ларина я хожу, ибо в судьбе художника видится мне осуществление некоей высшей, божественной справедливости. А пишут о нем хорошо и подробно: «Именно в этот период у Ларина складывается то, что он называет «концепцией хорошей работы». В изложении художника она выглядит так: «Я заметил, что происходящая у меня на холсте или на бумаге борьба с натурой не была самоцелью, а была борьбой за музыкальное и цветопластическое состояние. Дальнейший ход моих рассуждений подсказал мне, что хорошая живопись обязательно двуначальна, то есть заключает в себе как изобразительную, так и музыкальную стороны. И не является ли конфликт между изобразительным и музыкальным Вечным Сюжетом Живописи? Посмотрев еще раз свои работы, я понял, что хорошие из них те, где состояние борьбы с изобразительностью за музыкальность достигло своего предела, а дальнейшее продолжение этой борьбы привело бы к полной потере изобразительности, а значит — к утрате одного из двух начал. То есть я считаю работу завершенной тогда, когда достигнуто предельное состояние при переходе изобразительного начала в музыкальное. Я всегда очень чувствую этот счастливый для меня момент — работа отрывается от меня и начинает жить собственной жизнью».

«Борьба». «Жизнь». «Счастье». «Концепция хорошей работы». Так и хочется попросить будущих читателей этой книги еще раз пробежать глазами слова Юрия Ларина, того самого Юры, жизнь которого была спасена торопливым «да, да» Николая Ивановича.

— Юра,— говорю я,— хочу написать о тебе в своей книге.

— А чего обо мне писать?

— О торжестве справедливости хотя бы. Какое трагическое начало и какой счастливый на сегодня итог!

— Какое трагическое? — спрашивает он.— Знаешь, я детдом без всякой трагедии воспринимаю. Приезжают ко мне ребята, с которыми вместе были, только веселое и смешное вспоминаем, а на сегодня... Здоровье-то у меня, сам знаешь. Какое тут счастье, рука плохо слушается. Устаю. Читать много не могу.

— Юра,— настаиваю я.— Ты представь себе, что твоя история попадает в руки Диккенса, Гюго или Дюма. Взяли крохотного мальчика, отняли у родителей, отца казнили и опозорили, мать на много лет посадили в тюрьму. Понимаешь, не молодого матроса заключили в замок Иф, а мальчика, и мальчик этот не знал своей подлинной фамилии, отчества и чей он сын. А потом — Москва, известность... Получился бы роман «Человек, который смеется» или «Граф Монте-Кристо»

Юра весело хохочет.

— Ну ты даешь! Интересно у тебя мозги устроены.— И опять хохочет.— Я всегда замечал у тебя тягу к экзотике. Видно, что ты до сих пор находишься под влиянием «Тысячи и одной ночи».

И опять хохочет. Смешно ему все, что касается только его. Об отце думает много, много знает и в чем-то не согласен со своей мамой.

Анна Михайловна живет рядом со мной, по прямой метров двести разделяет наши дома. Это тоже проявление невероятной сюжетности жизни. Анна Михайловна написала мемуары. Отдельные главы я прочел, не со всем там согласен.

— Ваша концепция противоречит моей,— говорю я.— Но долго спорить не смею. Ваше свидетельство важней моих догадок. С Артуром Кестлером я тоже не согласен, но пусть каждый скажет, что думает и знает. А косвенным аргументом в пользу вашей точки зрения может служить, пожалуй, вот что: если Николай Иванович был хоть в половину так же оптимистичен и наивен, как Юра...

Она перебивает меня:

— Николай Иванович был в десять раз наивнее Юры! В десять раз! Он все видел своими глазами, но очень долго верил, что Коба его любит и не убьет. Я считаю, что в тридцать третьем году Николай Иванович понимал неизбежность войны с Гитлером и что промышленность необходима, пусть построена она ценой огромных жертв. И если он и разговаривал с Акмалем об этих огромных жертвах, то не так определенно. Ведь он не был в принципе против коллективизации.

— Но против методов!

— Он был против насильственной коллективизации...

— Но, Анна Михайловна,— взмолился я.— Все это так, я вам верю, но — военно-феодальный способ эксплуатации крестьянства...

— Конечно. Это он на июльском Пленуме сказал, в двадцать восьмом году...

— Формулировка была резкая,— перебиваю я.— И исчерпывающая!

Мы вышли на лестницу покурить. Анна Михайловна стряхивает пепел в спичечный коробок и рассказывает, рассказывает... Честная память, точные детали, юмор, который был тогда, и юмор нынешний, даже — нынешний молодежный.

И вот получается, что Н. И. Бухарин в 1928—1929 годах и в 1933—1934-х совсем разные люди. Я же настаиваю на своем.

— Формулировка Николая Ивановича была научной и не давала пути для отступления.

— Да, но тем не менее он пошел на «чрезвычайные меры», хлеба-то не было, хлеб припрятал кулак... И Сталин сам ездил в Сибирь. Рыков и Томский пошли на «чрезвычайные меры». Под давлением, но пошли. Ведь вопрос стоял: или признавай свои ошибки, или... При Ленине так не могло быть. Ленин требовал подчинения решениям партии, а не отказа от собственного мнения вообще. Если бы не угроза фашизма, Николай Иванович не переменил бы своей точки зрения...

Мы уже покурили, сидим на кухне и говорим о рютинской платформе. Для нас всех нечто известное лишь в общи*; чертах, но для Н. И. Бухарина и для моего отца это было фактом их жизни. И не могли они не вспомнить Рютина, который — это единственное, что я знаю достоверно,— считал Сталина врагом ленинизма и призывал к тому, чтобы удалить его от руководства партией и государством.

Анна Михайловна засобиралась домой, идти недалеко, но время позднее, а завтра день рождения внука — надо на ночь тесто поставить.

— Расскажите про Юру,— прошу я, провожая Анну Михайловну через заснеженный двор.— А то ведь от него ничего толком не добьешься.

Ему было тринадцать месяцев. Меня арестовали в тот день, когда начался суд над Тухачевским. Сначала Юра попал к моей маме. Ее забрали в январе 1938-го. Юрке тогда было полтора года. Его одели, ноги сунули в валенки и увезли куда-то. Он страшно плакал. Была няня, Паша Она жила у моей тетки и работала курьером, вырастила моего двоюродного брата, вот которого посадили...

Николай Иванович раньше говорил: «Юрку с года отдадим в ясли. Если мы предлагаем это другим, то и сами должны. Пойдешь работать». Я как раз кончила институт Но потом, когда Николай Иванович был под следствием, уже в Кремле, не на даче, я попросила эту Пашу, чтобы она посидела с Юркой. У нас платить было нечем. Кормить мы ее кормили, а денег не было. Ну Паша такой человек, что про нее особо надо говорить. Она была с Юрочкой, когда меня выселили из Кремля... Меня выселили в Дом правительства, к «Ударнику» Там большинство квартир к этому времени пустовало, хоть собак гоняй. Оттуда-то меня и арестовали...

У меня есть двоюродная сестра, Марьяна, дочка Милктина Владимира Павловича, вот который был наркомземом, зампредом Госплана.. Ну их тоже арестовали, эта Марьяна осталась одна в пятнадцать или шестнадцать лет Она совершенно случайно встретила подругу, которая разыскивала своего маленького братика, и та ей сказала, что в детприемнике — сын Бухарина. Ну эта Паша побежала и нашла Юрку. Он был в таком состоянии, что голова не держалась. Или его умышленно морили?.. Прибежала она к деду, тот попросил отдать Юрку. Не отдали. Тогда он написал Сталину может он взять внука или нет? Никакого ответа не последовало. Но когда Юрка дошел до такого состояния и они решили, что царевич уже убиенный, то отдали. А дед совсем был слабый и бедный. Юру взял брат Николая Ивановича, потом этого брата забрали. Пришла тетка туда, мамина сестра, которую к тому времени еще не арестовали, и взяла Юру к себе.

— А вы сидели в это время?

— Да меня сначала в ссылку в Астрахань, а там двадцатого сентября в тюрьму. Как Акмаля, в один день, это я усекла из вашей рукописи. И вот тетка Юру взяла. Муж ее был заместителем начальника Управления по реконструкции Москвы. Он испросил разрешения, ему позволили, и Юра прожил у них до десяти лет. Они во время войны уехали в эвакуацию, а когда вернулись, их квартира оказалась занята каким-то чином. Им предложили ехать на восстановление Сталинграда. Вот туда они и поехали — выхода не было. Там их и арестовали. Юра пришел домой из школы, а никого нет. Ему сказали, что родители — он думал, что это родители,— разбились на самолете. Его отправили в Среднюю Ахтубу в детский дом. Там он кончил школу и поступил в Новочеркасский гидромелиоративный институт...

— А почему он пришел сдавать экзамены босиком?

— Он вам рассказывал? Да, босиком. Он не знал, что не положено. Ему босиком было свободнее.

— А когда выяснилось, что он художник?

Очень рано. Пока тетку не арестовали, она мне писала. Она редко писала — боялась. Она двух детей, кроме Юры, взяла: дочку Милютина и еще дочку немецкого коммуниста коминтерновца.. Строгановку Юра кончил в семидесятом но тетка мне в лагерь посылала его рисунки — портрет Сталина и еще Ворошилова на коне. Так или иначе, я без подписи их узнала. Это ему лет семь было. Это наследственное, Николай Иванович писал прекрасные пейзажи, очень чувствовал цвет.

Весь рассказ состоит из: «арестовали», «забрали», «посадили». Это была обыденность, быт. Я этот Дом правительства возле «Ударника», дом, который теперь по слову Юрия. Трифонова переименован в Дом на набережной, помню. Не на набережной он. На набережную выходит только малая часть, и та загорожена нынешним Театром эстрады, в котором первоначально был «Первый детский кинотеатр».

В тридцать седьмом мрачные эти корпуса с сумрачными дворами стали пустеть, как от чумы. Ночью приезжали машины, и... Тогда же дом этот стали называть крематорием, а еще — Эльсинором. Поскольку жители Эльсинора были людьми крупными, арестами и обысками в квартирах руководил высокий чин НКВД — Берман. (Их было два брата, Матвей и Борис, оба имели высокие звания, оба не пережили тридцать восьмого года, только, по выражению Анны Михайловны, вошли они в мышеловку с другого конца.)

Берман, который проводил аресты в Эльсиноре, являлся, как положено было, ночью, всегда в строгом черном костюме и с длинным «пушкинским» ногтем на мизинце. Он был безукоризненно корректен и столь же безукоризненно безжалостен.

Ох этот интеллигентский, российско-еврейский юмор. В Эльсиноре острили: «Уж полночь близится, а Бермана все нет». Подавляющее большинство жителей Дома на набережной Бермана дождались.

Хуже всего пришлось тем немногим, кому предстояла еще и встреча с Вышинским в «открытом» процессе, кому нужно было пройти «подготовку», а потом играть роль, страшней которой не знала история.

«...Вышинский Андрей Януарьевич (1883—1954), сов. юрист и дипломат, акад. АН СССР (1939). Чл. КПСС с 1920 (с 1903 по 1920 меньшевик). В 1933—1939 зам. ген. прокурора и ген. прокурор СССР, в 1940—1953 на руководящих постах в МИД СССР». Это из Советского энциклопедического словаря. Там же сказано, что в некоторых трудах Вышинского по теории государства и права содержались «ошибочные положения, приведшие на практике к серьезным нарушениям социалистической законности». Ошибался в теории, только-то.

О словарях разговор отдельный, а вот необходимость в кратких политических биографиях наиболее активных функционеров сталинской эпохи очевидна. Пока это не будет сделано, не поймем мы до конца ни механизмов того времени, ни самого времени. Подлость Вышинского на процессе есть выражение не только самой этой личности, но и того, что определяется формулой: «спрос рождает предложение» Совершенно случайно узнал, как заместитель Генерального прокурора СССР А. Я. Вышинский в 1934 году пытался в купе международного вагона поезда Симферополь — Москва изнасиловать студентку, дочь известного революционера и хорошую знакомую своего шефа — Генерального прокурора И. А. Акулова...

А Юра Ларин недавно позвонил мне: у него выставка в Нью-Йорке, но поехать на открытие он не смог Самолет сейчас для него очень опасен. Только это и было препятствием. Только здоровья я ему и желаю. Ему и его маме — герои ческой Анне Михайловне. А главное их желание обязательно сбудется, узнают люди правду о том, кого Ленин считал любимцем партии.

Мне всегда трудно начинать цитирование стенограммы процесса и оторваться от него трудно. Трудно удержать себя и от пересказа. Я понимаю, что нельзя цитировать

бесконечно, но еще одно место должен привести. Отец говорит, что кроме встречи в 1933 году была еще одна встреча в 1935 году на незнакомой ему квартире в новых домах на Зубовском бульваре в Москве и что будто бы во время этой встречи был разговор о вредительстве и диверсиях.

Этот разговор Бухарин отрицает довольно упорно. Причина, мне кажется, заключается в том, что в квартире на убовском в тот день находились люди, которых Николай Иванович никак не хотел упоминать в показаниях на процессе. Этого мой отец, видимо, не учел.

Пусть читатель вновь простит мне весьма длинную цитату. Она нужна.

Вышинский. Я вас спрашиваю, в 1935 году встреча на четвертом этаже была?

Бухарин. Я ответил, гражданин прокурор, что о политике в этот раз ни одного слова не говорил.

Вышинский. А о чем же?

Бухарин. О чае, о погоде, какая погода в Туркестане, но не говорили о политике. Почему не говорили? Потому что...

Вышинский. Потому что вы думаете, что когда вы в 1935 году разговаривали о погоде в Туркестане и Узбекистане, то Икрамов оставался членом вашей контрреволюционной организации.

Бухарин. Во время первого разговора у Икрамова было большое эмоциональное чувство, он был озлоблен против руководства партии в связи с теми событиями, которые были в Казахстане.

Вышинский. Это было в 1933 году?

Бухарин. Да.

Вышинский. А в 1933 году?

Бухарин. Я говорю, что в 1935 году я такого разговора не имел, но такая зарядка уже была в 1933 году. У меня сложилось убеждение, что он настолько сильно привязан к антипартийной и контрреволюционной организации, что такое положение должно у него остаться.

Вышинский. И вы, руководитель подпольной организации, встретивший через два года члена вашей организации, вами завербованного, не проверили, остается ли он на позициях вашей контрреволюционной организации, не интересовались этим, а стали говорить о погоде в Узбекистане. Так это было или не так?

Бухарин. Нет, не так. Вы мне задаете вопрос, который содержит в себе иронический ответ. А на самом деле я рассчитывал на следующую встречу с Икрамовым, которая случайно не состоялась, потому что он меня не застал.

Вышинский. Вы замечательно хорошо помните как раз те встречи, которые не состоялись.

Бухарин. Я не помню те встречи, которые состоялись, потому что они — фантом, а помню те, которые реализовались.

(Фантом — призрак. Как им хотелось намекнуть людям, близким и далеким, к каким лингвистическим уловкам они обращались, чтобы" показать нелепость спектакля! — К. И.)

Вышинский. Вы хотите убедить нас в том, что вы, встретившись со своим сообщником, с ним на контрреволюционные темы не разговаривали.

Бухарин. Не разговаривал я не из добродетели, а потому, что обстановка была для этого неудобная.

Вышинский. Икрамов, что вы скажете?

Икрамов. Относительно Казахстана он совершенно правильно говорит. О Казахстане был разговор. Ехал, по дороге из окна вагона смотрел, что видел — ужас. Я поддержал его. Я уже объяснял, какой я был до этого человек. Сразу я дал согласие ему.

(Итак, установлено, что два «врага народа» сговорились после того, как один из них увидел нечто, что — ужас. После этого они и сговорились бороться против Советской власти.— К. И.)

Вышинский. Это 1933 год?

Икрамов. Да.

Вышинский. А вот 1935 год. Бухарин отрицает, что вы в это время в четвертом этаже какого-то дома на Зубовском бульваре разговаривали с ним на тему о вашей контрреволюционной работе.

Икрамов. (Видимо, отец понял, в чем дело, почему Бухарин отрицает то, что, кажется, не имеет существен ного значения для их совместной судьбы.— Л. И.) Обета новка была действительно такая... Было три посторонних человека...

Вышинский. (Как будто помогая им обоим,— стоит ли городить огород из-за второстепенных лиц.— К. И.) Там была одна только комната?

Икрамов. (Теперь выход найден.— К. И.) Мы в кухне ужинали, потом вышли в другую, хорошо обставленную комнату...

Вышинский. Значит, была другая комната, отдельная, в которой два человека могли поговорить спокойно?

Икрамов. Да.

Вышинский. А почему же Бухарин говорит, что обстановка была неподходящая?

Икрамов. Пусть суд сам рассудит. В квартире три комнаты Я хорошо помню, что в кухне ужинали, потом было так, что мы, двое мужчин, должны были выйти Вы пони маете?

Вышинский. Понимаю. Обвиняемый Бухарин, у вас вообще после 1933 года была антисоветская связь с Икрамовым?

(Прокурору надоело выяснять факты «Вообще была связь?» Этого достаточно.— К. И.)

Бухарин. Я виделся с ним в 1933—1934 годах или в 1932—1933 годах, точно не помню.

(Видимо, Бухарину все окончательно обрыдло - К. И.)

Вышинский. С момента, как вы его завербовали? Вы с ним встречались?

Бухарин. Встречался.

Вышинский. Говорили с ним на темы, связанные с вашей антисоветской работой?

Бухарин. Говорил.

Вышинский. Это самое главное;

Дальше все идет как по маслу. Компромисс между под судимыми и прокурором состоялся. Процесс при внимательном чтении полон таких компромиссов.

...Но не только для того, чтобы показать способ достижения компромиссов, я привел столь длинную цитату. Даже не столь удивительное в устах Бухарина «большое эмоциональное чувство» привлекло мое внимание. (Люди, хорошо знавшие Николая Ивановича, утверждают, что он не мог сказать «эмоциональное чувство».) Здесь возможна неточная запись, небрежная редактура стенограммы и т. д. Важнее другое. Фраза отца: «О Казахстане был разговор. Ехал, по дороге из окна вагона смотрел, что видел — ужас. Я поддержал его. Я уже объяснял, какой я был до этого человек».

Тут непонятно, кто ехал, отец или Бухарин. Ясно только, что причина ужаса, о котором говорит отец, известна и подсудимым, и прокурору. Естественно, что и тогда, в читальном зале, и сейчас я не в силах точно вспомнить год, когда впервые на моей памяти в Ташкенте вдруг оказались тысячи пришлых людей. Они были неимоверно

истощены и тихо бродили по городу, лежали в скверах и возле вокзала. Они были очень тихи. Я не помню их голосов. Однажды мы ехали с отцом в открытой машине и где-то в Старом городе, переезжая через канаву, наш шофер латыш Роберт резко затормозил. В канаве, прямо под машиной, лежал человек, вернее, груда лохмотьев, под которыми был человек. К счастью, колеса нашего «бьюика» не коснулись его. Шофер и отец одновременно выскочили из машины и волоком вытащили человека.

— Мертвый,— с облегчением сказал Роберт.

— Казах,— сказал отец матери.

Я не помню, в каком месте Старого города это было. Сейчас все так изменилось, ничего не узнать. Но часто в Ташкенте, то возле моста через Анхор, то в районе Чорсу, мне кажется, я узнаю это место.

Помню только, что было холодно и пыльно. Зима или поздняя осень, а может, очень ранняя весна.

Знаю, что точно к 1933 году относится рассказ друга нашей семьи Зинаиды Дмитриевны Кастельской. После возвращения из лагеря она была научным редактором одного из центральных издательств, а тогда — молоденькая девушка, аспирантка. В доме нашем ее звали Зиночкой. Так я звал ее до конца.

В 1956 году мы встретились вновь, и она впервые рассказала мне, что однажды в Ташкенте, в нашем доме, вечером после какого-то разговора о событиях в Казахстане ей приснился страшный сон. Она не могла спать и вышла в сад. Там, в саду, и произошел разговор Зиночки с отцом, который, мне кажется, необходимо привести здесь. Боясь довериться своей памяти, я пригласил Зинаиду Дмитриевну, попросил рассказать об этом еще раз и записал наш разговор на магнитофон.

Устная речь имеет законы, в корне отличные от законов речи письменной, но я постараюсь привести рассказ З. Д. Кастельской точно.

— ...Я стояла в саду Может быть, плакала, может быть, что... Настроение убийственное и печальное Ужасное! Подошел твой отец. Он тоже почему-то не спал. «Почему у вас такое настроение? Вы чем-нибудь расстроены, огорчены?» Я ему говорю, знаете, я видела ужасно неприятный сон, вы знаете, такой ужасный, печальный — и просто из него выхода нет. Он заинтересовался. «Какой?» — он говорит. Я говорю, знаете, вот сначала небо было, большое, высокое небо, и вдруг начали падать звезды. Падают, па дают — так много звезд. Потом я смотрю, подбежала посмотреть эти звезды, гляжу — лежат вроде мертвые овцы, вообще стадо — кудрявое, мертвое. Потом я подошла, стала ближе всматриваться: это не стадо, это люди, это казахи! Лежат мертвые, ужасные, покрыты какими-то лоскутами и совершенно скелеты, вот подобные тому человеку, которого я видела в Ташкенте, на Свердловской улице, когда был один скелет. У него была громадная борода, и он умирал...

Отец так мрачно посмотрел и сказал вдруг мне: «Зинушка, вы такая хорошая, вы даже не знаете, что все это значит!»

Зинаида Дмитриевна взволнована, и слова отца передает точно так же, как и в прошлый раз, подчеркивая: «что все это значит».

— Это тридцать третий? — спрашиваю я.

— Это я из аспирантуры приезжала на практику. Тридцать первый исключен.

— А тридцать второй?

— В тридцать втором тоже было. Это с тридцатого началось, даже с двадцать девятого, но не там. Все-таки тридцать третий. Потому что о казахах разговоров много было. И то, что всюду ведь на станциях они были. Всюду по дороге из Москвы в Ташкент, это было страшное дело, эти несчастные, оборванные дети умоляли и плакали, просили... И вот кажется, тут-то вот был разговор об ужасах в Казахстане Может быть, это была поездка Николая Ивановича, потому что он приехал совершенно убитый... Он роздал все, что у него было, все деньги, говорил: «Мы голодные ехали. Невозможно было смотреть...» Видно, речь на процессе шла не об отцовской поездке, а о поездке Николая Ивановича. Потому что все дороги, все станции были заполнены умирающими, когда проезжаешь Оренбург. Все кругом были несчастные ребятки, валялись на станции и вообще всюду.

— Это тридцать третий,— говорю я.

— Это он... Николай Иванович про поездку рассказывал Марии Федоровне Андреевой.

— Кто это?

— Ну Мария Федоровна. Жена Горького. Бывшая.

Как далеко для нас все то, что было для них совсем близким, обыденным окружением. «Ну Мария Федоровна. Жена Горького. Бывшая». Для нас далеко, для наших детей, которые, дай бог, смогут прочесть мою книгу, это и вовсе иная эпоха... Эпохи разные, а жизнь единая, связанная непрерывной цепью причин и следствий. Очень опасно, что современные люди так мало знают о неизбежности и многообразии возмездия, когда бездуховность потомков лишь первый симптом болезни, итог которой впереди.

Последние годы Зинаида Дмитриевна доживала в роскошном пансионате Академии наук. В лес и поле выходил ее балкон, два телефона стояли на тумбочке: один — городской, другой — прямой к медсестре. Я приходил к ней и видел, как слабеет память. Но ни она, ни я не забывали, в каком году и где, в 1930, или в 1932, или в 1933, был тот голод, те тысячи смертей, те детские трупы с птичьими лапками вместо ног, которые видели люди моего поколения накануне XVII съезда. Было это и в Казахстане, и в Узбекистане, и на Украине, и на Кубани.

Зинаида Дмитриевна — специалист по истории Средней Азии начала нашего века. Как всякий настоящий специалист, она досконально знает только «свой период». В 1937 году она была арестована и пробыла в нетях восемнадцать лет. Потом она переквалифицировалась, как редактор выпускала книги по истории средних веков и знала этот период. А то, что было в тридцатых годах?

Это живо. Это не умерло. Никуда от этого не денешься. Люди помнят и голод, и тысячи трупов на дорогах, на улицах городов, мертвые села и деревни. Люди знают, что Сталин отказался купить хлеб за границей. Это история! Она запечатлена в документах. Даже в собрании сочинений Сталина есть свидетельство того, как и почему он отказался покупать хлеб за границей в те самые годы.

На пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 года Сталин выступил с критикой «правого уклона в ВКП(б)», с опровержением обвинений, выдвинутых против него Бухариным Рыковым и Томским 9 февраля 1929 года.

Обвинений против Сталина было три: а) в политике военно-феодальной эксплуатации крестьянства, б) в политике насаждения бюрократизма; в) в политике разложения Коминтерна.

Каждого, кто хотел бы узнать об этом подробнее, я отсылаю к двенадцатому тому сочинений И. Сталина, но кое-что начиная со страницы 92, следует привести здесь.

«Наконец, несколько слов об импорте хлеба и валютных резервах. Я уже говорил, что Рыков и его ближайшие друзья несколько раз ставили вопрос об импорте хлеба из-за границы. Рыков говорил сначала о необходимости ввоза миллионов 80—100 пудов хлеба. Это составит около 200 млн. руб. валюты. Потом он поставил вопрос о ввозе 50 млн. пудов т. е. на 100 млн. руб. валюты. Мы это дело отвергли, решив что лучше нажимать на кулака и выжать у него хлебные излишки, которых у него немало, чем тратить валюту, отложенную для того, чтобы ввозить оборудование для нашей промышленности». И еще: «...На этом основании мы решили отказаться от предложения разных там благотворителей, вроде Нансена, о ввозе хлеба в СССР в кредит на 1 миллион долларов. На этом же основании дали мы отрицательный ответ всем этим разведчикам капиталистического мира в Париже, в Америке, в Чехословакии, предлагавшим нам небольшое количество хлеба в кредит».

Это говорил сам Сталин, и включено это в том, вышедший за четыре года до его смерти, в 1949 году. Кстати, в томе есть сноска, что в речи, которую я привожу, восстановлено более 30 страниц текста, в свое время не опубликованных в печати.

Почему мы молчим об этом «гордом и идейном» отказе покупать хлеб, когда миллионы людей умирали с голоду? Зря молчим, потому что каждая нынешняя операция по закупке пшеницы, кукурузы или сои за границей дает основания для иронических ухмылок наших недругов и невежественных критиканов.

Кажется, на том же пленуме, где Сталин критиковал своих критиков {к сожалению, я сейчас не имею возможности это уточнить), состоялся знаменитый диалог с моим отцом

Икрамов говорил о том, что поскольку республики Сред ней Азии, и в частности Узбекистан, обязуются сеять в основном хлопок, все посевные площади идут под хлопок как сырье для промышленности, то снабжение этих районов продовольствием должно отныне планироваться иначе. Надо снабжать хлопкосеющие регионы так, как снабжаются промышленные. Сталин перебил его:

— Но мы же вам послали эшелон с хлебом.

— Я говорю сейчас о системе планирования, о том, что поскольку мы лишены возможности сеять в достаточном количестве хлеб, то...

— Но мы же вам послали эшелон с хлебом.

— Товарищ Сталин! Эшелон с хлебом до нас не дошел. Его расформировали в Самаре. Я говорю об изменении системы снабжения.

— Но мы же вам послали эшелон с хлебом,— в третий раз перебивает Икрамова Сталин.

И тут я прочитал фразу, которая поразила меня.

— Товарищ Сталин, в конце концов, вы дадите мне кончить или нет?

Думаю, что это не единственное из выступлений отца, которые погубили его.

Я опять пишу о Сталине.

Вроде был у нас всех такой молчаливый уговор не поминать это имя ни добрым словом, ни злым. Вроде был уговор

Наши враги и те согласились. Зачем трогать Сталина, лучше все наши беды и все преступления Сталина адресовать Ленину, бить под корень.

Вроде был уговор, но нарушать его стали только в одну сторону Дорого, ох дорого будет нам стоить в этом случае применение древнего латинского изречения на новый лад: «О Сталине либо хорошо, либо — ничего».

Чтобы защитить Идею и людей, отдавших ей жизнь, есть только один способ — говорить правду.

Мой отец был настоящим честным коммунистом, я обязан рассказывать о нем честно.

Я не верю ни одному слову на процессе, но хочу верить, что мой отец не мог оставаться равнодушным к сознательному и равнодушному убийству голодом миллионов людей Я хочу верить, что он обсуждал с Бухариным то, что волновало его,

и даже, возможно, собирался выступить на съезде, который впоследствии вошел в историю под названием «съезда победителей»

Правда, к 1934 году положение с хлебом в стране стало улучшаться и необходимость решительных мер вроде бы отпала. Но сталинские методы построения всеобщего благоденствия должны были глубоко затронуть каждого честного коммуниста.

Среди людей, знавших моего отца, принято считать, что он любил Сталина, верил ему. Хочется думать, что постепенно отец прозревал. Об этом я еще попытаюсь рассказать. Жаль только, что не прозрел к началу тридцатых годов.

А вот и мое собственное достаточно четкое свидетельство умонастроения отца.

Зима. Выходной день. Мы всей семьей — отец, мать, младший брат отца дядя Юсуп, два моих брата, родной и двоюродный, завтракаем. Солнце светит, белая скатерть, а не клеенка, перед каждым яйцо всмятку, масло в масленке посреди стола.

Все вместе за столом, скатерть, солнце.

Окна и дверь на террасу закрыты, и приятно, что в доме тепло.

Мы редко собирались за столом все вместе, особенно по утрам. Мы завтракаем, а в столовую входит военный в длинной кавалерийской шинели, козыряет, потом вручает отцу пакет с тяжелыми сургучными печатями.

Да, это зима, потому что фельдъегерь в шинели. И это не тридцать третий год, потому что тогда не было яиц, масло не стояло в масленке посреди стола. А я не путаю, не объединяю два разных воспоминания, как бывает иногда.

Отец читает бумагу, мать подслеповато сбоку заглядывает в нее. Отец отклоняется.

— Потом,— говорит он, встает из-за стола и начинает ходить по столовой взад и вперед.

Он хмур и явно взволнован, мы стараемся не смотреть на него.

— Насчет Кирова,— после долгого молчания говорит он матери.— Не понимаю, кому это было надо? Кому это надо?

Как это — «кому надо», думаю я, и удивление мое помню до сих пор. «Как это — кому надо?» Я-то знаю, я-то понимаю, что Кирова убили враги народа. Это уже всем известно, всей улице, всему детскому саду и дворнику Спиридону, милиционерам Скибе и Костюхину, а отец все ходит и ходит по столовой.

Как странно: я понимаю, кому это было надо, а мой папа не понимает.

Как странно, думал я тогда, как странно, думаю я теперь. Ведь самое главное было выражено ясно: отец не верил официальной версии.

Не знаю, сказал ли он своей жене больше, чем вырвалось у него при всех? Если сказал — то какими словами? Очень я сомневаюсь, что инерция мысли, инерция идей и сознания была главным фактором, мешающим отцу стать поперек пути той страшной колеснице, в которой он был одновременно и лошадью и седоком. Слова могли звучать разные, но они лишь маскировали, глушили, анестезировали суть.

Об этом понимании сути происшедшего свидетельствуют, в частности, два устных рассказа Н. И. Бухарина, относящиеся к тридцать третьему году.

Поезд Ташкент — Москва, два интеллигента в международном вагоне, долгие путевые разговоры вообще, рассказы о себе и среди них такие[1].

«В ночь разгона Учредительного собрания Владимир Ильич позвал меня к себе. У меня в кармане пальто (шла бутылка хорошего вина, и мы (следовало перечисление) долго сидели за столом. Под утро Ильич попросил повторить какую-то часть рассказа о том, как происходил разгон Учредилки, и вдруг рассмеялся. Смеялся он долго, повторял про себя слова рассказчика и все смеялся, смеялся. Весело, заразительно, до слез. Хохотал.

Мы не сразу поняли, что это истерика. В ту ночь мы боялись, что мы его потеряем».

Кстати, о похожей нервной реакции глухо упоминает Н. К. Крупская, когда рассказывает о том, как вместе с Владимиром Ильичем они посетили бывший особняк Морозова в Трехсвятительском переулке вечером 7 июля 1918 года после разгрома находившегося там штаба левых эсеров.

Вдова Николая Ивановича Анна Михайловна об этом факте не знает, так она сказала мне. Более того, Анна Михайловна уверена, что Николай Иванович все последние годы был настроен не так мрачно.

Осторожность и недоверчивость в наши дни никому нельзя поставить в укор. Анне Михайловне, чудом вернувшейся из небытия, недоверчивость к устным рассказам о муже простительна.

1 Есть уверенность, что оба эти рассказа записаны. Собеседником Николая Ивановича был ташкентский врач, впоследствии знаменитый академик медицины И. А. Кассирский. Теперь я могу назвать этого собеседника, надеюсь также, что свидетельства ученого сохранились и увидят свет, поэтому я не боюсь полностью довериться памяти и не уточнять детали, не подвергать чужой рассказ собственноручной реконструкции Расхождения будут наверняка, но я их себе прощаю.

А вот второй рассказ Н. И. Бухарина в том же купе по дороге из Ташкента, где он много общался с Акмалем Икрамовым. (Может быть, и отец знал эту байку от Николая Ивановича.)

«Было решено, что я должен встретиться с академиком Павловым, дабы как-то распропагандировать его, сделать более лояльным по отношению к нам. В Ленинграде я позвонил Ивану Петровичу и попросил о встрече.

Павлов сказал, что времени для беседы со мной у него нет, но если я настаиваю, то он мог бы уделить мне внимание во время его пешего возвращения с работы домой. Для этого я должен ждать его в такое-то время в вестибюле института.

Я ждал его, как условились. Он вышел одетый, с тростью, я представился, и мы пошли. Я сказал, что руководители нашей партии очень огорчены нежеланием Ивана Петровича участвовать в общественной жизни страны, огорчительно и то, что он не проявляет интереса ко всем тем великим свершениям...

— Интереса? — перебил Иван Петрович.— Могу проявить интерес. Интересно, например, с какой это стати вы — академик?

Я отвечал ему в том смысле, что марксистская политическая экономия — наука сравнительно молодая, специалистов мало, и неудивительно, что в такой ситуации я был избран. Чтобы доказать ему, что я не так уж плох, я стал говорить об античной философии, о Канте и Гегеле — о том, что могло показать ему мое образование, то, что он был в состоянии оценить на основе собственного образования.

Иван Петрович не перебивал меня, слушал хмуро. Тогда я ввернул, что занимался приватно германской диалектологией и фонетикой, продемонстрировал свои знания в этой области, рассказал, что и к биологии когда-то склонялся, занимался энтомологией и помню до сих пор триста названий бабочек по-латыни.

Вот тут только Иван Петрович, кажется, впервые глянул на меня с интересом.

(Бухарин пояснил своему соседу по купе, что в детстве действительно увлекался бабочками, на спор с гимназическими приятелями за один день выучил триста названий, которые почему-то запомнил навсегда.)

Павлов не остановил меня, дослушал все триста названий, а потом сказал:

— А ведь я, батенька, признаться, черного шара вам кинул на выборах.

Лед тронулся. Павлов уже с интересом, задавая вопросы по существу, стал слушать мой рассказ о будущем России, о новом обществе, которое будет основано на законах, выведенных Марксом и Энгельсом, о плановом хозяйстве, о новой культуре, о неуклонном повышении уровня жизни трудящихся.

Павлов слушал, слушал, потом остановился в молчании, молча же вдруг отошел на мостовую и издали, тыча в меня тростью, прокричал:

— А что, если все будет наоборот?!»

Так мне запомнились в пересказе две истории, которые один русский интеллигент рассказал другому. Даже если говорить лишь о подсознательном ощущении

катастрофы, то все равно легко представить себе, что в истории с Учредительным собранием чувствуется тот самый Рубикон, который обратно не перейти, а в заключительном крике И. П. Павлова, повторенном Н. И. Бухариным, звучит такое сомнение, которое похоже на пророчество.

Не колесница — поезд истории с такой скоростью влек их по саду жизни, что они, пытаясь ухватиться за ветки, только царапали себе руки.

...Поезд истории. Сад жизни. Наверное, это очень уж красиво. Но мне это именно так снится: летит поезд, в котором мы все, как в Ноевом ковчеге, каждой твари по паре, но без надежды спастись. Летит поезд, а вокруг жизнь, сады цветут. Мы смотрим из окон, и проводник не может сделать больше, чем пассажир, а машинист и подавно ничего не может. Летит вперед наш паровоз, как он летел полвека назад, только куда быстрее! Скорости возросли, состав стал длиннее, пассажиров больше.

Думаю, что в разные времена у разных людей был свой Рубикон, после которого поезд уже невозможно остановить.

Характерно, что Бухарин рассказывал это сразу же после сплошной коллективизации и ликвидации кулачества.

Неужто случайному попутчику рассказывал, а моему отцу — нет?

Впрочем, насколько я знаю, коллективизация и раскулачивание в Узбекистане носили сравнительно умеренный характер. А может быть, я и не знаю всего, утешаю себя.

Я живу в Москве. Есть версия, что именно здесь я родился во время какого-то съезда или конференции. Моя мать должна была выступить как один из авторов земельно-водной реформы в Узбекистане. Отец не мог приехать из Самарканда, в республике был разгар хлопкоуборочной кампании. Другие говорят, что родился я в Самарканде, но мать сразу увезла меня к своим родителям.

Я люблю Москву летом, в жару, когда на улице Горького горят мусорные урны, я люблю Москву зимой, когда у нас в Черемушках гололед и ветер насквозь продувает гребенки домов, я люблю Москву праздничную, но еще больше люблю будничную.

Мне было четырнадцать лет, когда на Москву упали фашистские бомбы. Я тушил немецкие зажигалки, падавшие в Черниговский переулок. (Я погасил четырнадцать зажигалок. Три из них угрожали пожаром, а остальные упали в снег на улице. Но я таскал их к ящикам с песком и закапывал саперной лопаткой.) 17 октября 1941 года с крыши нашего дома я видел лицо немецкого летчика, сбрасывавшего осколочные бомбы на очередь за картошкой, стоящую на набережной у Малого Москворецкого моста. Кажется, этот, а может быть другой, немецкий летчик одновременно сбрасывал листовки «Черчилль о советском режиме». Листовки летели над Москвой-рекой, над Василием Блаженным и над Красной площадью, где у Кремлевской стены среди елок

стоял фанерный макет двухэтажного дома, для маскировки нахлобученный на Мавзолей.

В те октябрьские дни сорок первого года, когда, по слухам, немецкие танки прорвались не то в Кунцево, не то в Химки, я твердо знал, что умру на баррикаде. Мне казалось, что я буду защищать ту, что была построена на Пятницкой, возле Первой образцовой типографии.

В сорок третьем меня арестовали в первый раз.

Прошло много лет, прежде чем я понял и связал воедино два события, происшедшие в одну неделю. Шестого ноября 1943 года наша армия после тяжелых боев с огромными потерями взяла город Киев. В ночь с двенадцатого на тринадцатое ноября органы государственной безопасности взяли меня, ученика ремесленного училища № 51, еще не получившего паспорта, но уже принятого в комсомол первичной организацией.

Конечно, трудно связать эти два факта связью логической, но связь временная налицо. Что за ней? Ведь это надо же — одновременно освободить Киев и арестовать меня!

Нет, это не была ошибка, ведь повезли меня в самое главное здание, где работал в тот момент сам Берия Л. П.

Стыдно признаться на старости лет, что при медосмотре во внутренней тюрьме у меня обнаружили вшей. Дома у нас с начала войны не работала ванная, а душ в ремесленном был такой холодный, что в него никогда никого не удавалось загнать.

Итак, вшивый ученик ремесленного училища. Ведь не забыли про меня, родословную мою чтили. Отец и сын!

Не я избрал сей сюжет, его мне навязали силой. И притом — какой силой!

Следователь Мельников требовал, чтобы я рассказал о своих антисоветских деяниях, убеждал меня, что я озлоблен на Советскую власть. У него была такая работа. Но, кроме того, он, вероятно, был убежден, что я действительно озлоблен. Не помню, сколько суток мне не давали спать, помню только, когда Мельников под утро снимал трубку и говорил: «563А, возьмите арестованного»,— я был очень благодарен ему.

Однажды на допросе у прокурора МГБ Дорона я увидел в окно заснеженную площадь Дзержинского и трамвай, идущий к Театральному проезду. Я был счастлив, что увидел Москву

Мне дали пять лет исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую агитацию формально, но по существу как сыну врага народа. В «постановлении об избрании меры пресечения» эти слова и фамилия были подчеркнуты тем же красным

карандашом, которым ниже подписался Кобулов, заместитель Берии, расстрелянный одновременно с ним.

Вообще я счастливый человек. Это не позерство. Я вновь хожу по Москве, езжу в метро и трамваях, захожу к старым знакомым, не боюсь новых арестов, кажется, все-таки не боюсь. Но главное — сбылось то, о чем я уже перестал мечтать.

В первый раз я почувствовал себя счастливым в тот день, когда умер Сталин. Нет, и к тому времени следователь Мельников не мог бы упрекнуть меня в злорадстве и озлоблении. Я точно знаю — главным чувством было удивление. Он умер, а я еще нет. Казалось, что он вечен. Сама возможность перемен, само течение времени вызывали ощущение счастья. Еще раз повторяю: я не ждал перемен к лучшему, думал о худшем, но сама возможность перемен была открытием, прозрением. Тогда, кажется, я понял впервые, что жизнь длинна.

Чеченцы, с которыми мне пришлось быть в ссылке, говорили: «Чтобы быть счастливым, нужно потерять счастье, а потом найти любую его половину».

Озлобленность кажется мне очень редким и незначительным в общественном плане человеческим чувством. Люди смотрят вперед. Если впереди есть надежда, жизнь увлекает, старое не тревожит. А ведь личная жизнь у каждого складывается неповторимо. Что значит «повезло» или «не повезло»? Вся юность и молодость моя прошли в лагерях, тюрьмах, этапах и ссылках. Но из тридцати трех работяг первой моей лагерной бригады в живых через два месяца осталось восемь. Значит, мне повезло. Из тех пяти ребят, что вместе со мной сидели на крыше дома в Черниговском переулке и ловили зажигалки, остались двое, я и Коля Байков. Я дружил с теми, кто старше меня. Трое погибли на фронте. Особенно жалко Шурку Назарова и Сережу Байкова.

А я жив, хожу по своему родному городу, сплю не в бараке, а в отдельной квартире, книжки пишу. Сегодня пойду смотреть фильм Стенли Крамера «Корабль дураков». Просмотр для писателей.

Время от времени мне задают вопрос: «А вы когда-нибудь думали еб отмщении тем, кто пытал вашего отца, вас, кто доносил на вас?» И еще: «Среди ваших знакомых, среди людей вашей судьбы были люди, которые отомстили или хотели отомстить?» Совсем недавно опросил меня об этом молодой человек, для которого только открываются бездны нашего прошлого. Он с недоверием и удивлением слушал мой поневоле пространный ответ о том, как это может быть, что ни мне самому, никому из моих близких знакомых с похожей судьбой и никому из знакомых моих знакомых мысль о мести, видимо, никогда сколько-нибудь реально в голову не приходила.

Хорошо это или плохо? Для меня лично — это хорошо, а для общества? Думаю, что и для общества в целом никакая личная месть пользы не принесет. Никакой граф Монте-Кристо не поможет исправлению нравов. Наказание настигнет преступников

само по себе по тому знаменитому эпиграфу, который так часто ставит в тупик литературоведов: «Мне отмщение, и Аз воздам».

Мой первый следователь капитан Мельников в Москве на Лубянке в сорок третьем был жалкой и подлой мразью. Он носил общевойсковые погоны. Такие же погоны были у тех командиров рот и батальонов, что в те самые дни погибли при форсировании Днепра и взятии Киева. Другие армейские капитаны умирали в медсанбатах и госпиталях от Белого моря до Черного, а мой — курил ленд-лизовские американские сигареты, и бутерброды у него были с сильно пахнущей ленд-лизовской колбасой из консервных банок. Как он мог в течение месяца лишать сна шестнадцатилетнего парня? Как он мог запретить передачи и дополнительное питание, выписанное мне тюремным врачом? Сто граммов хлеба и винегрет к обеденной баланде назначил мне тюремный врач безо всякой моей просьбы, а Мельников наложил вето. Написать это я должен, это вся моя месть, если не считать того, что я уже сделал: в моем историческом романе «Пехотный капитан» есть жандарм, которого в ходе повествования убивают за карточным столом, а жене его отказывают в пенсии. Действие романа происходит в начале прошлого века, и я не специально мстил, а просто дал отвратительному типу неприятную мне фамилию.

Совсем другим был мой второй следователь майор С. в МГБ города Калинина.

Правда, и задача перед ним стояла куда более простая. Ему надо было доказать только, что я сын Акмаля Икрамова, от чего я не отказывался, и еще то, что я уже однажды был за это осужден Особым совещанием, то есть по своему преступному прошлому составляю огромную опасность для нашего могучего государства.

Майор С. в начале следствия пер на меня по всем правилам, орал, грозил карцером, но сна почти не лишал, передачи разрешил довольно скоро, а потом только делал вид, что прет, что грозит. Он был сачок, говоря современным языком, и возможно, что объяснялось это тем обстоятельством, что особых надежд на карьеру он в пятьдесят первом году иметь не мог. Почему? Да потому, подозреваю, что майор был евреем, а годы те лицам этой национальности не благоприятствовали.

Прости, майор! Может, ты и не был евреем, а просто был сачок и неплохой малый. Упомянуть тебя, майор, я должен для полноты картины. Ты уже давно в отставке, я не повредю тебе своим рассказом, если ты жив. В отставке, если жив, и начальник следственного отделения полковник В. Относительно майора С. я могу ошибаться, внешне он на еврея не походил, а вот насчет национальности полковника я не сомневаюсь, и дни его в аппарате госбезопасности были сочтены.

Может быть, я рассказываю о том, что нехарактерно для следствия вообще, но, повторяю, так было.

Вся вторая половина следствия, когда родословная моя была записана и биография зафиксирована, выглядела так.

Из сырого и темного подвала меня вели на допрос по широким и светлым лестницам, по паркету и ковровым дорожкам в кабинет с большими чистыми окнами без решеток. Я садился в угол на канцелярский стул, и майор С. вопрошал:

— Ну, что новенького?

Он имел в виду одно: какие новые анекдоты я слышал в камере. Политических анекдотов я, естественно, ему не рассказывал, но он их не ждал.

— Да что у нас может быть нового, если новеньких к нам не кидают. Вы же знаете, гражданин майор. А у вас есть что-нибудь?

Он рассказывал мне какой-нибудь анекдот тоже, естественно, далекий от политики и чаще всего про баб и пьянку. Тогда и я вспоминал что-нибудь соответствующее. Нормальный разговор двух простоватых приятелей, которые вполне могли говорить об этом по дороге в пивную. Иногда он рассказывал не только анекдоты, но сообщал новости о событиях на воле. Например, о том, как проходит матч Ботвинник — Бронштейн. Это, конечно, было нарушением порядка, но он шел еще дальше: доставал из портфеля газету, а из правой тумбы письменного стола шахматную доску, тайком взглядывая на запись партии, расставлял на доске фигуры, и мы разыгрывали варианты, пытаясь угадать, как поступят гроссмейстеры.

Под самый конец допроса, когда меня уже надо было отправлять обратно в подвал, он усаживался поудобнее, расставлял локти и начинал писать, на меня не глядя. Он долго, очень долго и молча скрипел пером, а потом распрямлялся и начинал читать примерно следующий текст:

— «Вопрос. На прошлом допросе вы голословно отрицали свое участие в антисоветской деятельности. Между тем следствие располагает неопровержимыми данными о том, что вы, продолжая свою контрреволюционную деятельность, занимались антисоветской агитацией. Признаете ли вы себя виновным?

Ответ. Нет, не признаю.

Вопрос. Если вы будете упорствовать, то вам будет хуже. До каких пор вы будете лгать, изворачиваться, обманывать следственные органы?

Ответ. Я никогда антисоветской деятельностью не занимался.

Вопрос. Это гнусная ложь! Последний раз предупреждаю вас: если вы не будете говорить правду, я буду вынужден прибегнуть к наказанию карцером.

Ответ. Я никакой антисоветской деятельностью на занимался».

Так он исписывал обычно две-три страницы, а я с удовольствием ставил под ними свою фамилию, удостоверяя, что все с моих слов записано верно.

Однажды я рассказал ему анекдот, построенный на несоответствии высокого стиля общения между академиками со словами самого низкого рода, которые явились решающим аргументом в вопросе о приоритете на некое очень древнее изобретение.

Посмеялись. Потом майор С. с укором сказал знаменательные слова:

— Вот ты мне рассказал анекдот. Анекдот вроде неплохой, он не ловится, но характеризует. А я тебе расскажу анекдот, который не ловится и не характеризует.

Вообще серьезных нарушений режима он не допускал. Узнать у него, например, было ли очередное снижение цен, не удавалось никак. Это — новость политическая.

Его кабинет находился в запроходной, как пишут в жилищных документах, комнате. Если он слышал, что дальнюю дверь открывают, он тут же аккуратно, чтобы не повалить фигуры, ставил доску в средний ящик стола, а я без команды отскакивал в угол на свой стул, руки на коленях.

Дверь широко распахивалась, и входил полковник В. Я с погонами видел его, пожалуй, только раз. Погоны были полковничьи, а форма — морская, из чего я тогда заключил, что он капитан первого ранга. Обычно же он появлялся в штатском и всегда в одном и том же движении: голова чуть в сторону, правая рука ищет пуговицы на ширинке. Видимо, где-то рядом был туалет, и полковник заходил к нам по дороге оттуда.

Пуговицы ему давались с трудом, а мой следователь вытягивался и докладывал, что на допросе такой-то.

— Ну? — спрашивал В., так и не поймав последней пуговицы.— Упорствует, сволочь?

— Упорствует, товарищ полковник.

— Да...— тянул тот.— Он думает, что прошло то время когда.

Далее шли крепкие выражения, порой довольно интересные, которых я ни от кого более не слышал.

— Надо ему напомнить, майор!

— Так точно! — радовался подсказке следователь.— Я ему покажу, контре. А для начала в карцер, в холодную на хлеб н воду!

—Давно пора! Его вообще-то расстрелять надо, яблоко от яблони далеко не падает.

Поймав последнюю пуговицу и сразу же после гневной тирады зевнув, полковник выходил вон. Когда закрывалась за ним дальняя дверь, следователь доставал шахматы.

— Смотри, значит, если конь Ж4, то ладья идет на Б1 А если он пойдет слоном...

Про отца моего они говорили и спрашивали мало и не ругали его, а только констатировали: сын врага народа Икрамова.

Описав свое второе следствие, я вовсе не претендую на некое обобщение, не хочу сказать, что в пятьдесят первом году начался кризис сталинской карательной системы и все было совсем не так, как прежде. Я знаю, что в те же дни кого-то страшно пытали и били, зверски били и страшно пытали. Может быть, это было в соседнем кабинете или в том же самом, где только что был я. И кто знает, как вели себя майор С. и полковник В., когда по службе им это было надо.

Нет, я не хочу никому мстить, даже суда над этими людьми не хочу, ибо не верю в справедливость мести и в пользу суда. А что, если и в самом деле тридцать седьмой — это месть за тридцатый, сорок девятый расплата за тридцать седьмой? Может, мы остановимся, наконец?

Не хочу мести, не хочу суда. Хочу, чтобы люди знали и помнили, как все это было. Хочу, чтобы дети и внуки палачей не становились палачами или жертвами палачей.

А вот эти сытые, вальяжные невежды и подлецы, которые очень долго лгали на моего отца? Как с ними быть?

А все так же. Пусть люди знают правду

Для этого я и пишу

Неужто никому не нужны гарантии, что весь тот ужас не повторится?

Я живу в Москве, но я узбек. Не только по паспорту. Отец, обвиненный в национализме, не позаботился обучить меня родному языку. В доме говорили по-русски. Я никуда не хочу уезжать из Москвы, но всегда говорю: «У нас в Узбекистане». Я всегда спрашиваю, как там с хлопком, началось ли раскрытие коробочек, как идет уборка и сколько процентов будет к празднику.

Удивительное дело. У меня сразу меняется ход мыслей, когда вдруг на улице Горького или возле ГУМа я увижу человека в ферганской тюбетейке. Идут, например, трое. Зима, воротники суконных пальто подняты, на ногах хромовые сапоги с галошами, а на бритой макушке — тюбетейка. Традиционный белый узор по черному полю.

Я люблю встречаться с земляками в курилке Ленинской библиотеки. Аспиранты, молодые ученые, а иногда и доктора наук.

Парень из Намангана — специалист по африканской флоре, доктор медицинских наук из Ташкента — эпидемиолог и мой дальний родственник — крупный физик-экспериментатор, вернувшийся с конференции, посвященной памяти Макса Планка,— вот встречи одного дня.

Мы стоим в подвале крупнейшего книгохранилища мира и разговариваем каждый о своем. Я чувствую себя узбеком. Я знаю, что ко мне у любого узбека отношение особое. Это неважно, что я журналист, писатель, автор нескольких книг. Важно, что я — сын Акмаля Икрамова. Только поэтому люди, которые старше меня по возрасту и по положению, зовут меня с уважительной приставкой «ака», «Ка-миль-ака».

И все-таки я москвич. Я люблю не только Москву, но и Подмосковье, леса, перелески, полянки и горки, речки и мостики, березки и елочки.

Однажды я возвращался с загородной автомобильной прогулки. Друг взял меня с собой в воскресенье утром, а вечером высадил в центре города возле памятника Пушкину. Домой я добирался на такси.

— С дачи? — спросил шофер.

— Нет,— ответил я.— С приятелем по лесам катались. Дубна, Вербилки, Дулево...

— Хорошие места,— сказал шофер.

— Комаров много,— сказал я.— Только остановились, опустили стекла, и они сразу набились в машину. Кисель из комаров. В жизни не видел столько.

— Ну, комаров я повидал, сколько вам никогда не увидать,— с оттенком грустного превосходства сказал таксист.— Комаров я повидал.

Вечер был хороший. Настроение тоже.

— Где же это?

— За Уралом, в тридцатом...

У меня мелькнула догадка, и потому я спросил совсем не о том, о чем думал.

— В армии?

Он промолчал. Я смотрел на него, ожидая ответа.

— Коллективизация,— ответил он, решившись. Видно, комары были чем-то очень для него существенным.— Мы слабые середняки считались, даже бедняки, но отец против колхоза агитацию вел. Его посадили, как подкулачника, а нас раскулачили и — в вагоны. Привезли за Урал. Поезд посреди дороги между станциями остановили и говорят: разгружаться. Насыпь высокая, внизу вода весенняя, а километра два — лес. Мы говорим: куда тут разгружаться, тут же вода! А они с винтовками и с собаками.

Они говорят: разгружайтесь куда хотите. А у нас мешки с мукой. Говорят, если не будете разгружаться, будем стрелять. А если сами выйдете, что оставите в вагонах, то и увезем. Там ваши уже есть, говорят, вот туда и пойдете, в этот лес. В этом лесу ваши уже живут. Ну, мы мешки покидали в воду. Покидали, значит, мешки в воду, кой-как

добрались до этого леса. Пришли в лес, думали, там никого нет, думали, нас обманывают. А видим, по этому лесу дети маленькие ходят, может, пяти, может, шести лет. Дети ходят. И кору жрут и смолу. Ходят так, обдирают со стволов, жрут. А взрослых нет, одни дети. Оказывается, туда привезли тоже раскулаченных, взрослые все померли, одни дети остались живые. А взрослые померли — ни одного живого нет. Одни дети. И дети ходят по лесу и вот жрут кору. Вот туда нас привезли... У нас что было, все подмокло. И дожди пошли. И дожди пошли, а нам укрыться негде. Все у нас мокнет, мука у нас пропала, все у нас пропало. А потом комары. Комаров я повидал...

— Откуда сами? — спросил я.

— Из-под Полтавы.

— Что-то у вас акцента совсем даже нет, хорошо говорите. Украинцы надолго сохраняют.

— Отвык совсем. Сколько лет в Москве. Нас пятеро было. Мать, я с женой — семнадцать лет ей тогда было — да два моих брата. Я старший. Пожил я там, пожил, понял, что смерть,— и убежал. В Москву приехал, документы достал на чужую фамилию — добрые люди помогли,— устроился сезонником на стройку. Мать я потом вытянул. А братья померли и жена с ребенком. Она беременная была. А мать вытянул. В тридцать третьем на курсы шоферов устроился, стал работать на «ЗИСе», потом взяли меня на базу НКВД. Биография ведь у меня была чистая. Сначала на грузовике работал, потом меня на «воронок» посадили. Вот с тридцать шестого по пятьдесят третий. Уж я их с Лубянки куда только не возил: и в Лефортово, и в Сухановку, и в Бутырку. И куда я их только на этом «воронке» не возил.

— Мать жива? — спросил я.

— Жива,— ответил он.— Мать до сих пор жива. Крепкая старуха, но беспокойная. Я женился, дети у меня, а она все братьев не может простить и жену. Вот, говорит, жену и братьев там бросил. И все нудит и нудит... прямо от нее житья нет. Чем дальше, тем хуже. Вот квартиру получил сейчас, ничего живу, хорошо.

Все это рассказал мне шофер такси за двадцать минут пути. Вечер был теплый и ясный. С тополей во дворе летел пух. В скверике по щиколотку в пуху бегали маленькие девочки и мальчики с совочками, лопатками и игрушечными автомобильчиками.

...Неужто нет гарантии?

Дастархан

«Я знал вашего отца».

Эту фразу приходилось слышать часто. Особенно после реабилитации.

Когда в «Правде» была опубликована большая редакционная статья «Верный сын партии», ко мне подошел человек, с которым я был довольно хорошо знаком до этого и встречался по меньшей мере раз в месяц. Это был Михаил Маркович Шейнман, доктор наук, профессор, крупнейший специалист по истории Ватикана. Я знал, что Михаил Маркович прошел немецкий плен, выдавая себя за татарина. Он был очень осторожен до войны, во время войны и после нее.

— А ведь я знал вашего отца.

— Да? — вежливо удивился я.

В те дни многие говорили об этом. Многие видели его, слышали его выступления, бывали вместе с ним на конференции или в театре.

— Я учился с вашим отцом в Свердловке, в Коммунистическом университете имени Свердлова на одном потоке с 1922-го по 1924 год.

Вот те раз! Сколько лет молчал, видя меня.

— Слушаю вас, дорогой Михаил Маркович! Слушаю!

Этот период жизни отца был вовсе тогда неизвестен мне.

Как это, кстати, получилось, что отец — узбек-выдвиженец, не имея возможности знать о письме Ленина по национальному вопросу, написал письмо в ЦК ВКП(б) с резкой критикой сталинского плана автономизации. Письмо было аргументированным, отец критиковал Сталина с позиций марксизма. Как это он смог, сумел?

Вот об этом я и спросил.

— Ваш отец,— сказал мой собеседник,— был наиболее эрудированным из студентов, а в национальном вопросе считался специалистом.

Далее мой собеседник заговорил о скромности.

— Его отличительной чертой была скромность,— сказал Михаил Маркович.— Он был очень скромным.

— Простите,— прервал я.— Как это вы, студенты одного курса, могли отличить кого-то по скромности? Простите, но это странно. Может быть, он был робким, забитым, несмелым?

Я очень боялся, что осторожный Шейнман будет говорить общими фразами. Я ошибся.

— Нет, он был очень скромным. Это ведь считалось, что он такой же студент, как мы, но мы все знали, что он оставлен в прежней номенклатуре секретаря ЦК КПТ, что его часто вызывают в ЦК в качестве консультанта, что ему вскоре предоставили комнату в Доме Советов, что Сталин советуется с ним, спорит. Представьте, ведь

Сталин, будучи генсеком, читал у нас курс «Марксизм и национальный вопрос». Как нам не удивляться скромности Икрамова, если в перерыве между лекциями мы видим, что наш товарищ, однокурсник, прогуливается с генсеком по улице и горячо спорит. Спорит с генсеком! По жестам видно, что спор идет/ А потом он с нами, студент как студент.

— Я знал вашего отца.

Однажды это сказал известный поэт и переводчик Семен Липкин.

— Я с ним встречался по поводу переводов Алишера Навои. Это было в тридцатых годах, когда Навои еще считали классово чуждым, идеологом феодально-эксплуататорского строя. Ваш отец поставил вопрос о том, что Навои должен быть возвращен узбекскому читателю, что это величайший поэт и с его творчеством необходимо ознакомить также и русского читателя. Он говорил о Навои, о том, какие эквиваленты для перевода следует искать в русской поэзии, говорил о двух лингвистических пластах в его лексике, находил аналогии в сопоставлении Пушкина и Державина, вдавался в такие тонкости, которые свидетельствовали о глубоком понимании поэзии вообще.

Итак, ко времени разговора с Семеном Израилевичем Липкиным я знал, что отец был довольно образованным марксистом. Но то, что я узнал от Липкина, как-то не вполне укладывалось в мои тогдашние представления об узбеке-выдвиженце: два языковых слоя в поэзии Навои... эквиваленты в русской поэзии... Наш дальний родич— заслуженный учитель, орденоносец, Насыр-ака, учился вместе с моим отцом в мектебе (домашней школе) моего дедушки муллы Икрама.

— Скажите, Насыр-ака, вот говорят, что отец хорошо знал поэзию. Откуда это могло быть? Что, у вас в мектебе изучали стихи?

— Изучали, Камилджан, изучали, только совсем немного. Но дедушка Икрам не любил стихи. Стихи любил Касым коры-ака, Алимхан любил стихи. Это у них твой отец научился. А дедушка твой не любил стихи.

Однажды — твоему отцу было лет тринадцать-четырнадцать — дедушка ушел в мечеть, а вместо себя оставил Акма-ля. Карим был старше и Коран знал не хуже, чем твой отец, но у твоего отца, как теперь говорят, педагогический талант был. Он часто заменял дедушку, был его помощником. Его звали Акмаль-хальпа. Дедушка ушел, сказал Акмалю, чтобы Коран читали. А Акмаль взял какие-то стихи, сказать по правде, сейчас: не помню — может быть, Навои, может быть, Омара Хайяма, может быть.Физули, может быть, Бедиля, может быть, Руми, может быть, Саади, может быть, Абдуррахмана Джами, в общем, кто-то из великих. Стали мы стихи учить.

Твой дедушка внезапно вернулся. Как увидел, что твой отец не тем занимается,— взял его за руки, привязал к большой цветущей яблоне.

Большая была яблоня на ташкори — это внешний двор. Вот где сейчас стоит дом Амина, это была ичкари — внутренняя половина, а ташкори — это там, где сейчас дорога на стадион «Пахтакор». Вот эта дорога, которая мимо обувной фабрики.

Вот где сейчас дорога над обрывом, там была большая яблоня, вся цвела. Белая-белая. Дедушка привязал твоего отца за руки к этой яблоне и стал его бить палкой. Он очень злой был, твой дедушка. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не тетя Арипа. Ты ее не помнишь, это бабушка Хамида. Тетя Арипа твоему дедушке родная сестра. Она сказала: «Что ты бьешь его, что он плохого сделал? Он же книжку читал, он же стихи читал! Зачем бить его!» Еле отняла.

Потом, я не знаю, как случилось, но больше после этого случая твой дедушка Акмаля не бил. Всех детей бил а его не бил. Говорят, между ними что-то вышло.

— Насыр-ака, вот вы говорите — Алимхан это, как я понимаю, старший брат дедушки, Касым-коры это муж тети,— вы говорите, что они хорошо знали поэзию А откуда они знали поэзию?

— Ну, что ты, Камиль? Алимхан написал труд, большой труд. Называется «Туркестан тарихи» — «История Туркестана». Он же ученый был. И Касым-коры тоже был ученый-

— Насыр-ака, конечно, мы не можем знать сейчас точно — время уходит, и мы уже не помним, — но очень интересно, откуда все-таки в нашей семье в центре Старого города оказались такие образованные люди? Что это была — образованная семья?

— Конечно, образованная,— говорит Насыр-ака. Выше твоего отца четырнадцать поколений узбекской интеллигенции в чшшем роду.

— Четырнадцать? — спрашиваю я.— Откуда это известно?

Разговор идет после плова в загородном домике Насыра-ака, возле школы, где он учительствует. Мы пьем чай с леденцами. В вазочках лежат окаменевшие конфеты фабрики «Уртак» и каменное печенье «Привет».

Насыр-ака встает, надевает у входа свои глубокие азиатские галоши — двор только что полили из шланга — и идет к сараю. Он приносит мне толстую тетрадь, исписанную арабским шрифтом. На одной из страниц этой тетради тщательно вычерченное генеалогическое дерево нашей семьи. Здесь есть место всем.

Вот так выглядит прямая от отца и выше.

Акмаль (1898—1938), Икрам-домла (1866—1917), Мохаммед-Касым-хан (1848—1903), Мохаммед-Салих (1819—1862), Караходжа (известна только дата смерти. Повешен за организацию восстания 28 января 1876 года), Хамид-Ходжа (1760—1824), Юнусходжа (дат рождения и смерти у меня нет) Все они восходят к знаменитому шейху Хованди Тахуру, а тот, по преданию, нашедшему место в трудах классика

таджикской литературы Абдуррахмана Джами, происходит от самого халифа Омара, основателя мусульманской империи.

Я не очень верю в генеалогическое дерево, хотя почему и не верить. Во всяком случае, это здорово, что люди помнят или пытаются помнить, от кого они произошли. Это ко многому обязывает.

Однажды за обильным восточным угощением собрались четыре троюродных брата. У узбеков это считается близкой родней, а если учесть, что отец и его четыре брата — из них трое еще бездетных — были уничтожены,— то мы почти родные. За столом сидели известный в Ташкенте хирург, известный в стране писатель, академик, доктор физических наук, и я — младший.

— Скажите, Садык-ака. А правда, что Касым-ака хорошо знал математику? Муршида говорит, что он помогал ей решать алгебраические задачи в десятом классе.

— Не надо преувеличивать,— заметил академик.— Он был большим знатоком литературы и языков, но математику знал только в объеме теперешней средней школы.

— Но никто за этим столом, кроме вас, не знает математику в объеме средней школы и никто не сможет помочь своей дочери или сыну-десятикласснику решать задачи. А Муршида была отличницей к тому же.

— Конечно,— сказал мой троюродный брат, писатель. Он был типичным энциклопедистом позднего средневековья или раннего Возрождения. А ведь у нас до революции было фактически средневековье.

С мужем моей тети я не был знаком. Библиотека его погибла, а сам он умер в ссылке. Как говорят, с голоду

Дом, в котором родился мой отец и до последнего времени жил мой двоюродный брат Амин, был разрушен во время знаменитого Ташкентского землетрясения в апреле и мае 1966 года. Я уже писал про этот дом, но не могу не вернуться к нему опять, как время от времени возвращаюсь туда, где этот дом стоял столетия. Мне не избежать повторов в этой книге не только потому, что беллетристика кажется мне недостаточно достоверной, но и потому, что в этой теме и я и все поколение — как белка в колесе.

Режиссер «Узбекфильма» — величественный и надменный Эсон Каримов, знаменитый в Ташкенте не своей режиссерской работой, а потрясающим умением готовить плов, манты, шашлыки, этот самый Эсон-ака подвел меня однажды к тому нашему дому и рассказал то, что касалось только нас двоих.

Здесь, на балахане, мой отец тайком читал газеты, которые тайком же приносил Тураб, сын соседа, богатого кондитера, старший брат Эсона. Только сын кондитера

мог опаздывать на занятия, и только его мой дедушка не наказывал палкой, только его мой отец мог посылать на базар за газетами.

Я спросил Эсона-ака:

— А почему вашего брата Тураба мой дедушка не наказывал?

— Ну как же его наказывать? Каждый четверг мой отец посылал твоему дедушке богатое угощение, другие же бедняки были, а время военное, голодное. Между прочим, когда нас раскулачили, Тураб сказал: «Я пойду к Акмаль-ака, он поможет, чтоб не высылали». Мы сказали: чего ты пойдешь к Акмаль-ака, неужели он тебе будет помогать, если ты сын капиталиста! Тураб сказал: «Поможет. Я ему газеты носил». И действительно твой отец помог. Нас не выслали. Потом Тураб умер от тифа...

Не знаю, может, отец поступил непринципиально но я рад вставить этот эпизод в книгу.

Осенью 1910 года из Мекки в Ташкент вернулась небольшая группа паломников.

Была слякоть. На улице Укчи возле огороженного дома с глиняными пристройками, балаханами, балкончиками и большой яблоней в углу двора остановился жилистый черноглазый мужчина. Из ворот сразу выбежали домочадцы.

Вернулся хозяин — мулла Икрам, или, как говорят узбеки, Икрам-домла, мой дедушка. Четверо сыновей встречали его. Старший, очень похожий на своего отца, такой же черноглазый Карим, худенький, светлее других по цвету волос, мой отец Акмаль и два меньших — Усман и Нугман. Четверо сыновей встречали моего деда и две дочери. Старшая, Русора, сама уже была матерью. Вторая, Садыка, была замужем за своим двоюродным братом — Касым-коры.

Эту сцену помнит Садыка-амма, об этой сцене рассказывала мне Русора.

В нашей семье старшую сестру звали котта-амма, младшую — кичкина-амма (котта — большая, кичкина — маленькая).

Я довольно смутно помню подробности своего первого после девятнадцати лет возвращения в Ташкент. Помню, как я до этого ходил в Постоянное представительство Узбекистана в Москве, как сердечно и трепетно принял меня тогдашний постпред Касым Рахимович Рахимов, для которого я был дорог не только в качестве сына Акмаля Икрамова, но и как сын Евгении Львовны, учеником которой он себя считал всю жизнь.

Я не помню: встречали ли меня в аэропорту родные, а если не встречали, то как я оказался в доме моего двоюродного брата Амина, где в тот день справляли огромный той по случаю обрезания его старшего сына Улугбека?

Амин, бывший когда-то чемпионом республики по гимнастике, тогда работал грузчиком угольного склада, широкий в плечах, в широкой черной рубахе навыпуск, в широченных брюках и пиджаке внакидку принимал гостей... А может, у меня сместилось и совместилось два дня из того приезда.

Вот брат мой Ургут. Родной, рожденный той самой Ханифой, дочкой муллы Иброхима из Пскента, на которой мой отец твердо решил не жениться.

Женили его. Женили, когда вслед за бабушкой умерла старшая невестка, когда дом остался вовсе без женщин.

Женили, но отец, который и так-то стремился вон из дома, вскоре ушел совсем, уехал в Наманган, а беременная Ханифа вернулась в отчий дом, в кишлак Пскент. Там она и рожала. Потом, как это часто бывало у нас в Узбекистане, ребенка забрала родня мужа, а Ханифа вскоре вновь вышла замуж, и весьма удачно.

Ургута воспитывала бездетная тетя Садыка, а когда отец женился на моей матери, они забрали его к себе. Какое-то время он жил у моего деда в Москве, потому что нуждался в лечении и заботе, которую мог обеспечить только врач, и притом такой внимательный и состоятельный.

Разница в возрасте в детстве мешала нам дружить, да и по характеру своему он был всегда более замкнут и насторожен, чем я. Помню, что он уже заговаривал о женитьбе, когда я учился во втором классе.

Приходила к нам на Гоголевскую Ханифа, кажется, уже с четырьмя детьми. Принимали ее всегда с почетом, как старшую, хотя и разведенную жену.

В тридцать седьмом Ургуту было девятнадцать. Отец предупредил его, чтоб уезжал из Узбекистана. Ургут уехал в Кинель, поступил в сельхозинститут и там был арестован, получил свои десять лет, в лагере «дошел», был «сактирован», выжил, долго скитался, работал плотником и всячески избегал прописки.

Тюрьма, как болезнь, одних приводит к смерти, другим дает осложнения на всю жизнь, третьи отделываются воспоминаниями в кругу друзей. Брат получил серьезные осложнения и хотя сумел после реабилитации кончить институт, защитить кандидатскую и родить пятерых детей, но пришибленность осталась. Осталось то, что поразило меня тогда, в пятьдесят шестом. Мы собирались на прием к первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Н. А. Мухитдинову, и брат, работавший плотником на стройке, спросил меня:

— Как думаешь, если я попрошу, может он дать распоряжение, чтобы прораб ставил меня на плинтуса? На плинтусах нормы хорошие.

В тот день я встретился сразу со всей своей родней, потому что обрезание — это праздник, на который приходят не только близкие родственники, но и дальняя родня, и соседи.

Бедный Улугбек, мальчик лет восьми, страшно похожий на своего отца и на своего деда, такой же черноглазый, лежал на одеялах и стонал. Обрезание ему сделали за несколько часов до моего прилета. Во дворе играли музыканты, один — на бубне, другой — на зурне. Дымился плов. Вообще на этом тое было более трехсот гостей. Они приходили не все сразу. Кажется, шла уже третья сотня.

Вечером мы сидели в своем кругу. Мы сидели на глиняном возвышении среди двора, на той традиционной суфе, которая есть в каждом старом узбекском доме. Виновник торжества, опоенный специальным снадобьем, уснул. Уснула младшая дочка. На суфе сидели Амин и Ургут. Жена Амина Кумри то присаживалась на минуту, то уходила в дом за угощением. Над суфой, свешиваясь с виноградника, болталась мутная электрическая лампочка, и под ней в сторонке от нас сидел мой второй двоюродный брат — слепой Pain ид.

Он сидел к нам боком в каком-то особом ракурсе, в котором обычно сидят слепые, участвующие в разговоре зрячих. Амин рассказывал какие-то истории, иногда смешные, иногда назидательные, Ургут по-детски смеялся, а Рашид молчал, изредка вставлял слово или два.

Я в детстве сторонился его, как здоровые дети сторонятся людей непонятных, искалеченных.

Большую часть из тех девятнадцати лет, что мы не виделись, Рашид страшно бедствовал. Несколько лет он ниществовал на базарах, гадал по книге для слепых Это, пожалуй, все, что я о нем знал Не помню, по какому поводу, я сказал Амину

— Ну, что ж, все к лучшему в этом лучшем из миров, как говорил Вольтер

— Камил, растягивая гласные, сказал Рашид,— это сказал не Вольтер, это сказал Панглосс Не нужно путать слова автора со словами героя От этого происходят многие неприятности

С этой фразы я и запомнил, с этой фразы я и обратил внимание на своего брата Рашида.

Из всей нашей семьи, из всех нас, выросших в советское время, из всех нас братьев — родных, двоюродных и троюродных братьев, среди которых есть ученые, хирурги, известные писатели и академик, Рашид бесспорно самый умный и талантливый

Он философ, живущий внутренней жизнью, он стоик, он ужасно одинокий человек, не желающий ничьей помощи и боящийся жалости.

— Ты интересуешься дедом? спросил он меня, так же не поворачивая головы. Это был довольно образованный человек, которому образование не дало ничего, кроме фанатизма. Он зверски бил своих детей; всех — и дочерей, и сыновей, бил даже женатых сыновей. Только дядю,— дядей Рашид называет моего отца, — он не бил, кажется, с одиннадцати или с двенадцати лет. Это старухи так рассказывают. Нет, с

тринадцати... От деда ничего не осталось — ни фотографии, ни писем. И добрых воспоминаний о нем не осталось. Эй, Кумри,— сказал он невестке,— принеси скалку.

Та принесла довольно узкую и длинную палку, не точеную, как русские скалки, а просто нетолстую трость.

— Вот, сказал он,— это посох, с которым наш дед ходил в Мекку.

— Почему же он такой короткий? — спросил я Рашида. — За эти десятилетия, как он вернулся,— сказал Рашид,— соседи и родственники выпрашивали по маленькому кусочку для талисманов. Ведь посох-то святой, дедушка с ним в Мекку ходил. Ты не знаешь, тумор называется. У нас в это верят.

У Рашида поразительная память. Он помнит все даты и имена. Рассказ о тридцать седьмом он начинает с елки, которая была в нашем доме. Не здесь, в доме дедушки, а там, на Гоголевской, где в доме, принадлежавшем когда-то военному губернатору Сырдарьинской области, жил первый секретарь ЦК.

Этот дом я попытался описать в главе о высоком чине царской администрации. Камин описал и террасу, примыкающую сразу к нескольким комнатам.

Мы прожили в этом доме всего один год, отец категорически не хотел туда переселяться, однако настаивали и настаивали из Москвы. Зачем это было надо?

— Я помню эту елку,— говорит Рашид.— Мы тогда с тобой разговаривали, а потом Ургут стал показывать кино. У него был проектор для немого кино. Тогда дядя вошел и увел меня к себе в кабинет, чтобы поговорить. Он решил, что я скучаю, когда все смотрят немое кино.

11 июня я тоже приходил к вам на Гоголевскую. Дядя обещал отвезти меня в Одессу к профессору Филатову. Тогда очень много шума было вокруг Филатова, и дядя сказал, что отвезет меня к нему. Я очень надеялся.

А 12 июня,— я не проверяю даты, которые указывает Рашид, потому что он никогда не ошибается,— я услыхал по радио о группе Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка и Эйдемана. Я запомнил эти две даты, потому что очень испугался. Я почему-то подумал, что меня могут не повезти к Филатову.

А в выходной день 18 июня я узнал о снятии Файзуллы (Файзуллы Ходжаева.— К. И.). Я подумал: тут что-то не так. И я почему-то сказал матери, что Файзуллу не только сняли, но и посадили. Я всю ночь не спал, боялся, что мать скажет отцу и мне влетит за вранье, он мог побить. Мы все его боялись, он был похож на дедушку. Утром я признался матери, что сам придумал про арест. А она, оказывается, ничего ему не говорила.— Рашид горько усмехается.— Помню, что с 3 августа председателем Совнаркома вместо Файзуллы стал Абдулла Каримов. А потом однажды пришел отец и сказал матери:

— Аблуллани уткызып коепти (Абдуллу арестовали).

Потом он как-то рассказывал, что встретил Джуру Тюрябекова и тот сказал ему, что он теперь председатель Совпарткома.

Примерно десятого августа Муршида писала письмо дяде Юсупу. Отец сказал Муршиде, что у нас отстранен от дел наркомфин Исламов и предгорсовета Таджиев.

Я пришел в школу для слепых первого сентября, а четвертого сентября воспитатель школы-интерната Самуил Давидович Капсун сказал мне:

— Приходи вечером, будем читать статью о твоем дяде.

По-моему, твоего отца забрали 20 сентября днем. Так мне кажется. Мы все время звонили, но к телефону никто не подходил. В школе для слепых в тот день, двадцатого, ко мне прибежал мой приятель Шурик Ковалев и сказал: «Портреты твоего дяди снимают».

— Рашид,— спросил я,— разве у вас в школе для слепых были портреты моего отца?

— Чему ты удивляешься? — усмехнулся Рашид.— Это единственное, что тебя удивляет?

Между строк

Нет, я не стану рассказывать о пытках, которым подвергали моих знакомых. Я не стану высказывать предположений о том, как пытали моего отца. Я не знаю, в какой тюрьме сидел отец, кто и где допрашивал его, где его расстреляли, где похоронили. Говорят, что на Лубянке был свой крематорий, труба которого выходила в трубу игрушечной фабрики. Ложь, конечно, досужая выдумка. А вдруг — правда?

Я буду и дальше говорить — «говорят». «Говорят» — почти единственный источник информации. Да и ссылаться на говорящего в данных обстоятельствах не всегда удобно

В Ташкенте есть теперь район, есть улица Икрамова, есть колхозы, совхозы, учебные заведения, названные в память о нем...

А могила неизвестна.

О последних днях матери я знаю несколько больше

В декабре 1957 года я получил письмо от своего ровесника, узбекского инженера. В письме рассказ о событиях двадцатилетней к тому времени давности.

«Дорогой Камиль!

Ваше письмо подоспело очень кстати. У меня как раз гостит моя мать — Крымова Асия Хасановна. Сидим мы с ней сейчас за столом и вспоминаем те ужасные годы...

У меня в тридцать седьмом году арестовали отца и мать. Было мне тогда десять лет…

Мать встретилась с Евгенией Львовной в камере № 67 тюрьмы НКВД 12 ноября 1937 года, куда Евгению Львовну перевели из одиночного заключения после шестидесятитрехдневного непрерывного допроса. На допросе она себя виновной не признала и ничего не подписала... Пробыли они вместе до 10 января 1938 года, когда мать перевели в Таштюрьму. В течение 38 года мать неоднократно получала приветы от Евгении Львовны через людей, переведенных из тюрьмы НКВД в Таштюрьму. Затем сведения об Евгении Львовне прекратились...»

Я встретился с Асией Хасановной в красивом доме, в хорошей квартире. Говорили мы долго, я не вел записей и помню только, что на вопрос, как мать относилась в то время к Сталину, Асия Хасановна ответила:

— Однажды ночью мать сказала вдруг: «Сталин знает обо всем. Теперь я поняла».

Один из бывших работников Наркомзема Узбекистана, казах Батырбеков, встретил мать в коридоре тюрьмы, когда конвоиры по оплошности не сумели развести их. Такие встречи не допускались. Специальная техника разработана

Мать сказала:

— Держись, казак!

Батырбеков рассказал это мне, когда я встретился с ним в ссылке.

Вот и все, что я знаю достоверного о матери.

А об отце я не знал почти ничего. Только процесс.

Итак, стенограмма. Страница 324.

Икрамов. ...Теперь разрешите сказать, что сделала наша националистическая контрреволюционная организация в осуществление своего плана, своей программы. После того как Бухарин упрекнул меня в недостаточной активности, я сам совершил непосредственно вредительский акт. В 1935 году мы — я и Любимов[1] и Файзулла Ходжаев — совместно дали директиву за подписью Любимова и Икрамова (подписи Файзуллы, кажется, не было): принять хлопок повышенной влажности против установленного правительством Союза стандарта, в результате чего 14 тысяч тонн хлопка пропало, из них 2600 тонн пошло на ватную фабрику, а остальное количество — на низкие сорта. Убытки составили несколько миллионов рублей.

Вышинский. Это сознательно было вами сделано?

1 И. Е. Любимов — нарком легкой промышленности СССР.

- 186 -

Икрамов Конечно. Если бы это были случайные вещи, я бы о них здесь не говорил. По каракулю было вредительство. Мы не сами его непосредственно сделали, но через членов нашей организации — было снижение сортности. Было осуществлено вредительство и в коммунальном хозяйстве Ташкента и Бухары... Вот факт вредительства в области строительства. Ташкент делится на две части: старый город и новый город. В старой части канализации нет, огромные пространства занимают земли, на которых нельзя строить дома. Кроме того, имеется много поглощающих ям. Новое здание Наркомпочтеля начали строить, причем ввиду наличия девятнадцати поглощающих ям надо было начинать закладывать фундамент с 30—40 метров.

Вероятно, здесь не нужны комментарии, ибо каждый видит всю нелепость показаний о вредительстве первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана. Но я часто вспоминаю об этих показаниях, проезжая по самой красивой улице Ташкента, улице Алишера Навои[1], заходя на Центральный телеграф, который помещается в том самом здании, о котором идет речь. Рядом с этим домом стоят десятки новых зданий. В каждую юбилейную дату газеты Узбекистана подчеркивают то, что почти не остается понятия «Старый город». Новый город строится там, где, по словам моего отца, «нельзя строить дома» Поглощающие ямы не мешают.

Дальше я цитирую стенограмму без пропусков до конца допроса.

Икрамов. ...Такое же крупное вредительство, на которое мы закрывали глаза, имело место по линии строительства Наркомлегпрома, на хлопковых заводах и шелковых фабриках. Цифры я сейчас не помню, огромные средства вложены в строительство, переходящее из года в год. Кажется, строительство Наркомлегпрома по шелковой промышленности было запроектировано на 300 миллионов рублей. Из них 80 миллионов вложено в строительство, а остальное из года в год идет как переходящее строительство. В Намангане начали строить шелкомотальную фабрику. Полтора-два миллиона израсходовали, а в середине года говорят, что нужно консервировать. Я очень удивился, так как не знал техники этого дела. Говорят, что для консервации потребуется полмиллиона рублей, и действительно Наркомлегпром отпустил для консервации полмиллиона рублей.

1 Улица Навои оказалась недалеко от эпицентра землетрясения 1966 года, и я вынужден внести уточнение. Некоторые дома на этой улице частично пострадали. Но Центральный телеграф стоит и работает.

На строительство хлопкоочистительного завода в Бухаре затрачено 5 миллионов рублей. Завод готов, но не может работать, хотя и машины привезены Почему? Потому что нет прессов.

Вышинский. Сколько стоит пресс?

Икрамов. Наверно, 100—200 тысяч. Даже дома построены для рабочих и служащих, а завод стоит и используется сейчас под амбар.

Вышинский Кто отвечает за это?

Икрамов За это отвечает, в частности, Наркомлегпром. Но и я как человек, закрывавший на это глаза, конечно, тоже отвечаю.

Вышинский Вы прикрывали это?

Икрамов. Конечно, я делал вид, что не вижу. Такие же самые дела по хлопковым амбарам. Это относительно вредительства. Теперь относительно повстанчества Фаизулла в своем показании об этом говорил

Вышинский Что вы сделали для организации повстанческих отрядов?

Икрамов. Мы дали им такую директиву. Что конкретно сделано, мне неизвестно Но Балтабаев[1] говорил, что Алмазов заявлял ему, что он уже приступил к этому делу в Маргеланском районе, что у него уже кое-какие кадры есть.

Вышинский Значит, готовили эти кадры?

Икрамов. Потом, кажется, Фаизулла мне говорил, что в Бухаре тоже готовится это дело. Вот относительно моих преступлений перед Советской властью. Если можно подытожить, я сформулирую мои преступления. Это — измена социалистической родине, измена советскому народу, в первую очередь узбекскому народу, который меня вскормил, взрастил.

Председательствующий (к прокурору). У вас есть вопросы к подсудимому Икрамову?

Вышинский. Нет

Председательствующий Объявляю перерыв на полчаса.

1 Балтабаев — первый секретарь Ташкентского горкома, секретарь ЦК КП(б) Узбекистана до 1937 года, умерший в тюрьме после неудачного покушения на самоубийство. Отец это знал.

Дастархан

Это было в мае 1955 года, еще до того, как я пошел в Историческую библиотеку читать стенограммы процесса.

Первый месяц моей свободной жизни. Я хотел наслаждаться свободой больше и больше. Я не знал, что нельзя быть более счастливым, если ты счастлив. Это несчастью предела нет.

Мой старший друг, инженер-самоучка, известный мотоциклетный механик и тренер Матвей Григорьевич Гинцбург, приютил меня в своих двух комнатках в полусгнившем деревянном флигеле на Большой Серпуховской улице. Когда-то мальчишкой-ремесленником я приходил к нему в этот флигель перенимать поразительный опыт автомеханика. Я звал его дядей Митей. Дядей Митей звали его и многие спортсмены-мотоциклисты, которых он тренировал, готовил их машины к рекордам.

Те уроки автодела запомнились на всю жизнь. Я уже писал, что в лагере я остался жив отчасти потому, что прошел там трудные испытания на звание автослесаря и попал в бригаду ремонтников. О Матвее Григорьевиче Гинцбурге я писал однажды в журнале «Здоровье», потому что это, кажется, единственный в мире человек, после перелома позвоночника и постигшего его с девятнадцати лет на всю жизнь паралича нижней половины тела и ног, смогший стать крупнейшим специалистом в избранной им области техники, до сорока лет зарабатывать себе на жизнь слесарным трудом, потом написать несколько великолепных книг о мотоциклах, а попутно заниматься спортом, выступать вместе с Яроном в оперетте и быть бойцом истребительного батальона во время Великой Отечественной войны.

Неудивительно, что для меня он был не только учителем автодела. Он никогда не разговаривал о постороннем во время работы. Но, вытерев руки, он разламывал добытый трудом кусок военного хлеба, протягивал мне мою честно заработанную долю и начинал философствовать. По складу ума он был парадоксалист-скептик. Шопенгауэр, Ницше, Ренар, Стерн и Анатоль Франс. Он со смехом цитировал их, а я слушал открыв рот.

Старшие друзья по лагерю, любившие меня, и не подозревали, какую тренировку моему мозгу давал прежде них Матвей Григорьевич. Это он заставил меня прочесть «Боги жаждут», книгу, перевернувшую мои подростковые представления о жизни и истории. Тогда, году в сорок первом, я отождествлял своего отца с Эваристом Гамденом, а сам возмечтал быть похожим на Бротто-дез Илетта.

Вот и сейчас, собираясь рассказать совсем другую историю, я вспомнил Эвариста Гамлена и опять стал сравнивать его с моим отцом.

Нет, нет, все иначе. И теперь я чаще вспоминаю слова Энгельса: «Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что они

не знали, что делали,— что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории...» Я понимаю и другое: даже убедившись, что детище обмануло надежды, что ребенок проявляет людоедские наклонности, что он вполне готов сожрать и своих родителей, все равно нельзя отбежать в сторону. (Кстати, часто говорят, что революции поедают своих детей. Не вернее ли говорить о том, что революции поедают своих родителей?) Даже в этом случае разве можно отскочить в сторону, умыть руки, не захотеть повлиять, помочь, помешать, понимая всю степень своей личной ответственности за сделанное?

Я сужу отца.

И все-таки я знаю точно — он был лучше, чем я, много лучше.

Было бы странно, если бы отец мог рассчитать все те повороты истории, которые происходили в России, начиная, скажем, хотя бы с 1921 года, и которые весьма своеобразно преломлялись на периферии. Предусмотреть это не мог никто, тем более молодой узбекский революционер, озабоченный прежде всего делами своего народа.

Эту главу я писал в 1966 году в больнице города Намангана, города, где мой отец в 1919 году организовал первые советские школы и первые партячейки. Вернемся, однако, к 1955-му.

Я сидел на оранжевом дерматиновом диванчике в квартире дяди Мити и слушал его парадоксы

Зазвонил телефон. С первой минуты стало ясно, что ошиблись номером, но Матвей Григорьевич отчаянно флиртовал с незнакомкой, галантно высказывался о ее голосе и назначил свидание на станции метро, где он сам никогда не был, потому что лишился ног за пять лет до пуска первой линии московской подземки.

— Я худой брюнет в толстых очках и зеленом костюме,— говорил он, поглядывая на меня.— Ботинки я чищу редко... Хорошо. В левой руке я буду держать газету… Камка,— сказал он мне, положив трубку,— в пятницу в шесть часов, метро «Красные ворота», в левой руке держи газету. У нее очень приятный голос.

...Я сразу увидел ее, потому что опоздал минут на десять и она нетерпеливо и тревожно ходила по вестибюлю. Лет двадцати шести — двадцати восьми, в очках, в добротном летнем пальто. У меня не было условленной газеты, и я придумал, как выйти из положения.

— Вы не знаете, где здесь газетный киоск? Дело в том, что мне нужно купить газету, чтобы взять ее в левую руку.

Сочинив такую шикарную фразу, я не мог не произнести ее и подошел к женщине в очках. У нее было ватное лицо и жалостливое выражение светло-карих глаз за большими, не по лицу, очками.

— Ах, это вы!

У меня было всего пять рублей, ровно столько, сколько стоит один билет в кино. Поэтому я пригласил даму в Парк культуры и отдыха имени Горького. Рубль на метро туда, рубль на метро обратно, полтинник мне на дорогу, два пятьдесят на развлечения.

В парке мы ели эскимо, пили газированную воду и на Массовом поле слушали ансамбль цыган. Они пели песни о родине, о партии и цыганскую песню о Сталине. Это была последняя песня о Сталине, которую я слышал в публичном исполнении. (Потом пришлось бояться, что скоро эти песни услышу опять.)

Моя дама послушно ходила за мной и не противилась, когда я пытался увлечь ее в аллеи Нескучного сада, где, по моим довоенным воспоминаниям, должно быть темно и безлюдно. Но все изменилось с тех пор. Там было светло и людно, а возле каждой затененной скамеечки стояло по милиционеру. Нельзя сказать, чтобы я был этим огорчен, ибо она была моих лет, следовательно, стара, и тоже в очках. Я боялся, что наши очки стукнутся, когда я захочу ее поцеловать. Я проводил ее до дома, она сбегала к себе на третий этаж за «Беломором». Мы стояли во дворе и курили.

— Поцелуй меня,— сказал я ей от скуки.

— Какой вы странный,— сказала она.— Вы, наверно, очень хороший человек... Знаете, я хочу пригласить вас пойти со мной тридцатого. Вы свободны тридцатого?

Я не знал, свободен ли я тридцатого, и потому задумался. А она продолжала:

— Будет два года со дня смерти моего мужа. Я хочу позвать вас на кладбище, на его могилку.

Я растерялся. В то время я еще не собирался становиться писателем, даже не мечтал об этом, но почему-то боялся плагиата. Я четко помнил, что похожая ситуация описана Мопассаном, испытал чувство неловкости и, чтобы не отвечать «нет», спросил:

— А вы были замужем?

— Да,— сказала она.— Мы очень дружно жили

— Что же с ним случилось? — спросил я, опять уводя разговор в сторону.— Отчего он умер?

— Видите ли, он покончил самоубийством,— сказала она, и я понял, что она готова рассказывать мне всю свою жизнь.— Он был очень тяжелый человек, нервный, тяжелый человек. Но он меня очень любил. Он меня очень любил… Конечно, с ним было нелегко. Однажды... у нас была такая собачка, тойтерьер, может быть, знаете? И вот эта собачка нагадила у нас в спальне. И он взял и прямо в спальне ее повесил...

— Да...— сказал я.— А где он работал?

— Он был адъютантом Лаврентия Павловича Берия, - не без гордости сказала она.

Так я узнал, что один из адъютантов Берии покончил с собой 30 мая 1953 года, за несколько недель до ареста своего шефа. Говорят, в 1953 году на станции метро «Дзержинская» и в общественной уборной на площади было несколько самоубийств. Так ли это, я не знаю.

Мою случайную знакомую я больше не видел. Моего телефона она не знала, а сам я ей не звонил.

Сейчас, готовя рукопись к набору (неужто будет книга!), я еще раз думаю о том, что я не строил этот сюжет, что факты сами сбегались ко мне, когда я вовсе и не хотел их искать.

Попытка литературоведения

С тех пор как я вернулся в нормальную жизнь, волнует меня и удивляет странное отношение общества к литературе. Может быть, так во всем мире?

Качает нас из стороны в сторону, и будто не было в стране великой письменности, и та, что доходит до нас, существует в каком-то очень далеком от собственного смысла качестве.

Волнуюсь, сомневаюсь, корю свою необразованность и вновь сомневаюсь. Недавно прочел случайно школьное сочинение восьмиклассницы. Девочка умная, но когда писала про « Героя нашего времени», то в учебник не заглянула, а на уроке, когда проходили роман Лермонтова, видимо, не была. Читал я это школьное сочинение и удивлялся свободе мышления, когда экзамен далеко. Выходит по этому сочинению, что Печорин отнюдь не альтер эго автора, а совсем наоборот Выходит, что автор первых двух глав и автор «журнала Печорина» антиподы, и первый, бесспорно, когда-нибудь будет убит вторым.

Вопрос там есть: почему это Григорий Александрович Печорин зовется в обществе Жоржем? Уж не про Дантеса ли думал Лермонтов, он ведь много думал о Дантесе.

И вот я, человек с высшим филологическим образованием, полученным в весьма зрелые годы, сажусь перечитывать «Героя нашего времени» и вижу, что восьмиклассница права, а поскольку этого не может быть, потому что не может быть никогда, я выкладываю на стол почти все, что написано про «Героя нашего времени» за сто сорок лет, и только в одной книге нахожу точку зрения, схожую по мысли со школьным сочинением дочери. Естественно, что не литературоведу принадлежит эта точка зрения, а полному дилетанту, офицеру в отставке, отставнику, как говорим мы теперь. Отставник писал, что ни в характере, ни в обстоятельствах жизни ничего нет общего между Печориным и Лермонтовым и не вина писателя, что многим вместо

сатиры угодно было видеть апологию. Современные нам литературоведы свидетельство отставника считают примитивным. Оно и понятно! Где ему разобраться, если он не читал учебника для восьмого класса. Он не читал и восьмиклассница не читала — отсюда примитив.

Зачем я пишу про это в книге об отце? А я не могу не писать, потому что осознание прошлого не кончается тридцать седьмым, тридцатым или семнадцатым годом. И если почти полтора столетия самое знаменитое произведение самого знаменитого поэта России трактуется вопреки тексту, то о какой правде истории можно говорить?

Скажу только, что отставник, которого я упомянул, Аким Павлович Шан-Гирей, самый близкий родственник поэта, его младший (хотя и троюродный) брат и спутник всей его жизни. Лермонтов часто диктовал Шан-Гирею свои произведения, перечитывал с ним и обсуждал написанное.

Качество, в каком существует классика, не может не влиять на продолжение истории, и никакая политическая конъюнктура не должна мешать познанию истины.

Достоевский был какое-то время не в чести, значит, сегодня он должен быть на недосягаемом пьедестале, и его одинаково цитируют Н. Крымова, И. Глазунов, М. Гус и Ю. Карякин.

А что творится с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым? И ведь если не пробиться человеку с собственным мнением по литературным проблемам, то где же до истории. Начнем, однако, с литературы. С литературы, в которой тема преступления, наказания и искупления может помочь читателю разобраться во всем остальном, что есть в судьбе моего отца.

Пример классический. Антихристова печать

В апреле 1880 года к издателю некоей русской газеты явился господин с кокардой и предложил для печатания свою повесть. «Сюжет не новый,— объяснил он.— Любовь, убийство, но все, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах».

Когда господин с кокардой пришел за ответом, издатель объявил, что повесть или, скорее, роман, предложенный им, искажает фабулу преступления: главный преступник не тот вовсе, кого назвал писатель, а определенно он сам, вся же эта путаница отнюдь не результат заблуждений автора и не следственная ошибка, а фальсификация, учиненная совершенно сознательно. Бессознательно вышло только одно: действительность, деформированная в произведении, своими сломанными ребрами проступила сквозь искажения и поведала, как было дело.

Я убедился в этом, когда стал перечитывать произведение знаменитое и бесспорно замечательное: «Записки из Мертвого дома» в 4 томе Полного собрания

сочинений Достоевского, снабженном обстоятельным комментарием и справочным аппаратом.

Не исключено, что когда-нибудь исследователи проведут сопоставления между этой книгой и теми, которые построены на сходном материале, но появились позже, будут, возможно, прослежены влияния, явная или скрытая полемика или же полное отсутствие литературной преемственности.

Для меня, например, сомнения в верности «Записок» возникли с главы «Первые впечатления». Автор рассказывает о старовере, которому каторжники давали «сохранить деньги с полною безопасностью».

«Это был старичок лет шестидесяти, маленький, седенький. Он резко поразил меня с первого взгляда. Он так не похож был на других арестантов: что-то до того спокойное и тихое было в его взгляде, что, помню, я с каким-то особенным удовольствием смотрел на его ясные, светлые глаза, окруженные мелкими лучистыми морщинками. Часто говорил я с ним и редко встречал такое доброе, благодушное существо в моей жизни».

«Характера был в высшей степени сообщительного. Он был весел, часто смеялся — не тем грубым, циническим смехом, каким смеялись каторжные, а ясным, тихим смехом, в котором много было детского простодушия и который как-то особенно шел к сединам. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека, и если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек хороший. Во всем остроге старик приобрел всеобщее уважение, которым нисколько не тщеславился. Арестанты называли его дедушкой и никогда не обижали его». И далее: «...несмотря на видимую твердость, с которою он переживал свою каторгу, в нем таилась глубокая, неизлечимая грусть, которую он старался скрывать от всех. Я жил с ним в одной казарме. Однажды, часу в третьем ночи, я проснулся и услышал тихий, сдержанный плач. Старик сидел на печи... и молился по своей рукописной книге. Он плакал, и я слышал, как он говорил по временам: «Господи, не оставь меня! Господи, укрепи меня! Детушки мои малые, детушки мои милые, никогда-то нам не свидаться!»

Портрет показался мне убедительным, я сразу поверил тому, что был такой человек, именно такой. Одно только смутило меня, когда я в первый раз читал «Записки из Мертвого дома», смущало долго и потом: преступление, за которое старик попал в узилище, не вязалось с его обликом. В это я поверить не мог.

«Прислали его за чрезвычайно важное преступление. Между стародубовскими старообрядцами стали появляться обращенные. Правительство сильно поощряло их и стало употреблять все усилия для дальнейшего обращения и других несогласных. Старик, вместе с другими фанатиками, решился «стоять за веру», как он выражался. Началась строиться единоверческая[1] церковь, и они сожгли ее. Как один из зачинщиков старик сослан был в каторжную работу».

Вначале образ старообрядца, нарисованный классиком, вступил в противоречие с информацией о его преступлении, потом это как-то стушевалось соображением, что бездны души Достоевскому известны лучше всех на свете. Но запомнилось: такой вот старичок, а ужасный фанатик. Ведь он совершил преступление, которое в деревянной России считалось более тяжким, нежели убийство. Поджог. Не просто поджог — поджог церкви!

Второе читательское сомнение возникло вскоре после первого и как-то «срифмовалось» с ним. Это о Газине.

Я вынужден прибегнуть к цитате:

«Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его... Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною. Он был татарин; ужасно силен, сильнее всех в остроге; росту выше среднего, сложения геркулесовского, с безобразной, непропорционально огромной головой...»

Далее сообщается, что Газин был подпольным целовальником, успешно торговал в остроге вином, а когда напивался сам, то задирал людей самыми злыми насмешками, «рассчитанными и как будто давно заготовленными; наконец, охмелев совершенно, он приходил в страшную ярость, схватывал нож и бросался на людей. Арестанты, зная его ужасную силу, разбегались от него и прятались; он бросался на всякого встречного». Писатель, хотя и со словами сомнения, сообщает, будто Газин на свободе любил резать маленьких детей: «единственно из удовольствия: заведет ребенка куда-нибудь в удобное место; сначала напугает его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением».

Сомнения в достоверности слухов о Газине отходят на второй план перед ужасной картиной детских мучений, к которым у Достоевского, как известно, всегда было обостренное отношение. У меня же возникла чисто читательская, ничем не подкрепленная уверенность, что характер Газина, как он нарисован в книге, находится в трудно выразимом противоречии с теми «вводными», которыми писатель оснастил картину. Не верилось почему-то, но ведь и проверить нельзя!

1 Единоверие — вид насильственного воссоединения русских старообрядцев с официальной церковью, по которому за старообрядцами сохраняется право совершать богослужение по старопечатным книгам при условии подчинения православной церкви и принятия священнослужителей от православных архиереев.— Прим. автора.

Бездны человеческой души, как и бездны на поверхности земной, всегда предполагают и какой-то связанный с ними общий рельеф. В противном случае бездны эти кажутся созданными искусственно.

Легко представить чувство, с которым я узнал, что мои недоумения по поводу тихого старика-фанатика и буйного Газина, который с наслаждением резал детей, обоснованны.

Не только я, рядовой читатель, но и сам автор «Записок из Мертвого дома» вряд ли мог предположить, что историки найдут «Статейные списки об арестантах омской крепости», в которых есть имена узников, содержащихся вместе с Достоевским, сведения об особых приметах, происхождении, «за что осужден, по чьему решению, какое получил наказание и на какой срок прислан, какого вероисповедания, грамотен ли, женат или холост и какого поведения».

Поразившим Достоевского с первого взгляда стариком-старообрядцем был раскольник Егор Воронов, 56 лет из Черниговской губернии. В «Статейных списках» отмечено, что осудили старика по высочайшему повелению на бессрочное время «за неисполнение данного его величеству обещания присоединиться к единоверцам (в данном случае к ренегатам.— К. И.) и небытие на священнодействии при бывшей закладке в посаде добрянской новой церкви».

Одно дело — поджог церкви, совсем другое — отказ присутствовать при ее закладке. Согласитесь, что фактическое «преступление» старика ближе к облику, воссозданному писателем... Крайне огорчительно сознавать, что злодеяние, приписанное старообрядцу Достоевским, полностью соответствует тому, как и в чем государство и церковь облыжно обвиняли всех русских религиозных протестантов.

(Не следует думать, будто судопроизводство по отношению к инаковерцам в тогдашней России было более гуманным и справедливым, нежели оно было таковым на самом деле. По делам о старообрядцах, например, самые суровые приговоры выносились в столице от «высочайшего имени» по представлению с мест заочно. Для осуждения раскольника на каторжные работы было достаточно доноса православного протоиерея.)

А далее выясняется, что страшный Газин, тот, который из сладострастия мучил и убивал детишек, фигурирует под подлинной фамилией, зовут его Феидуллой, ему 37 лет, служил он в Сибирском линейном батальоне № 3 и осужден «за частовременные отлучки из казармы, пьянство и кражи».

С благодарностью к авторам примечаний, включившим эти сведения в состав тома, должен заметить, что ими верно обозначена и сквозная тенденция (в упомянутых мной и в других случаях) трансформации действительности: писатель часто усугублял подлинные преступления сокаторжников, приписывал им то, что они не совершали. Комментаторы полагают, что делалось это «по цензурным соображениям, чтобы ослабить впечатление от суровости царского суда». Предположение не кажется бесспорным. Во-первых, оно менее всего извинительно для автора, отбывшего каторгу, а во-вторых, цензура, о которой Достоевский знал не менее нас, упрекнула его за противоположное. Власти довольно обоснованно предположили, что публика может получить превратное представление о чрезмерной

слабости наказаний за тяжкие уголовные преступления,— а это, в свою очередь, может повести к росту преступности.

Не оставляя вовсе в стороне вопрос о тенденции изменений фактической основы, следует еще помнить, что между событиями, описанными в «Мертвом доме», и публикацией прошло всего семь лет. Ф. М. Достоевский мог быть совершенно уверен, что забулдыга Феидулла Газин и его приятели ни на каторге, ни после освобождения не станут читать литературные журналы, а потому не смогут обидеться или же отомстить за напраслину. Новопечатные книги не взял бы в руки старичок-раскольник, осужденный на бессрочную каторгу за неприсутствие на торжестве. Конечно, соображения писательской этики по отношению к униженным и оскорбленным в этой книге не могут быть подробно развернуты. Зато тут, пожалуй, можно в общих чертах сопоставить направления, по которым проходила обработка исходных сюжетов в «Записках из Мертвого дома» и «Воскресении». Они противоположны. Вина Розалии Они, сиплой от пьянства чухонки-проститутки из заведения близ Сенной, была доказана, в краже у «гостя» ста рублей она созналась и получила четыре месяца тюрьмы. А Катюша Маслова, как известно, стала жертвой оговора и наказание получила куда более тяжкое, суровое и несправедливое. В отношении других жертв царского правосудия Толстой был так же тенденциозен, «улучшал» униженных и оскорбленных, «ухудшая» власть имущих и карающих. Бесспорно, что и Нехлюдов у Толстого куда серьезней и симпатичней того экзальтированного аристократа, о котором рассказывал писателю А. Ф. Кони. Конечно, эта тенденция закономерна у писателя, показавшего, что «нет таких людей, которые бы сами не были виноваты и потому могли бы наказывать и исправлять».

Следует признать, что Толстой намеренно «упрощал» исходные ситуации, но трудно согласиться с тем, как и за чей счет «усложнял» их Достоевский. (Общеизвестны слова Л. Н. Толстого из письма к Стахову: «...не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина», однако к проблеме трансформации исходных факторов в «Записках из Мертвого дома» оценка эта прямого отношения не имеет.)

Трансформированные сюжеты «Мертвого дома» в дальнейшем, как известно, были подвергнуты новой трансформации. Так, доведенный до отчаяния арестант, «добровольно страдающий» за попытку убить тюремного начальника, как справедливо отметил профессор М. С. Альтман, превращается в Миколку из «Преступления и наказания». Любимую свою мысль о загадочной жажде русского человека принимать страдание без вины Достоевский вкладывает в уста Порфирия Петровича. Пожалуй, эта мысль выглядела бы более убедительно, если бы не казалась профессиональным психологическим ухищрением. Кстати, надо отметить, что в мировой литературе прошлого века не часто встречаются такие вот «положительные» полицейские, не часто так внимательно рассматривается очистительная роль уголовного расследования. Нельзя не отметить и определенной объективности в словах Порфирия Петровича о Миколке: «Ну оробел — вешаться! Бежать! Что ж делать с понятием, которое пришло в народе о нашей юридистике!» Далее следователь на основе личного опыта уточняет мысль писателя и говорит, что Миколка в конце

концов все же откажется от самооговора. «Подождите, еще отопрется! С часу на час жди, что придет от показания отказываться».

Психологии самооговора, как я уже писал ранее, в наши дни посвящаются специальные научные труды; юристам на эту тему читают лекции, в апелляционных решениях факт самооговора давно уже не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Но как мы видим, Порфирий Петрович и без нынешних лекций знал эту особенность всякого подневольного человека, тем более человека из «народа». Вообще Порфирий Петрович только геморроем и засаленностью своей схож с прочими смертными, а в остальном— фигура инфернальная, нечто среднее между Воландом и Коровьевым из романа М. Булгакова. Недаром появление Порфирия Петровича предваряют в романе вестники, не зря в его словах отгадки мучительных недоумений Раскольникова. Тут система классическая, если не античная. Можно смело сказать, что трансформация исходного материала была проведена Достоевским гениально. Странно только, что наши современники находятся в еще большем умилении от этого полицейского, нежели сам автор.

Порфирий Петрович уговаривает Родиона Романовича явиться с повинной, уговаривает лихо, со знанием дела, но и с издевкой, с подлой лестью, с иезуитской верой в свою полицейскую неуязвимость. Так, наверно, Грозный беседовал с обреченными, самоуничижался, юродствовал. Так кошка играет с мышкой. «Отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь,— прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почем знаю? ...Самому после слюбится». И еще: «Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем». Приводя эту цитату, современный критик следом пишет, что не случайно в день воскрешения Раскольникова в романе снова звучит тема солнца. Бесовское издевательство над слабой душой воспринято как божественное пророчество. Вот какая функция выдана полицейскому следователю. Есть искушение не поверить в такую прямолинейность, все-таки геморрой и т. д., но и отрицать эту ноту, эту «струну, звучащую в тумане» я не решаюсь. Проповедь веры в чудо, даже в одно из самых невероятных чудес — в воскрешение на четвертый день смердящего трупа Лазаря (по Евангелию от Иоанна), равно как и вера в искупительность страдания — любимые идеи Достоевского.

Тут я опять не могу избежать ссылки на литературу прошлого века, на Толстого, на ту совершенно откровенную полемику, которая впрямую и удивительно зло (для Толстого) прозвучала в «Воскресении». Помните ли вы того •румяного англичанина в финале романа, который, «кроме одной цели своего путешествия — описания ссылки и мест заключения в Сибири, имел еще другую цель — проповедование спасению верою и искуплением»? Помните, как толково говорил он о необходимости веры, как настойчиво раздавал в камерах книги Нового завета? А помните ли вы еще лохматого морщинистого старика, которого Нехлюдов утром повстречал на пароме, а вечером увидел в тюремной камере, помните, что он через Нехлюдова отвечал англичанину на его проповедь?

«Скажите ему, чтобы он с себя антихристову печать снял...»

А еще раньше: «Что ж пришли подивиться, как антихрист людей мучает? На вот, гляди. Забрал людей, запер в клетку войско целое. Люди должны в поте лица хлеб есть, а он их запер, как свиней, кормит без работы, чтоб они озверели».

Антихристова печать тут — клеймо связи с тюремщиками, с насилием.

«Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче,— легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде». «Среда», «Дневник писателя за 1873 год». Это знаменитая статья Достоевского против милосердия заседателей, против только что введенного в России суда присяжных, против оправдательных приговоров и формулировки «заслуживает снисхождения».

Нет, не Рылеев, не Пестель, не Чернышевский породили, оправдали и утвердили в обществе веру в правоту силы и в то, что страдание других целительно и к тому же неизбежно. Во всей лагерной литературе, которой после XX съезда КПСС было много, такой апологетики каторги не встречал ни у кого.

Мне скажут, что у Достоевского можно найти и противоположные высказывания. Не знаю. Зато мыслей, подобных тем, которые я здесь привел, не встретишь ни у кого из великих писателей от Пушкина до наших дней. Искренне ли Достоевский писал о нравственной пользе каторги или «по цензурным соображениям», судить не берусь, но даже изобретатели каторги и ее практики исходили прежде всего из идей карательных, из необходимости изолировать правонарушителя и только в последнюю очередь, и далеко не всегда искренне, говорили о ее исправительной роли.

Отношение к судейским, к тем, кого государство наняло и кто не сомневается в своем праве судить и наказывать, не менее ясно выражено и в «Смерти Ивана Ильича». Напрасно иные критики воспринимают повесть эту как смерть человека. Нет, это смерть убийцы. Среди множества смертей, описанных Толстым, она стоит особняком. Так смог бы он написать еще смерть Наполеона на острове.

(Неприязнь к деятелям «нашей юридистики» была общим местом для многих русских интеллигентов той поры. Не случайно слова доктора Дорна из чеховской «Чайки», обращенные к умирающему действительному статскому советнику Сорину: «Страх смерти — животный страх… Надо подавлять его. Сознательно боятся смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-первых, неверующий, во-вторых — какие у вас грехи? Вы двадцать пять лет прослужили по судебному ведомству — только всего». А Сорин с загадочным смехом уточняет: «Двадцать восемь...» Может быть, он рад тому, что не верует в жизнь вечную.)

Я не слишком удалился от того, с чего начал. Вера в целительность Мертвого дома в «Преступлении и наказании» развернута Порфирием Петровичем весьма подробно, только там Раскольников должен избавиться от недуга, виной которому

«книжные мечты и теоретически раздраженное сердце». Как жаль, что не видит он на челе своего пророка антихристову печать.

...Продолжаю сопоставлять текст «Записок» со сведениями, почерпнутыми из «Статейных списков». Дело касается Исая Фомича Бумштеля, который у Достоевского именуется Исаем Фомичом Бумштейном. «Исай Фомич, наш жидок, был как две капли воды похож на общипанного цыпленка. Это был человек уже немолодой, лет около пятидесяти, маленький ростом и слабосильный, хитренький и в то же время решительно глупый. Он был дерзок и заносчив и в то/же время ужасно труслив... Мы с ним были большие друзья»,— пишет Достоевский. «У него был свой самовар, хороший тюфяк, чашки, весь обеденный прибор. Городские евреи не оставляли его своим знакомством и покровительством. По субботам он ходил под конвоем в свою городскую молельню (что дозволяется законами) и жил совершенно припеваючи, с нетерпением, впрочем, ожидая выжить свой двенадцатилетний срок, чтобы «зениться».

Дразнили его на каторге, по словам Достоевского, «не из злобы, а так, для забавы, точно так же, как забавляются с собачкой, попугаем, учеными зверьками и проч. ...

— Парх проклятый!

— Нехай буде парх.

— Жид пархатый!

— Нехай буде такочки. Хоть пархатый, да богатый; гроши ма.

— Христа продал.

— Нехай буде такочки...»

Исай Фомич, ювелир и ростовщик, попал на каторгу за убийство, наказан плетьми и клеймением щек. Он омерзителен и жалок в одно и то же время.

Вот Достоевский рассказывает, как Исай Фомич «на всю казарму начинает тоненьким дискантиком петь: «Ля-ля-ляля-ля!» — какой-то нелепый и смешной мотив... Потом, познакомившись ближе со мной, он уверял меня под клятвою, что это та самая песня и именно тот самый мотив, который пели все шестьсот тысяч евреев, от мала до велика, переходя через Черное море, и что каждому еврею заповедано петь этот мотив в минуту торжества и победы над врагами.

Накануне каждой субботы, в пятницу вечером, в нашу казарму нарочно ходили из других казарм посмотреть, как Исай Фомич будет справлять свой шабаш... Затем начиналась молитва. Читал он ее нараспев, кричал, оплевывался, оборачивался кругом, делая дикие и смешные жесты».

Никаких неожиданностей в изображении писателем Исая Фомича для меня не было, неожиданность содержалась в примечаниях. Если в отношении старообрядца и татарина Газина фактические сведения подтверждали обоснованность моих

читательских сомнений, то в отношении Исая Фомича дело обстояло иначе. Предположить направление трансформации я не мог.

При полном совпадении всех сведений об Исае Фомиче Достоевский допускает только одну вольность. Исай Фомич, мещанин из евреев, был православного вероисповедания. Как тогда говорили, выкрест. Единственным же объяснением этой трансформации комментатор считает возможность «создать живую, полную юмора сцену исполнения Исаем Фомичом обряда молитвы».

«Полная юмора сценка исполнения Исаем Фомичом обряда молитвы» носит откровенно издевательский характер и выражает тогдашнее великодержавно-православное отношение к иноверцам. Слово «юмор» тут явно не к месту. Тут в первую очередь имели место соображения конфессиональные, идейные, идеологические, как принято говорить теперь.

Многообразно на протяжении всей своей жизни защищая православие, Достоевский защищает не Христа, не самую веру, а государственную религию и религию в качестве государства, ее «чудо, тайну и авторитет». (Мережковский прямо пишет: «По толкованию самого же Достоевского, православной церкви определено «царствовать на земле»: все языческое государство не уничтожится, но лишь преобразится в Церковь Христову; а ежели так, то меч Кесаря будет не упразднен, а преображен в иной меч, так что и сделавшись Божиим, царство все-таки останется царством и меч — мечом, хотя уже не грубым, насильственным железным, но все же сильным, властным, твердым, может быть, даже более твердым, чем какой бы то ни было железный меч». Я прибегнул к свидетельству Мережковского с целью — показать неоднозначность «Легенды о Великом инквизиторе» и то, что «государственные идеи» Достоевского констатировались его апологетами.)

Посмотрите, как с точки зрения бесспорных достижений современного экуменизма выглядит нетерпимость Достоевского к инако- и иноверцам, к сектантам, «штунде», староверам, ко всем в Российской империи «малым сим и гонимым». Не христианство и даже не славян защищал он, негодуя на «несчастную восьмую часть «Анны Карениной», а те правительственные круги и те, не отражающие народных интересов слои общества, о которых писал Толстой.

«Это ему идет»,— с неприязнью говорит Левин, когда узнает, что Вронский едет сражаться в Сербию. (Не знаю, замечено ли общее между Джорданом из романа Хемингуэя «По ком звонит колокол» и Вронским.) Мне кажется, что самыми неприятными для Достоевского были слова Левина, которые он не цитирует: «...во восьмидесятимиллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы — в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию...»[1]

Читая исследования о Достоевском, приходишь к мысли, что этот писатель более всех других нуждался в первоисточнике, фактическом или литературном. Тынянов показал, каким образом Николай Васильевич Гоголь превратился в Фому Фомича Опискина из «Села Степанчикова».

Я отнюдь не настаиваю на том, что мне удалось обозначить все принципы трансформации первоисточников в «Записках из Мертвого дома», но направление, в котором шла работа писателя, кажется мне достаточно выраженным. Тенденции четкие, и простираются они вплоть до «Дневника писателя», они же не могут не проявляться в том, как автор «Преступления и наказания» пародировал и трансформировал каждым тогда узнаваемые идеи и ситуации романа «Что делать?», кому в уста вложил идеи разумного эгоизма, столь дорогие Чернышевскому, который, кстати говоря, уже четыре года шел тогда своим крестным путем, для которого «Мертвый дом» был не прошлым, а настоящим и долгим еще будущим. (7 лет каторги и вечное поселение в Сибири.) А с кого Достоевский писал своего позорного Лебезятникова?

1 Хива тут ве троп и не обобщающее слово. Война в Туркестане в то время едва кончилась, договор с покоренной Хивой подписан в 1873 году

Справедливость — беглянка из стана победителей, это известно, но и переход побежденного на сторону силы — явление достаточно нам знакомое. Не все в творчестве Достоевского можно объяснить полифонией, кое-что следует отнести просто к двоемыслию.

Нет, пожалуй, в нашей и мировой литературе другого великого писателя, в биографии которого было бы столько нарочитых умолчаний. Говорят о сложности и противоречивости, но сложностей избегают. В. Бурсов в огромной своей работе «Личность Достоевского» счел возможным вовсе опустить факт написания ссыльным писателем одических стихов: «На европейские события в 1854 году», «На первое июля 1855 года», «На коронацию и заключение мира». Конечно, были авторы, отмечавшие эти стихи, толковавшие их содержание и мотивы написания, однако я вынужден отметить эти произведения в более конкретном значении. Первое, как известно, было направлено начальнику III Отделения Дубельту, второе, посвященное дню рождения внезапно овдовевшей императрицы Александры Федоровны, было передано в столицу с просьбой «повергнуть его к стопам ее императорского величества вдовствующей государыни императрицы».

Командир отдельного Сибирского корпуса генерал Г. Х. Гасфорт, посылая стихотворение Достоевского «На первое июля 1855 года», просил присвоить автору унтер-офицерский чин. Приказ об этом вскоре последовал.

Как гаснет ввечеру денница в синем море,

От мира отошел супруг великий твой...

…

Свершилось, нет его! Пред ним благоговея,

Устами грешными его назвать не смею.

Свидетели о нем — бессмертные дела.

Как сирая семья, Россия зарыдала...

Вряд ли кто-нибудь решится однозначно толковать эту оценку деятельности Николая I, никто не сможет решительно утверждать, что здесь сказалась возможность перехода гонимого в стан гонителей, что именно здесь выразился перелом в мировоззрении, психологический или политический сдвиг, четко определившийся позже, но можно ручаться, что для самого писателя эти стихи не были эпизодом, прошедшим без внутренних последствий. Ведь был про это к тому же еще и фельетон И. И. Панаева. Пусть не в творчество, но в «состав личности» это вошло.

В свете дальнейшей истории нашего общества этот факт, может быть, не выглядит таким уж из ряда вон выходящим. У многих ли повернется язык упрекнуть Достоевского в верноподданничестве, лицемерии, беспринципности. Но в свете самого этого скорбного факта особенно прискорбно, что бывший каторжанин не оценил мужества Н. Г. Чернышевского, который ни разу не написал ни одной покаянной строчки, ни одного прошения о помиловании и наотрез отказывался подписывать прошения, составленные за него.

Всегда находились люди, ищущие повод, чтобы переложить свою собственную вину на других, на пороки всего общества, на влияние вредных идей, которым поверили, жертвой которых они оказались. Порфирий Петрович подсовывает такое объяснение Раскольникову вперемешку с лестью: «Тут книжные мечты, тут теоретически раздраженное сердце».

Идеи винить легко, я знаю человека, который в нехватке мяса готов упрекать тех, кто проповедует вегетарианство, и Толстого в том числе. Между тем, обратите внимание, Нехлюдов виноват сам, а Раскольников — жертва губительных идей, занесенных с Запада. Вот этот перенос ответственности на идею и делает Достоевского самым идеологическим писателем. В идеологичности — объяснение современного к нему интереса, интереса, который носит более или менее откровенный политический характер. А кому она на руку, эта политика? Да все тем же, против кого и написана моя книга, против Квицинского, Вышинского и всех тех, кто сделал насилие и ложь знаменем своей идеологии.

Пример современный. Трагедия затаенного стыда

В полемике, возникшей вскоре после сенсационного появления романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», один критик писал, что «булгаковский Иешуа — это на редкость точное прочтение» основной легенды христианства — «прочтение в чем-то гораздо более глубокое и верное, чем евангельские ее изложения».

К еще более верному прочтению евангельской истории призывал наивного молодого поэта Ивана Бездомного и многоопытный Берлиоз (не композитор), за что, как извести но, поплатился головой. До Булгакова по законам своего видения трансформировали эти же главы священной истории многие. Приходят на память А. Франс «Прокуратор Иудеи», Л. Андреев «Иуда из Кариота», Роже Кайюа «Понтий

Пилат» и знаменитый рассказ Чехова о студенте духовной академии, который в страстную пятницу, возвращаясь с охоты, задержался на вдовьих огородах, грелся у костра,; рассказывал двум бабам содержание евангелий и вдруг понял, что «если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям... Прошлое, думал он, связано с настоящим неразрывною цепью событий, вытекающих одно из другого. И ему казалось, что он только что видал оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой...».

Трансформация первоисточника в романе Булгакова столь своеобразна, что прежде всего необходимо отметить: ответствен за нее не только Булгаков, но и мастер. Ведь именно мастер трудился над романом о Пилате, в то время как Булгаков основным своим героем считал Воланда, а книгу предполагал назвать «Консультант с копытом». Иешуа Га-Ноцри интересует мастера, пожалуй, чуть меньше, нежели Пилат, сын короля-звездочета. Еще меньше интереса вызывает у Булгакова философия добра, в нем реальный автор реального романа изверился прежде всех. Слабый всегда стремится наделить сильного и таинственного своими собственными ощущениями. После Фейербаха подобный анализ этого явления кажется излишним.

«Беда в том, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей». Так говорит Иешуа Пилату, так мог бы сказать-сам писатель и о главном герое пьесы «Батум» или же ему самому, если бы встретился с ним при обстоятельствах, сходных с описанными мастером. Личная интонация. Эта самая интонация, которая звучала в репетициях диалога Булгакова со Сталиным и апокрифах о нем.

История пьесы «Батум» в общих чертах уже известна. М. Чудакова сообщила факты и обстоятельства, не вызывающие сомнений. Не вызывает сомнений и то, что внутри себя пришлось преодолеть автору, как дорого стоило это преодоление и как ужасно потом было сознавать, что насилие, совершенное над собственной совестью и талантом, было напрасным. Это трагедия поколения, она выходит за рамки романа, она в основе той книги в семьсот страниц, с анализа которой я начал свой рассказ.

«Беда в том, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей».

О, эта интеллигентская мечта о замене террора доверием, о том, чтобы тиран обладал большей верой в людей!

Прокуратор не был бы прокуратором, будь в нем хоть чуть больше доверия к тем, кто ниже его. С точки зрения тирана, надежен лишь тот, кто лишен совести, таких ценят, таким платят. Совестливый ведь может предать, если совесть потребует этого.

Как бы ни старался Иешуа быть откровенным, Пилат все равно .больше доверяет Афранию.

...Итак, легенда об учителе добра, который знал, что будет предан одним из своих учеников, число коих двенадцать, т. е. много. (Двенадцать—в древности наряду с конкретным числовым значением выражало и понятие вообще множественности.)

Учитель боится казни, которую провидит, но принимает поцелуй предателя Иуды и не отталкивает Петра, зная, что тот клянется идти с ним вместе в темницу и на смерть, а еще до крика первого петуха трижды отречется от него. Герой легенды, если следовать первоисточнику, знал все наперед, никого не обличал, не прогонял от себя и не укорял, ибо не судить он пришел людей, а спасать их.

Иешуа из романа о Пилате только по внешним приметам соответствует образу, созданному евангелистами. И если сходство Иешуа с Христом внешнее, то его близость мастеру — глубинная, основополагающая. Христос готов прощать всех, в первую очередь слабых, Иешуа, как и мастер, прежде всего прощает сильных мира сего, прежде всего — палачей. Слабые, кроме него самого, его не интересуют. К слабым он строг, зато даже кентурион Крысобой — добрый человек. («...Он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?») А как подробно выписаны страдания прокуратора Иудеи, «адская головная боль», извиняющая ему равнодушие и жестокость.

Знание истории и жизненный опыт 20-х и 30-х годов могли бы подсказать Булгакову и автору романа в романе, что Га-Ноцри на допросе просто-напросто предает, без особой нужды «закладывает» своего ученика, тоже, впрочем, доброго человека. Иешуа называет палачам его имя и утверждает, что самые крамольные мысли принадлежат не учителю, а ученику. «Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты, бога ради, свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.

— Левий Матвей,— охотно объяснил арестант».

С точки зрения трансформации первоисточника заслуживают внимания скрытые от нас мотивы отказа Иешуа от «анкетных данных», от родословной, которую христианская традиция приписывает Иисусу.

— Кто ты по крови?

— Я точно не знаю,— живо ответил арестованный,— я не помню своих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец».

Непримиримый враг христианства Цельс утверждал, что мать Иисуса была женщиной распутной, изменяла мужу и знаменитого своего сына родила от грека. Но отказ Иешуа от традиционного родства в романе ближе всего к ортодоксальной иудейской версии, отразившейся в талмудистском трактате «Авода зара». Талмудисты первыми, но в тех же целях, что и Цельс, назвали одним из возможных отцов Христа сирийца, солдата селевкинской армии.

«Мне говорили, что мой отец был сириец...» — так ответил Иешуа. А что ему говорили о матери?

Мы невольно сбиваемся тут на трансформированную с большим понижением логику житейскую, коммунальную, в лучшем случае, на логику бдительного начальника отдела кадров. Но ведь философия первоисточника, весь его художественный смысл подсказывает, что Иисус в отличие от Иешуа не мог назвать своего отца ни сирийцем, ни иудеем. Он точно знал, кто его отец.

Ренан, который без всякого сомнения был хорошо знаком М. А. Булгакову и воззрения которого повлияли на целые поколения читающей публики, даже Ренан, весьма смелый по части домысливания, писал: «Невозможно возбудить здесь вопрос о расе и разыскивать, какая кровь текла в жилах того, кто сам более всех содействовал к изглаживанию кровных различий в человечестве».

Когда-то А. Вулис впервые со ссылкой на М. Бахтина применил к роману Булгакова термин мениппея.

«...Мениппея характеризуется исключительной свободой сюжетного и философского вымысла. Этому нисколько не мешает то, что ведущими героями мениппеи являются исторические и легендарные фигуры. Фантастика служит здесь не для положительного воплощения правды, а для ее искажения, провоцирования и, главное, для ее испытания... В этом смысле можно сказать, что содержанием мениппеи являются приключения идеи или правды в мире: и на земле, и в преисподней, и на Олимпе...» «Журнальность, публицистичность, фельетонность, острая злободневность в большей или меньшей степени характерна для всех представителей мениппеи»

В «Проблемах поэтики Достоевского» М. Бахтина мениппее посвящено несколько страниц, четырнадцать развернутых пунктов, и все они подходят к определению жанра «Мастера и Маргариты».

«Приключения основной идеи на земле, на Олимпе и в преисподней» неизбежно влекут за собой и уже отмеченное ранее соответствие персонажей, действующих на всех уровнях. Это касается не только основных, но и второстепенных. Соответствия эти в сложных переплетениях отнюдь не исключают смещений, обусловленных все новыми испытаниями идеи.

Среди прочего обращает на себя внимание, например, способ, которым устанавливается справедливость, вершится возмездие. Тут когорта Понтия Пилата и компания Воланда объединяются по функции, на них существует единый угол зрения. Сила власти, ее блеск и подробности атрибутов гипнотизируют не только читателя, но прежде всего автора. Заметно нечто, что можно назвать женственным началом, особым сладострастием. Мастер рисует Пилата с тем же трепетным преклонением и сладким замиранием сердца, готовым перейти в любовь, с каким Маргарита видит Воланда.

(Уже высказывалось предположение, кто явился прообразом Пилата, я же не могу отделаться от ощущения, что где-то в раннем детстве видел Воланда. Это было, было в санатории «Сосны», и звали того человека Генрих Ягода. Тот самый шеф ОГПУ, который сидел на процессе рядом с моим отцом.)

Отступление от духа и буквы первоисточника в отношении к Пилату находит у мастера сюжетное выражение. Не Понтий Пилат, могший без труда и особого риска спасти того, в невинности которого не сомневался, не он, «умывший руки», не пожелавший принять на себя решение и ставший символом одного из самых распространенных нравственных преступлений, оказывается главным виновником гибели героя легенды[1]. Не он наказывается за эту смерть, ибо в описании мастера еще до преступления почти искупил свою вину головной болью (мигренью), душевной усталостью, проницательным умом, любовью к собаке, а после преступления совершает к тому же и функцию возмездия по отношению к платному шпиону Иуде.

Трансформация, совершенная по законам авторского видения, говорит, что ответственность за зло, совершаемое в мире, несут не сильные и даже не всемогущие, но слабые и даже ничтожные. В самом деле, вина Берлиоза, Римского, Бенгальского, Поплавского и Латунского в суде присяжных выглядела бы не так просто и наказание не было бы так однозначно. В окружении, современном автору, суд, вершимый Князем Тьмы, обоснован личными симпатиями, антипатиями и вожделениями в той же мере, как и суд, вершимый обитателями Вороньей слободки из другого знаменитого романа о тех годах.

Длинный ряд грешников, представленных Маргарите Бегемотом на балу Сатаны, несколько однообразен (если сравнить, например, с «Адом» Данте). А композиторы Штраус и Вьетан оказались там по причинам, о которых предстоит гадать. Все это требует подробного анализа. Почему, к примеру, на балу появляется Малюта, но нет Грозного? Видимо, это факт подсознания, а не сознания.

Суд, который в мире потустороннем вершит Воланд, обоснован, так сказать, территориальной юрисдикцией, но важнее другое: в суде итоговом Воланд оказывается прямым исполнителем божьей воли. Диалектика взаимоотношений Бога и Сатаны снята прямым соподчинением, субординацией... А это ведь сокровенное, это сердцевина, и это высшее испытание и утверждение идеи, ибо оно — «на Олимпе».

Обратимся, однако, к первоисточнику, хотя бы к одной из частей, которые особенно заметно трансформирует мастер в своем романе.

«...Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли его» (Матфей, 26, 47—50).

1 Тацит считает Пилата прямым виновником гибели Иисуса. «Христос, который был при императоре Тиберии приговорен к смерти прокуратором Понтием Пилатом», а В. Лакшин в наше время называет это скверным поступком

Сбылось пророчество, и вскоре первый его ученик трижды до крика петухов отрекся от учителя и горько заплакал о себе. А когда настало утро, Иисуса «отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему что нам до того? смотри сам.

И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Матфей, 27, 2—6).

Мотивы самоубийства Иуды ясны. Можно лишь напомнить последний акцент рассказа: деньги, уплаченные Иуде, первосвященники отказались положить в сокровищницу, ибо это «цена крови».

В трансформации евангельского эпизода виден несомненный атеизм мастера, а может быть, и атеизм самого Булгакова, но это атеизм особый, очень личный, с каким-то дополнительным каббалистическим знаком. Понятно, что «Мастер и Маргарита» — мечта слабого человека о справедливости, даже о справедливости любой ценой. Жаль только, что слабый человек, стыдливо и горестно обнажая собственные слабости, сам твердо рассчитывает на снисхождение, но когда через возлюбленную присоединяется к вершителям суда окончательного над другими столь же слабыми, то показывает себя на редкость злопамятным, злорадным и мелочным. Трудно поверить, что это — суд, отмщение, а не произвол и сведение личных счетов. Хотелось бы думать, что тут — сокровенная мысль: человек, предавшийся дьяволу, уже никогда не сможет отличить добро от зла, справедливость от произвола... Хотелось бы верить, что про это и написан роман. Хотелось бы верить, но не верится.

Вернемся, однако, к трансформации исходного сюжета. Не вызывает сомнений, что тут вместо возмездия, таящегося в самом преступлении человеческих законов, начинают действовать силы, которые исторически всегда были направлены против человека, против личности, те самые силы, которые во все века насаждали шпионаж и поощряли предательство.

Радушно и как равного себе принимает пятый прокуратор Иудеи человека с приятным голосом, очень приятным округлым и опрятным лицом — начальника тайной службы Афрания. Они угощаются устрицами, вареными овощами и мясом, пьют тридцатилетнее вино «Цекуба», и после беседы о большой политике Пилат иносказательно, но твердо просит своего гостя организовать убийство Иуды. Мотив единственный — желание, и, как мы знаем, исполненное, искупить свою вину перед тем, кого он предал врагам на лютую смерть.

Не первосвященников, не самого Кайфу, не тех, кто замыслил убийство и нанял Иуду, решил наказать пятый прокуратор, а самого малого и ничтожного, самого последнего в ряду, того, кто по первоисточнику и сам жертва.

Поручая начальнику тайной службы убийство Иуды, Понтий Пилат предлагает и провокацию: надо свалить вину за убийство Иуды на учеников и друзей Иешуа, а

деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику с запиской: «Возвращаю проклятые деньги».

За смерть Иуды Понтий Пилат платит Афранию вперед и куда более щедро, нежели первосвященники за Иешуа. Как известно читателю романа, Иуда был убит, а Понтий Пилат был прощен мастером еще до эпилога.

«...Воланд опять повернулся к мастеру и сказал:

— Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой!

Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:

— Свободен! Свободен! Он ждет тебя!»

Прямо к пышному саду по долгожданной лунной дороге кинулся к тому, кого послал на лютую смерть, человек в белом плаще с кровавым подбоем, «прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». Тут предсказано и художественно обосновано возникновение самого страшного союза, союза жертвы с палачом[1].

Мастер смотрит на своего главного героя с чувством восторга и рад быть полезным ему. (Может быть, в этом главная его трагедия, которую не осознает ни он, ни критики романа!) Похожее чувство испытывает и Маргарита, когда пьет здоровье Воланда, поднимая стакан того же самого вина, которое, по словам Азазелло, пил прокуратор Иудеи. Деформация библейского сюжета, передача Афранию того, что в первоисточнике есть только дело совести, дело высшего суда, не кажется случайной прихотью художника. Эпиграф к первой части романа открывает причину трансформации «Я — часть этой силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

1 Это определение кажется мне настолько важным, что я вынужден взять его из пока еще не опубликованного стихотворения Е. А. Гнедина

Кому борьба за жизнь обуза,

Обман постыдный нипочем,

Тот жертва страшного союза,

Союза жертвы с палачом.

Какой силы? Это кардинальный вопрос.

Вслушайтесь в интонацию, обратите внимание на стиль фразы: «Не спорю, наши возможности довольно велики, они гораздо больше, чем полагают некоторые, не очень зоркие люди».

Кто это говорит, что это за интонация? «Некоторые, не очень зоркие люди...» Это может сказать Афраний, хотя говорит Воланд. А помните, как вопрошает Маргарита: «Наташа подкуплена? Да? Но как вы могли узнать мои мысли? — она страдальчески сморщилась и добавила: — Скажите мне, кто вы такой? Из какого вы учреждения?» Вот лишь одно из многих мест, где открывается внутренняя связь между ведомством Воланда и службой, которую возглавляет Афраний. Антихристова печать — на обоих.

В жизни тутошней, московской, собственные нравственные страдания мастера не идут ни в какое сравнение с неприятностями, которые причиняют ему злые люди. Это не упрек, а объяснение того, почему Маргарита сравнительно легко может помочь мастеру, прибегнув к силам посторонним, в данном случае к нечистой силе. Нас чарует дьявольская путаница добра и зла в романе, она неотразима для каждого, кто смертельно устал от власти мелочной, ежеминутной, рассеянной в бюрократизме домовых книг и в подлости коммунальных соседей. «Кто прописан в ней? Алои-зий Могарыч? — Коровьев дунул в страницу домовой книги.— Раз, и нету его, и прошу заметить — не было».

Поистине дьявольская путаница в лексике, в интонациях, путаница персонажей и переплетение идей во всех слоях мениппеи обретает высший художественный смысл в том, что ковбойская перестрелка между котом и теми, кто пришел его арестовать, ни одной стороне не опасна. В конце концов, это только недоразумение. Свой своего не познаша. Известно, что представления людей о потусторонних силах, господствующих в мире,— отражение, «в котором земные силы принимают форму неземных».

Впрочем, трансформацию сюжетов демонологических следует рассматривать особо и более пристально. Не сомневаюсь, что это будет сделано. Наш век тем и отличается, что изучает зло вместо того, чтобы учиться добру.

Тот самый критик, который посчитал роман мастера о Пилате гораздо более глубоким и верным, нежели свидетельства евангелистов, долго сомневался, был или не был нравственный компромисс в том, что Маргарита согласилась служить самой нечистой силе и стать хозяйкой — королевой бала у Сатаны. В заключение своих размышлений критик заявил: «Но все-таки — если даже это и компромисс — так ли уж он велик?»

Общество должно было в кратчайший срок совершить огромный путь, чтобы изображать и воспринимать в качестве житейского компромисса то, что во всем мировом искусстве прошлого называлось трагедией: насильственное жертвоприношение, добровольное самопожертвование или союз с силами зла.

Опыт прожитых нами лет, годы, отделяющие нас от тех дней и ночей, когда М. А. Булгаков писал свою главную книгу, должен был бы подсказать то, что, может быть, и не вполне ясно сознавала сама Маргарита. Не компромисс это, а подвиг трагический. Дело в том, что для осознания всех последствий договора, заключенного с нечистой силой, всегда необходимо время. В неожиданной для многих из нас протяженности времени специфическая особенность нашей жизни.

Мастер чувствует это глубже, чем Маргарита. В этом главное. Потаенное, загнанное глубоко внутрь, в подсознание, чувство стыда приводит мастера в сумасшедший дом. Как этого не понять?

Опять возникает необходимость вернуться к «Фаусту», к самой знаменитой истории о проданной душе. Фауст продал свою собственную, но вряд ли можно считать, что мастер сохранил свою только потому, что за него, расплатилась Маргарита. Существует несколько не слишком обоснованных и весьма противоречивых версий относительно того, кто является прообразом Маргариты. Может быть, это обычная сплетня, которую нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, я даже уверен, что это сплетня, но если это правда, то мы, ничего не зная об обстоятельствах предполагаемой близости, можем без ошибки сказать, что это была бесспорно одна из самых неоптимистических трагедии того трагического времени.

Всеобщий наш стыд и столь же всеобщее бесстыдство нельзя вынести за скобки, нельзя о них умолчать. Тема эта, будто бы бесшабашно весело начатая Булгаковым в адском варьете, далее в романе не звучит уже так открыто, это уже не насмешка, а сарказм. Гримаса сарказма и ведет нас к финалу, где вновь в открытую трансформируется библейский сюжет — главы 18—19 из книги Бытия.

Не следует думать, будто сцена гибели города, наблюдаемая с высоты Воробьевых гор, существует вне связи с картиной гибели бесстыдного библейского Содома, одной из самых известных историй всей Священной истории. Может быть, именно тут видно различие в представлении о наказании, возмездии и личной ответственности, которое разделило Библию на две части.

Господь решил огнем и серой погубить Содом и Гоморру за грехи их обитателей. «И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь, не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем? Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым... Судия всей земли поступит ли неправосудно?»

Далее позвольте пересказать это короче.

— Если найду пятьдесят праведников, ради них пощажу весь город.

— А если до пятидесяти недостанет пяти, ты истребишь весь город?

— Если найду сорок пять, не истреблю город, уступил Господь.

— А если сорок?

— Не сделаю того и ради сорока.

— Может быть, найдется там тридцать...

— Не сделаю того, если найдется тридцать. Авраам не унимался.

— А если двадцать?

— Не истреблю ради двадцати.

Далее — дословно: «Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом...» Только семью Лота вывел он из той местности, обрекая на полное уничтожение «жителей городов сих, и произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом».

Гибель того жалкого, стыдного города, который мы знаем по описаниям самого же Булгакова, а еще Зощенко, Ильфа и Петрова, не обусловливается наличием в нем праведников. Какие уж тут праведники! Ведь не с богом, а с дьяволом идет диалог. К тому же мастер и Булгаков имеют основания ненавидеть Москву точно так, как Пилат ненавидит Иерусалим.

После выхода в свет «Двенадцати» Зинаида Гиппиус записала в дневнике: «Говорят, Блок болен от страха, что к нему в кабинет вселят красногвардейцев. Жаль, если не вселят. Ему их следовало целых двенадцать». К персонажам М. А. Булгакова кого только не подселяли: от самого Сатаны до Человека с собачьим сердцем. Понятна ненависть писателя и его героев к этому насквозь коммунальному городу, к этой огромной коммуналке, где каждый каждому подселенец и каждый в отдельности несчастен.

Под ультрасвист Коровьева начинается казнь города. «Мастера вспугнул этот свист. Он ухватился за голову и побежал обратно к группе дожидавшихся его спутников.

— Ну что же,— обратился к нему Воланд с высоты своего коня,— все счета оплачены? Прощание совершилось?

— Да, совершилось,— ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланду прямо и смело».

Под свист и хохот Бегемота летят вороные кони, а плащ Воланда вздуло над головами всей компании. «Когда на мгновение черный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман».

Хотя Маргарита и оглянулась, но соляным столбом не стала. В этом отличии от истории, изложенной в первой из книг Библии, есть свой смысл, приговор или по крайней мере свидетельство ожесточения. Сатанинская жажда решать вопросы тотально от Воланда передалась всем, кто с ним связался. Какая уж тут «слезинка ребенка»! Автор сознавал это, он знал цену комплиментам, которые Коровьев расточал в адрес Маргариты, хотя Маргарита и могла в опьянении верить им так же, как бедный и больной Родион Романович верил льстивым речам Порфирия Петровича. Антихристова печать сияла.

Союз со злом во имя добра Булгаков исследовал не первый, но решение пытался найти самостоятельно, по данности, в ответ не заглядывая. Видимо, и читатели должны были бы проделать ту же работу.

«Рукописи не горят, рукописи не горят, рукописи не горят...» — на все лады заклинал читателей романа другой критик. Он будто и забыл, кого цитирует, будто слова Сатаны стерли из его памяти все, чему учат в школе.

Рукописи не горят? Как бы не так! У Декарта — горят, у Гоголя — горят, у Пушкина — горят, а у нашего мастера — нет!

Почему?

Черт (Воланд) знает. Лукавый мог бы рассказать, кому и какая цена уплачена за страховку от огня. Именно Воланд (он же Афраний), любящий быть зрителем самых драматических сцен из истории человеческого духа, мог бы разъяснить все, о чем нам, читателям таинственного, неоконченного и потому еще более таинственного романа, предстоит гадать и спорить.

«Сюжет не новый. Любовь, убийство, но все, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах».

Удивительная по значению фраза!

Чехову было двадцать три года, когда он опубликовал историю про господина, написавшего роман с убийством. Может быть, никто никогда не узнает доподлинно, зачем он это сделал, почему в начале повествования поставил дату — апрель 1880 года? Можно заметить банальность кое-каких описаний, которые на счету автора романа в романе, как на счету мастера то, чего нельзя отнести на счет Булгакова. Однако обаяние в «Драме на охоте» — чеховское, а сам замысел — блистателен: пародия на детектив, где убийцей оказался не персонаж, а сам автор. Может быть, это не пародия, а исследование на тему о нравственной позиции писателя? Чтобы придумать такое, нужно быть Чеховым, и, наверное, именно молодым Чеховым. И еще необходимо рассердиться на кого-то. Или на что-то.

На кого? На что?

Видимо, больше всего Чехова сердило и смешило нарочитое «усложнение» характеров, начавшееся тогда увлечение «безднами», описанием «человека с тайной». По-пушкински точно зная каждое открытое движение человеческой души, по-пушкински видя своего героя в каждом физическом движении, ясно слыша каждую интонацию его голоса, Чехов всю свою жизнь или смеялся над литературными изысканиями, или сочувствовал им, как болезни.

Легко и весело прослеживая, как автор трансформирует первоисточник (в данном случае уголовную фабулу), Чехов так же легко показывает, как фабула этому

сопротивляется, как бессильны в борьбе с жизнью беллетристические упражнения: «Все ваше следствие напоминает письмо, нарочно написанное с грамматическими ошибками, утрировка выдает вас». Но, может быть, еще более интересно в этом шутливом произведении прослежены мотивы, которые движут начинающим литератором. «Мучило же меня другое: все мне казалось странным, что люди глядят на меня как на обыкновенного человека. ...Психоз, батенька!.. Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь: начхать всем на головы, выпалить во всех своей тайной... сделать что-нибудь этакое... особенное... И я написал эту повесть — акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной... Что ни страница, то ключ к разгадке... Не правда ли?»

Автор заспешил уходить, но издатель попросил его: «Постойте, положите шляпу... Вы рассказали мне о том, что довело вас до авторства, теперь скажите: как вы убили?»

К чему это я? Да к тому, что все мы живем впотьмах, а интеллектуалы в этой мгле со страху еще и обоняние потеряли, никак не разберут, что чем пахнет

Придет время, и прочтут люди все стенограммы, поймут, разберутся — не хуже меня разберутся — и точно обозначат, кто есть кто.

Только когда же это будет?

Только имею ли я право устранять себя из этого процесса?

Дело моего отца

Когда-то очень давно, в лагере на концерте самодеятельности, я читал «Песню о Соколе». Я много чего читал. Особенно часто и с большим успехом среди охраны и вольнонаемных я выступал со «Стихами о советском паспорте» Читал с искренним восторгом и упоением, и голос мой звенел, и вохра мне завидовала. Но вот в «Песне о Соколе» меня как-то неожиданно остановили слова:

«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером...»

Несколько ответственнее было бы: «Пускай я умер...» А «пускай он умер...» — совсем уже некрасиво!

Конечно, лучше всего так может рассуждать человек, имеющий аргумент своей крови, в крайнем случае — крови своих близких. Такому человеку все три варианта кажутся приемлемыми.

Между тем психологический механизм пытки как раз на этом примере и построен. Если бы те, кого пытают, знали, что они «не могут все»,— процесс не получился бы' столь гладким.

Грубо, рисунок такой:

Следователь. Что, плачешь, просишь пощады, готов подписать?

Арестованный. Да, я готов подписать, хотя и не виноват.

Следователь. Эх ты, дерьмо! А помнишь Маяковского? «...рот заливали свинцом и оловом...» Дерьмо ты! Все вы дерьмо!

Арестованный. Я не выдержал, и друзья мои не выдержали. Значит, мы все дерьмо.

Так люди теряли самоуважение. Если бы они раньше знали, что человеческие возможности имеют границы, им было бы много легче. Гордыня обернулась потерей лица.

И это я об отце пишу. Его не сразу сломили. Не просто запугали. Он долго сопротивлялся.

Были, правда, другие случаи... Менее страшные.

Прошу читателя отметить, что психологическая установка на безграничные возможности человека, на независимость его «я» от внешней среды никак из марксизма не вытекает. Однако в революции эта установка играла важную роль.

— Позвольте,— возразит мне интеллигентный читатель,— то все любопытная достоевщина, но почему же никто, никто на процессе не встал и не сказал всего? Ни один человек!

Никто так не заражен красивыми предрассудками, как современный интеллигент. Умение мыслить категориями мешает простому воображению. Даже факты и то мешают видеть. Недаром в современной философии есть специальный термин «интеллектуальное запутывание».

Итак, «ни один человек»...

Один человек был. Николай Николаевич Крестинский.

Академик И. Майский писал о нем в «Известиях» в октябре 1963 года:

«Н. Н. Крестинский родился в 1883 году в семье белорусского учителя гимназии. В 1903 году он стал членом большевистской партии, принимал активное участие в революции 1905 года. Будучи по образованию юристом, оказывал большую помощь работе большевистской фракции Государственной Думы. Одновременно Н. Н.

Крестинский много писал в большевистских газетах и журналах тех дней. Репрессии царских властей — обыски, аресты, высылки — в изобилии сыпались на его голову.

В 1917 году, сразу после падения царизма, Н. Н. Крестинский возглавлял большевистские партийные организации на Урале, куда перед тем он был сослан царскими властями. После Октября он сначала стал комиссаром юстиции Северной Коммуны, а позднее Наркомфином РСФСР. С декабря 1919 года по март 1921 года Н. Н. Крестинский занимал пост секретаря ЦК. ВКП(б), работал бок о бок с В. И. Лениным. В ленинских сборниках опубликован ряд писем и записок Владимира Ильича к Н. Н. Крестинскому.

Не избежал Н. Н. Крестинский и ошибок. В период заключения Брестского мира он — «левый» коммунист. Во время профсоюзной дискуссии 1921 года подписал платформу объединенной оппозиции Троцкого—Бухарина, вынесенную в качестве проекта постановления X съезда партии. Однако на съезде Николай Николаевич голосовал не за ату платформу, а за ленинские резолюции о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне.

В 1927 году Н. Н. Крестинский направил в Центральный Комитет партии письмо, в котором писал, что он ознакомился с так называемым «заявлением 83-х», и просил присоединить его подпись к первоначальному списку подписавшихся под этим заявлением. В 1928 году Н. Н. Крестинский заявил о своем разрыве с оппозицией.

В августе 1921 года Николай Николаевич был назначен советским полпредом в Германии — тогда это был самый важный дипломатический пост за рубежом. Там он пробыл девять лет, в 1930 году Н. Н. Крестинский занял пост первого заместителя Народного комиссара иностранных дел. Н. Н. Крестинский избирался членом ЦИК СССР всех созывов, членом ЦК на VI, VII, VIII и IX съездах партии.

Имя Н. Н. Крестинского осталось в истории прежде всего как имя одного из виднейших советских дипломатов, который под руководством В. И. Ленина участвовал в закладывании первых камней великого здания советской внешней политики...»

Так писал Майский в связи с восьмидесятилетием со дня рождения Н. Н. Крестинского.

А теперь я расскажу о том, что было в марте 1938 года в Октябрьском зале Дома союзов.

С тех пор многие побывали в этом зале. Я сам даже участвовал там однажды в дискуссии о причинах живучести пережитков прошлого. Сидел на той самой сцене.

Прошу помнить, что мой отец видел своими глазами то, что я сейчас частями пытаюсь восстановить по документам и воспоминаниям.

Итак, Октябрьский зал Дома союзов. Мрамор и лепные потолки, усиленная стража и вход по особым пропускам. Первые несколько рядов занимают почти одинаково одетые люди с почти одинаковыми лицами, измятыми бессонницей и еще чем-то, оставляющим глубокие следы. Чем дальше от сцены, тем меньше одинаковых лиц.

Во второй половине зала есть знаменитости. Народный артист СССР Иван Москвин сидит, обхватив ладонью лоб. Никто не видит его лица, но вот кинохроника наводит на него юпитеры, и актер отрывает руку ото лба. Лицо его изображает гнев и презрение. Глаза горят. Юпитеры отвернулись, и потух взгляд. Рука закрывает лицо.

Это мне рассказали не для того, чтобы, упаси бог, бросить тень на процесс или намекнуть, что Иван Михайлович Москвин все-де понимал. Нет! Мне это рассказали лишь для того, чтобы подчеркнуть: актер всегда актер. Даже в зрительном зале.

Где-то вдали от сцены сидел один из тех, кто хотел написать правду о процессе,— Илья Григорьевич Эренбург

Но я забежал вперед. А то, о чем я должен рассказать, произошло в самом начале, 2 марта 1938 года, примерно в полдень.

Секретарь суда военный юрист А. А. Батнер читает обвинительное заключение. Оно занимает в книге двадцать семь страниц. Затем председательствующий армвоенюрист В В. Ульрих начинает допрос.

Председательствующий. Подсудимый Бухарин, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Бухарин. Да, я признаю себя виновным в предъявленных мне обвинениях.

Председательствующий. Подсудимый Рыков, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Рыков. Да, признаю.

Председательствующий. Подсудимый Ягода, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Ягода. Да, признаю.

Вот тут и начинается то, на что я прошу обратить внимание. Многие знают, что здесь произошло, только не помнят и не считают важным помнить, как это происходило. А только подробности и составляют подлинное знание.

В общем плане: «история — это борьба классов» или «борьба за власть», «так всегда было» и «не вашего ума дело». Но с другой стороны: «Что уж тут мудрить. Все они одним миром мазаны. И Крестинский, и Вышинский».

Между прочим, интересно: мне рассказывали, что Лев Шейнин, когда проезжал мимо дома, где жил Вышинский, плакал настоящими слезами. Лев Романович очень любил Андрея Януарьевича.

Председательствующий. Подсудимый Крестинский, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Крестинский. Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда не был участником «право-троцкистского блока», о существовании которого я не знал. Я не совершил также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой.

Председательствующий. Ваше признание на предварительном следствии вы подтверждаете?

Крестинский. Да, на предварительном следствии признавал, но я никогда не был троцкистом.

(Вряд ли нам удастся сличить подлинные протоколы с опубликованными. Но слова «я никогда не был троцкистом» явно вписаны при редактуре, чтобы далее вписать и слова Вышинского об этом. Во всяком случае, Николай Николаевич Крестинский этих слов сказать не мог. О его солидарности со взглядами Троцкого в прошлом было известно партии, как и о его официальном разрыве с Троцким, публичном отказе от троцкизма.— К. И.)

Председательствующий. Повторяю вопрос, вы признаете себя виновным?

Крест и некий. Я до ареста был членом Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), и сейчас остаюсь я таковым.

Председательствующий. Вы признаете себя виновным в участии в шпионской деятельности и в участии в террористической деятельности?

Крестинский. Я никогда не был троцкистом, я не участвовал в «право-троцкистском блоке» и не совершил ни одного преступления.

(Напрасно председательствующий армвоенюрист В. В. Ульрих так задержался на допросе Н Н. Крестинского. Ведь ясно всякому, что обвиняемый четко и осознанно отказался от показаний, данных на предварительном следствии. В практике любого, даже очень молодого, судебного работника такие случаи не редкость. Видимо, председательствующий слегка опешил и не сразу сообразил, что не нужно акцентировать на этом внимание.— К. И.)

Председательствующий. Подсудимый Раковский, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Раковский. Да, признаю.

(Далее опять все идет гладко. Розенгольц, Иванов, Чернов, Гринько, Зеленский, Бессонов, Икрамов, Ходжаев, Шарангович, Зубарев, Буланов, Левин, Плетнев, Казаков, Максимов, Крючков — все отвечают: «Да, признаю».— К. И.)

Председательствующий. Объявляется перерыв на двадцать минут.

Я не знаю, что они делали в эти двадцать минут с Крестинским, но что они что-то делали, в этом у меня нет никаких сомнений. Если предположить, что они ничего и не пытались делать, то невозможно понять дальнейшего.

В памяти большинства сохранилось только то, что Крестинский в самом начале процесса вроде бы отказался признать свою вину, просто сказал, что ни в чем не виноват, а потом тут же стал подробно признаваться во всем.

Вот, например, как неточно пишет об этом такой весьма добросовестный мемуарист, каким мы знаем Илью Эренбурга. Неточность характерная.

«Во время судебного разбирательства произошла только одна заминка — обвиняемый Крестинский неожиданно отказался от своих показаний на предварительном следствии и начал отрицать и свою причастность к «право-троцкистскому блоку», и свою шпионскую деятельность.

В связи с этим неожиданным заявлением Крестинского судебное заседание было на время прервано и подсудимых увели. Иностранные корреспонденты бросились к переговорным пунктам, чтобы передать в свои газеты сенсационное сообщение о поведении Крестинского. Однако через полтора часа заседание Верховного суда возобновилось; и Крестинский, признав себя виновным, отказался от своего только что сделанного заявления».

Тут по меньшей мере три ошибки.

Во-первых, не заминка и не одна.

Во-вторых, заседание не было тут же прервано.

И в-третьих, ни через полтора, ни через три часа Крестинский не признал себя виновным и не отказался от только что сделанного заявления.

Ошибки Эренбурга проистекают все из того же свойственного многим невнимания к подробностям.

На самом деле было совсем не так. А относительно дня второго марта все было наоборот.

После перерыва суд переходит к допросу обвиняемого Сергея Алексеевича Бессонова, способного экономиста, дипломата, работавшего с Н. Н. Крестинским.

О Бессонове рассказывают так: «Он темноволосый, с монгольским разрезом умных глаз, слегка сутулится, что не мешает ему быть элегантным; голову держит немного набок, будто учтиво прислушивается. Губы его часто складываются в усмешку, или это кажется оттого, что верхняя губа чуть коротковата. Собеседник и оратор он был отличный, остроумный, но сдержанный, только изредка прибегал к жесту, и тогда слово поддерживали выразительные, большие белые руки».

Люди, знавшие Сергея Алексеевича близко, не осуждали его за то, как он вел себя на процессе. То есть осуждали, конечно, но прощали. Между тем поведение Бессонова на процессе может показаться примером очень страшного и глубокого падения.

Во всяком случае, я лично был потрясен, впервые читая стенограмму процесса в Исторической библиотеке. Бессонов реабилитирован посмертно, и я искренне рад этому. Ведь судили его не за клевету, не за оговор и самооговор, не за слабость воли. Мне понятно и поведение одного из замечательнейших людей двадцатого века, который в 1963 году содействовал реабилитации Бессонова, зная, что тот в свое время дал и на него лживые показания.

Человек этот не толстовец, не всепрощенец, о нем я уже упоминал в этой книге, и к нему более всего подходит забытое нами выражение: я имел честь быть его другом. Да, я имел честь быть другом Евгения Александровича Гнедина, одного из ближайших сподвижников М. М. Литвинова, который был с санкции В. М. Молотова обречен на страшные пытки. Эти пытки в своем собственном парадном кабинете начал проводить сам Л. П. Берия.

Бывшего заведующего отделом печати Наркомата иностранных дел СССР пешком перевели через улицу, и вскоре он был обработан так, что не мог ни ходить, ни сидеть, ни стоять. Его таскали волоком по самым роскошным кабинетам, изредка смазывали раны и ушибы, и снова — то следователи, то Кобулов в присутствии Берии. Это началось в мае тридцать девятого и длилось почти два года. Е. А. Гнедин своим примером как бы опровергает выводы теоретиков и практиков допросов с пристрастием. Он выдержал все, никого не оклеветал, ни в чем не признал себя виновным.

Мы познакомились в лагере на водоразделе Печоры и Камы, и я рассказал ему, что именно Кобулов был моим «куратором» и его четкая подпись (до сих пор помню ее) стояла на важнейших документах следственного дела. Мы мало говорили об этом, Евгений Александрович не хотел обременять своего молодого друга негативными фактами нашей жизни, фактами, которые он считал случайностью, а не закономерностью.

Он читал мне стихи. Много позже я узнал, что именно стихи, чужие и свои, помогли ему выстоять. Он читал Блока, Брюсова, Гумилева, Вяч. Иванова...

Не сразу он сказал мне, что присутствовал на процессе «право-троцкистского блока», что по должности руководил освещением этого процесса в иностранной печати, что видел и запомнил моего отца. Да, он руководил освещением процесса в

зарубежной печати, да, на скамьях подсудимых были люди, которых он знал хорошо, с которыми вместе работал или по работе встречался.

Как он чувствовал себя на процессе?

Но я не об этом пишу.

— Если бы я знал, что встречу сына Акмаля Икрамова, если бы знал, я бы смотрел на него иначе, совсем иначе,— с огорчением говорил мне Гнедин.— Что могу сказать… Пожалуй, он более всех был отрешен от всего происходящего.

Файзулла Ходжаев, элегантно одетый, сидел ближе к публике, позировал; Бухарин часто глядел в зал, кого-то искал глазами; Ягода с видом затравленного волка кричал в последнем слове: «Товарищи чекисты, товарищ Сталин, если можете, простите!» Икрамов... Он появлялся из глубины сцены, он был какой-то отрешенный от всего происходящего. Отрешенный и скорбный, иногда тяжело больной, в забытьи... Если бы я знал, что встречу его сына!

Бессонова Евгений Александрович знал хорошо, вместе с ним работал в Германии и поражался роли, которую тому отвели в процессе. Он был спокоен, когда давал подробные показания. Однако иностранные корреспонденты ложь почувствовали, обнаружили противоречия, и Гнедин, читавший их отчеты, однажды сказал Генеральному прокурору:

— Андрей Януарьевич, иностранные корреспонденты удивлены кое-какими противоречиями в показаниях Бессонова.

— Да? — встревожился тот и поблагодарил:— Спасибо, Евгений Александрович, я обязательно поговорю с Бессоновым.

Так вот запросто и поговорит.

В стенограмме начало допроса Бессонова занимает десять страниц. Я их опускаю. Достаточно сказать только, что все они — подробное, с убедительными на первый взгляд деталями, изобличение Крестинского.

Начну со страницы 49-й.

Вышинский. Значит, мы можем установить такие факты: первое — это то, что Крестинский проезжал через Берлин.

Бессонов. Я думаю, что это было в сентябре или в конце августа 1933 года.

Вышинский. Куда он ехал?

Бессонов. В Киссинген.

Вышинский. Зачем?

Бессонов. Он лечился. Он остановился в торгпредстве, и я с ним разговаривал. Дважды мы разговаривали на троцкистские темы.

Вышинский. А он говорит, что никогда троцкистом не был. Может быть, он порицал троцкистов? Вы слышали сами здесь, что он говорил, что он троцкистом не был. Как это, правильно или нет?

Бессонов. (Улыбается.)

(Неужели он действительно улыбался? Но и придумать эту деталь тоже очень трудно.— К. И.)

Вышинский. Что вы улыбаетесь?

Бессонов. Я улыбаюсь потому, что я стою здесь на этом месте, потому что Николай Николаевич Крестинский назвал меня как связиста с Троцким. И, кроме него и Пятакова, никто об этом не знал. И если бы в декабре 1933 года Крестинский со мной не говорил об этом обстоятельстве, то я бы не находился на скамье подсудимых.

Вышинский. Так что вы считаете, что вы обязаны ему в этом деле? Позвольте спросить подсудимого Крестинского.

Подсудимый Крестинский, вы действительно проезжали в Киссинген в 1933 году в августе или сентябре?

Крестинский. В начале сентября.

Вышинский. Этот факт подтверждаете?

Крестинский. Подтверждаю.

Вышинский. С Бессоновым виделись?

Крестинский. Да.

Вышинский. Разговаривали?

Крестинский. Да.

Вышинский. О чем? О погоде?

Крестинский. Он был советником полпредства в Берлине, в это время исполнял обязанности поверенного в делах. Он информировал меня о политическом положении в Германии, о настроениях фашистской партии, которая в то время была у власти, об их программе и установке к СССР.

Вышинский. А о троцкистских делах?

Крестинский. Мы с ним не говорили. Я троцкистом не был.

Вышинский. Никогда не говорили?

Крестинский. Никогда.

Вышинский. Значит, Бессонов говорит неправду, а вы говорите правду. Вы всегда говорите правду?

Крестинский. Нет.

Вышинский. Не всегда. Подсудимый Крестинский, нам придется с вами разбираться в серьезных делах и горячиться не нужно. Следовательно, Бессонов говорит неправду?

(Почему на реплику Крестинского «нет» прокурор реагирует фразой, в которой уговаривает подсудимого не горячиться? — К. И.)

Крестинский. Да.

Вышинский. Но вы тоже не всегда говорите правду. Верно?

Крестинский. Не всегда говорил правду во время следствия.

Вышинский. А в другое время говорите всегда правду?

Крестинский. Правду.

Вышинский. Почему же такое неуважение к следствию: когда ведут следствие, вы говорите неправду? Объясните.

Крестинский. (Молчит.)

Вышинский. Ответов не слышу. Вопросов не имею. Подсудимый Бессонов, когда имели место ваши разговоры с Крестинским о троцкистских делах?

Бессонов.В Берлине был не первый разговор, а второй.

Вышинский. А где был первый?

Бессонов. Первый имел место в Москве, в мае 1933 года

Вышинский. При каких обстоятельствах, когда и о чем именно вы говорили с Крестинским в Москве о троцкистских делах?

Бессонов. Вернувшись в Москву со всей торговой организацией из Англии, я был назначен советником полпредства СССР в Германии. Прежде чем принять этот пост, я имел длительную беседу с Пятаковым и Крестинским.

Вышинский. Пятаков меня сейчас не интересует, сейчас меня интересует Крестинский. Где вы разговаривали с ним?

Бессонов. В кабинете Крестинского, в НКИД.

Вышинский. О троцкистских делах?

Бессонов. Да, Крестинский мне сказал, что на основе рекомендации и разговора Пятакова он считает необходимым со мною говорить совершенно откровенно относительно тех задач, которые стоят передо мною в Берлине. Он сказал мне, что он уже говорил о моем назначении с немцами, московскими немцами, имея в виду немецкое посольство в Москве.

Председательствующий. Подсудимый Бессонов, вы не забыли моего предупреждения в начале судебного следствия?

Бессонов. То, что я хочу сказать, ни в какой степени, вероятно, не затрагивает чести ни одного из посольств, и что германская страна довольна моим назначением, потому что я долго работал в Германии, хорошо знаю Германию, и они меня знают, и что с этой точки зрения они довольны тем, что имеют знакомую фигуру. Действительный смысл, конечно, всего этого замечания заключался в том, что очень ярко формулировал раньше до этого Пятаков, неоднократно до этого говорил мне и Крестинский, что моя работа в Германии в течение 1931 —1932 годов, безусловно, создала мне как члену троцкистской организации определенную популярность и симпатии среди известных кругов германских промышленников и отчасти германских военных, популярность, которая теперь должна быть использована для новых задач. Эти задачи Крестинский формулировал следующим образом...

Вышинский. Коротко, потому что я думаю, что об этих задачах будет говорить сам Крестинский позже.

Бессонов. Если бы совершенно кратко формулировать основные мысли Крестинского и то задание, которое я от него получил,— оно заключалось в том, что я на должности советника Берлинского полпредства должен в первую очередь и раньше всего приложить все усилия к тому, чтобы задержать и по возможности не допустить нормализации отношений между Советским Союзом и Германией на обычном, нормальном дипломатическом пути.

(Напоминаю, что процесс происходил в марте 1938 года, через год с небольшим был достигнут полный контакт с фашистской Германией. Гитлер стал тогда, по словам наших газет, любимым вождем немецкого народа, состоялось подписание пакта и множества торговых соглашений. Привлекает внимание попытка Государственного обвинителя сложить вину за отсутствие хороших отношений между СССР и Германией на врагов народа.— К. И.)

Вышинский. Подсудимый Крестинский, вы не припомните таких «дипломатических» разговоров с Бессоновым?

Крестинский. Нет, у нас не было таких разговоров.

Вышинский. Вообще не было дипломатических разговоров?

Крестинский. Я не совсем расслышал, что говорил Бессонов в последнюю минуту. Здесь плохо слышно.

Вышинский. А вы очень близко к нему сидите.

Крестинский. Здесь сзади плохо слышно то, что говорит Бессонов.

(Может быть, Н. Н. Крестинский считает нужным занять позицию более удобную для ведения защиты, для того, чтобы его все видели.— К. И.)

Вышинский. Разрешите мне просить вас, товарищ председатель, пересадить Крестинского поближе к Бессонову, чтобы он хорошо слышал, а то я опасаюсь, что в наиболее острые моменты Крестинскому будет изменять слух.

(Крестинский пересаживается ближе к Бессонову.)

Вышинский. Я прошу Бессонова специально для Крестинского повторить то, что он сказал, а Крестинского попрошу внимательно слушать: напрячь свой слух.

Бессонов. Я повторяю. Задание, которое я тогда получил от Крестинского, заключалось в том, что я на должности советника Берлинского полпредства СССР, где я, конечно, располагаю известными возможностями для осуществления этой задачи, должен всеми доступными мне средствами,— само собой разумеется, соблюдая весь дипломатический декорум,— всеми доступными мне средствами помешать, задержать, не допустить нормализации отношений между Советским Союзом и Германией на нормальном дипломатическом пути и тем самым вынудить немцев искать нелегальных, недипломатических, секретных и тайных путей к соглашению с троцкистской организацией.

Вышинский. Вы слышали это?

Крестинский. Да.

Вышинский. У вас в мае 1933 года были разговоры с Бессоновым?

Крестинский. У меня были разговоры с Бессоновым перед его отправлением в Берлин.

Вышинский. Были. О чем, не помните?

Крестинский. Я не помню деталей.

Вышинский. Вы деталей не помните, а Бессонов помнит.

Крестинский. Не было ни одного звука о троцкистских установках.

Вышинский. Вы говорили о том, что он должен делать за границей или не говорили?

Крестинский. Да.

Вышинский. Что он должен делать?

Крестинский. Что он должен стараться создавать нормальные отношения в тех пределах, в которых это возможно.

Вышинский. В каких возможно. А если невозможно?

Крестинский. Если не будет удаваться — другое дело, но он должен стараться.

(Обратите внимание, как четко, здраво, исчерпывающе и лаконично звучат ответы Н. Н. Крестинского.— К. И.)

Вышинский. Обвиняемый Бессонов, правильно говорит Крестинский?

Бессонов. Совершенно неправильно. Больше того, Крестинский в этом разговоре дал мне подробную организационную директиву, каким образом я должен с ним сноситься в будущем...

...Крестинский был расстрелян, Бессонов получил пятнадцать лет и умер в лагерях. Если бы он остался жив... простить необходимо! Не понять и простить, но простить и понять.

Вышинский. Вы слышите, что Бессонов достаточно подробно говорит о ваших разговорах, которые носят далеко не такой характер, который вы им придаете. Как же быть?

Крестинский. Таких разговоров не было, хотя на очной ставке, которая была в январе месяце, я часть разговора признал.

Вышинский. Вы на очной ставке с Бессоновым подтверждали эту часть?

Крестинский. Да.

Вышинский. Значит, был такой разговор?

Крестинский. Нет.

Вышинский. Значит, то, что говорит Бессонов, надо понимать наоборот?

Крестинский. Не всегда.

Вышинский. Но ваше признание?

Крестинский. На следствии я несколько раз давал неправильные показания.

Вышинский. Вы говорили, что «в состав троцкистского центра я формально не входил». Это правда или неправда?

Крестинский. Я вообще не входил.

Вышинский. Вы говорите, что формально не входили. Что здесь правда, что здесь неправда? Может быть, все правда, или все неправда, или наполовину правда? На сколько процентов, на сколько граммов здесь правды?

(Может, Вышинский рассчитывает на затемнение сознания, на полученный Крестинским укол, на его бессонные ночи? Неужели всерьез надеется запутать в словах? — К. И.)

Крестинский. Я не входил в состав троцкистского центра потому, что я не был троцкистом.

Вышинский. Вы не были троцкистом?

Крестинский. Не был.

Вышинский. Никогда?

Крестинский. Нет, я был троцкистом до 1927 года

Председательствующий. В начале судебного заседания на мой вопрос вы ответили, что никогда троцкистом не были. Вы это заявили?

Крестинский. Я заявил, что я — не троцкист.

Вышинский. Итак, вы до 1927 года были троцкистом?

Крестинский. Был.

Вышинский. А в 1927 году вы когда перестали быть троцкистом?

Крестинский. Перед XV съездом партии.

Вышинский. Напомните дату.

Крестинский. Я датирую мой разрыв с Троцким и с троцкизмом 27 ноября 1927 года, когда я через Серебрякова, возвратившегося из Америки и находившегося в Москве, направил Троцкому резкое письмо с резкой критикой…

Вышинский. Письма этого у нас нет в деле. У нас есть с другое письмо — ваше письмо на имя Троцкого.

Крестинский. Письмо, о котором я говорю, находится у судебного следователя, потому что оно изъято у меня при обыске, и я прошу о приобщении этой переписки.

Вышинский. В деле есть письмо от 11 июля 1927 года, изъятое у вас при обыске.

Крестинский. Там же есть письмо от 27 ноября.

Вышинский. Нет такого письма.

Крестинский. Не может быть...

(И здесь не удалось. Прокурор вынужден вильнуть в сторону.— К. И.)

Вышинский. У нас сейчас ведется судебное следствие, а ведь вы на следствии не всегда говорили правду. Вы говорили на предварительном следствии, что вы формально не входили в центр. Значит, на предварительном следствии вы признали, что входили вообще, по существу, в троцкистский центр. Вы признавали это на предварительном следствии?

Крестинский. Нет, не признавал.

Вышинский. В ваших показаниях (т. 3, л. д. 9) вы показывали: «Формально не входил...»

Значит, можно понимать так, что не формально входили. Верно?

Крестинский. Я не входил вообще в состав троцкистского центра.

Вышинский. Значит, вы дали неправильные показания?

Крестинский. Я же заявил, что эти мои показания не соответствуют действительности.

Вышинский. Когда я вас допрашивал на предварительном следствии, вы мне говорили правду?

Крестинский. Нет.

Вышинский. Почему вы мне говорили неправду? Я вас просил говорить неправду??

Крестинский. Нет.

Вышинский. Просил я вас говорить правду?

Крестинский. Просили.

Вышинский. Почему же, когда я вас прошу говорить правду, вы все-таки говорите неправду и заставляете следователя писать это, потом подписываете? Почему?

Крестинский. Я дал прежде, до вас, на предварительном следствии неправильные показания.

Вышинский. ...и потом держались?

Крестинский. ...и потом держался, потому что на опыте своем личном пришел к убеждению, что до судебного заседания, если таковое будет, мне не удастся опорочить эти мои показания.

(Разрядка моя. Нужно ли еще что-нибудь для полной дискредитации этого процесса? Но нам все мало. Мы никак не можем понять, в чем дело. Почему они говорили неправду? - К. И.)

Вышинский. А теперь вы думаете, что вам удалось их опорочить?

Крестинский. Нет, не это важно. Важно то, что я заявляю, что не признаю себя троцкистом. Я не троцкист.

Вероятно, разумнее было бы прекратить допрос Крестинского, перенести его в конец процесса, дав возможность палачам обработать жертву. Или пускай так все и останется, как уже случилось: Крестинский отказался, но свидетели его изобличили. Мало ли случаев, когда полностью изобличенный преступник отрицает свою вину. Никакой суд, в конце концов, это не смущало. Но Вышинскому необходимо добиться признания. Запутать? Нет — запугать. Нажать, продемонстрировать подлость и грубую силу, напомнить этому несчастному, с кем он имеет дело, сломить волю. Галина Серебрякова уверяла меня со слов сведущих людей, что в специальной ложе за занавесом кто-то видел силуэт «человека с усами» и чувствовался запах трубочного табака. Сталин, мол, лично наблюдал и, вероятно, давал практические советы относительно пыток. Сейчас мне не так интересны отношения Сталин — Икрамов, как Сталин — Вышинский. Что один испытывал к другому?

Вышинский. Вы сообщали, что вы находились на особо конспиративном положении. Что это значит — «особо конспиративное положение»?

Крестинский. Вы же знаете...

Вышинский. Вы меня в качестве свидетеля не привлекайте к этому делу. Я вас спрашиваю, что значит — на особо конспиративном положении?

Крестинский. Это было сказано в моем показании...

Вышинский. Вы не хотите отвечать на мои вопросы?

Крестинский. Эта фраза о том, что я нахожусь на особо конспиративном положении, есть в моем показании от 5 или 9 июня, которое от начала до конца является неправильным.

Вышинский. Я не об этом вас спрашиваю, поэтому прошу не спешить с ответами. Я спрашиваю, что значит — нахожусь на особо конспиративном положении?

Крестинский. Это не соответствует действительности.

Вышинский. Это мы потом будем выяснять. Я хочу понять смысл заявления о том, что вы находитесь на особо конспиративном положении.

Крестинский. Если бы это соответствовало действительности, то это означало бы, что я, будучи действительно троцкистом, принимаю все меры для того, чтобы скрыть свою принадлежность к троцкизму

Вышинский Прекрасно, а чтобы скрыть, надо отрицать свой троцкизм?

Крестинский Да

Вышинский Сейчас вы заявляете, что вы не троцкист Не для того ли, чтобы скрыть, что вы троцкист?

(Очень трудно в этом случае сдержаться: не выругаться, не заплакать — К. И.)

Крестинский (после молчания) Нет, я заявляю, что я не троцкист

Вышинский (обращаясь к суду) Можно спросить обвиняемого Розенгольца? Обвиняемый Розенгольц, вы слышали этот диалог?

Розенгольц Да.

Аркадий Павлович Розенгольц — Народный комиссар внешней торговли СССР, член партии с 1905 года, работал под кличкой «Степан» В Октябрьские дни он распропагандировал и привел к Моссовету первую войсковую часть — самокатный батальон

Сейчас вряд ли нужно вспоминать все его заслуги перед партией. В данном тексте следует отметить, что А. П. Розенгольц был человеком, вызвавшим дрожь зрителей в Октябрьском зале Дома союзов, когда во время своего последнего слова вдруг запел: «Хороша страна моя родная... Нет такой другой страны на свете, где так вольно дышит человек».[1] Но это было позже, двенадцатого марта, а на допросе второго марта Николай Николаевич Крестинский еще мог, вероятно, рассчитывать на то, что его личный пример повлияет на старого товарища по партии, поможет тому обрести себя.

Вышинский (Розенгольцу). Как вы считаете, Крестинский был троцкистом?

Розенгольц. Он троцкист.

Вышинский. Обвиняемый Крестинский, прошу слушать, а то потом вы будете заявлять, что не слышали.

Крестинский. Мне стало нехорошо.

Вышинский. Если обвиняемый заявляет, что ему нехорошо, я не имею права его допрашивать.

Крестинский. Мне нужно только принять таблетку, и я могу продолжать.

Вышинский. Вы просите вас пока не допрашивать?

Крестинский. Несколько минут.

Вышинский. А вы можете слушать, как я буду допрашивать других?

Крестинский. Могу.

Вышинский. Обвиняемый Розенгольц, какие у вас данные, что Крестинский троцкист, и, следовательно, он говорит здесь неправду?

Розенгольц. Это подтверждается теми переговорами, которые были у меня с ним как с троцкистом.

Вышинский. Когда были эти переговоры?

Розенгольц. Эти переговоры были начиная с 1929 года.

Вышинский. До какого года?

Розенгольц. До последнего периода.

Вышинский. То есть?

Розенгольц. До 1937 года.

Вышинский. Значит, переговоры велись с 1929-го до 1937 года, 8 лет вы «переговаривались» с ним как с троцкистом? Правильно я вас понимаю?

Розенгольц. Да.

1 Несколько искаженный текст песни цитируется по стенографическому отчету. Очевидцы утверждают, что А. П. Розенгольц пел эти слова.

..Вслед за наркомвнешторгом А. П. Розенгольцем Крестинского «изобличает» наркомфин Г Ф. Гринько.

Забегая вперед скажу, что в тот день против Крестинского дали показания многие. Все уже были сломлены и даже раздавлены. Он стоял один.

Нет, я не думаю, что он оказался самым мужественным и стойким. Ему повезло больше, чем другим. Ему удалось обмануть своих палачей. Тот, кто отвечал за «подготовку» Крестинского, возможно, поплатился.

Задача стояла в том, чтобы полностью сломить волю предназначенных к процессу Ломать и гнуть, ломать и гнуть, убедить в бесполезности сопротивления, в полной бессмысленности всей прошлой жизни и жизни теперешней.

Люди стояли насмерть, а их ломали. Месяц, два, три, четыре, пять — год. И когда они были полностью сломлены, они шли на этот процесс. Просчет обреченных

состоял в том, что они сопротивлялись, не имея в виду открытый суд, не веря в процесс. Отсюда и слова Крестинского: «что до судебного заседания, если таковое будет...»

Николай Николаевич Крестинский притворялся сломленным очень давно. То, что самооговорные показания он дал в июне, а потом, во время следствия, этих показаний держался, подтверждает мою версию.

Мой отец, как я уже писал, до конца февраля не давал показаний против Бухарина, и их вырвали у него за несколько дней до процесса. Не знаю, как это случилось, может быть, они угрожали моим арестом (мне было десять лет), или пытками матери, или делали отцу какие-то фантастические инъекции. Так или иначе, мой отец, как и все остальные участники процесса, вышел на него полностью сломленным.

Они все боролись на предварительном следствии, один на один с палачами, в подвалах, застенках, без времени и без надежды. Только Крестинскому удалось дать бой на людях. И все остальные, все должны быть благодарны ему. Он рассказал об их муках. Но следует помнить: то, что удалось одному, могло удасться только одному из всех. Только потому, что все были сломлены, одному удалось обмануть палачей. Так среди многих расстрелянных может оказаться один живой. Он жив потому, что другие мертвы.

Но вернемся к стенограмме. После показаний Розенгольца и Гринько Крестинского опять «изобличает» Бессонов. Он говорит о свидании Крестинского с Троцким на итальянском курорте в Меране.

— Николай Николаевич предполагал, что я должен приехать в это время, но приехать я не мог, и поэтому,— говорит Бессонов,— я в этой встрече не участвовал и знаю из рассказов самого Николая Николаевича и Иогансона, который организовал эту встречу

Вышинский. Подсудимый Крестинский, в Меране вы были?

Крестинский. Да, был

Вышинский. В каком году?

Крестинский. В 1933 году, в октябре месяце.

Вышинский. Значит, вы были тогда, как об этом говорит Бессонов?

Крестинский. Это правильно

Вышинский. Правильно? Место сходится?

Крестинский. Сходится.

Вышинский. День сходится?

Крестинский. Сходится. Я был для проведения лечения и никого из троцкистов не видел.

Вышинский. Значит, Бессонов неправ, а вы говорите правду?

Крестинский. Да, он неправ. Он повторяет мои показания, которые являются неправильными.

Тут вскрыта механика допроса. «Он повторяет мои показания». Это характерно. Заключенный под пытками оговаривает себя, а тот, кто предназначается ему в свидетели, повторяет его же слова. Нравственный барьер, который должны преодолеть в себе лжесвидетели, в таких случаях легче преодолеть. Здесь же и заключается полная нравственная реабилитация Сергея Алексеевича Бессонова Он повторял показания Крестинского. Повторял то, что Николай Николаевич показал и на него, на самого Бессонова «до судебного разбирательства, если таковое будет».

Еще раз прошу обратить внимание на четкость формулировок в показаниях Крестинского и то достоинство, с которым он держался. Для него очень важно не выходить из себя, не дать повода прибегнуть к санкциям «за оскорбление правосудия», не поддаться на провокации.

Сейчас, по прошествии многих поучительных лет, трудно представить себе, как можно было лучше выполнить эту задачу

Вышинский. Когда мы на предварительном следствии спрашивали у вас, как вы говорили по этому поводу?

Крестинский. Давая показания, я не опровергал н» одного из своих прежних показаний, которые я сознательна подтверждал.

Вышинский. Сознательно подтверждали. Вы вводили прокуратуру в заблуждение. Так ли это?

Крестинский. Нет.

Вышинский. Зачем вам нужно было вводить меня в заблуждение?

Крестинский. (Чтобы не тратить слов, я позволю себе прибегать к разрядке.— К И.) Я просто считал, что если я расскажу то, что я сегодня говорю, что это не соответствует действительности, то мое заявление не дойдет до руководителей партии и правительства.

Вышинский. Но ведь протокол вы подписывали?

Крестинский. Подписывал.

Вышинский. Вы помните, что я вам прямо поставил вопрос, нет ли у вас какого-либо заявления или претензии к следствию. Было так?

Крестинский. Да, было.

Вышинский. Вы мне ответили?

Крестинский. Да.

Вышинский. Я спрашивал, есть ли у вас претензии или нет?

Крестинский. Да, и я ответил, что претензий нет.

Вышинский. Если спрашивают, есть ли претензии, то вам надо было бы сказать, что есть.

Крестинский. Есть в том смысле, что я не добровольно говорил.

Вышинский. Я зачитаю ответ, который вы дали следователю Шейнину на заданный вам вопрос. Ответ Крестинского: «никаких претензий к следствию я не имею» (т. 3, л. д. 103).

А между тем существует точка зрения, что Л. Р. Шейнин совершенно непричастен ко всему этому.

Со Львом Романовичем я был знаком. Мы даже встречались за праздничным столом на даче Владимира Тендрякова. Ели раков. Лев Романович очень хорошо ел раков. Одни скорлупочки оставлял. Как яйца всмятку. Ложкой. Тендряков специально устроил эту встречу, раков не пожалел: «Давай мы его допросим. Не вывернется».

Шейнин вывернулся. Ел .раков, изредка вытирая губы крахмальной салфеткой.

— Нас к этому не допускали,— говорил он о тридцать седьмом.

И мне все как-то стыдно было, как-то неловко подойти к нему и спросить: «Вы допрашивали моего отца, как это было? Почему так получилось, что они все оговаривали себя, почему Крестинский...»

И еще мне хочется узнать, по какой причине именно мой отец производил впечатление человека тяжело больного, находящегося в забытьи? И на всех ли заседаниях был отец? И кто писал им последние слова, кто их произносил, потому что со ссылкой на Керженцева утверждают, что двенадцатого марта, во время оглашения приговора, на скамье подсудимых сидели только дублеры.

Никто никогда не узнает, что думали двадцать подсудимых, когда двадцать первый шел на свою Голгофу.

Интересно отметить еще один обмен репликами. Установив, что между Крестинским, с одной стороны, и Бессоновым, Розенгольцем и Гринько — с другой были до сих пор вполне хорошие отношения, Вышинский спрашивает:

— И вот три человека, с хорошим отношением к вам, подсудимый Крестинский, говорят то, чего не было?

Крестинский. Да.

Я преклоняюсь перед этим человеком.

Утреннее заседание второго марта завершается диалогом поразительной силы.

До предела взвинченный, перепуганный последствиями возможного провала и возможным высочайшим гневом, Вышинский после дополнительного опроса Бессонова и Розенгольца вновь обращается к Николаю Николаевичу.

Делать это — глупо, и за глупость возможна суровая кара, но Вышинский в своей службе Сталину давно уже сделал ставку только на верность.

Вышинский. Обвиняемый Крестинский, вы слышали это показание?

Крестинский. Я это отрицаю.

Вышинский. Отрицаете?

Крестинский. Отрицаю.

Вышинский. Безусловно?

Крестинский. Безусловно.

Вышинский. Конечно?

Крестинский. Конечно.

Вышинский. У меня больше нет вопросов.

Председательствующий. Объявляется перерыв на два часа

Вечернее заседание 2 марта 1938 года, так же как и утреннее, по существу посвящено Николаю Николаевичу Крестинскому Свидетелями против него выступают Г. Ф. Гринько и А. И Рыков.

Прокурор, наученный первым заседанием, боится предоставлять Крестинскому трибуну, но его линия поведения все же отчетливо видна по стенограмме.

Бросается в глаза, как и прежде, спокойное достоинство Н. Н. Крестинского и злобная нервозность Прокурора СССР.

Вышинский. Выходит, что Крестинский говорит здесь неправду и пытается отвертеться от связи с троцкистами?

Рыков. Он не только говорит неправду, а хочет спутать ту правду, которая здесь есть.

Вышинский. Обвиняемый Крестинский, вы слышали это?

Крестинский. Да, слышал.

Вышинский. Вы подтверждаете это?

Крестинский. Я не подтверждаю, что я говорил неправду, и не подтверждаю, что хочу спутать правду.

Вышинский. У меня вопрос к Крестинскому. Но вам известно было, что Рыков занят подпольной борьбой?

Крестинский. Нет.

Вышинский. Неизвестно?

Крестинский. То есть я знал об этом из тех сообщений, которые делались на пленуме Центрального Комитета.

Вышинский. Ах, только так?

Крестинский. Только так.

И через несколько строчек:

Вышинский (Рыкову). Разговаривали о делах нелегального порядка?

Рыков. Разговаривали о нелегальных делах.

Вышинский. Вы утверждаете, что и Крестинскому известно было о ваших делах в нелегальной партии, а Крестинский отрицает это; выходит, что Рыков говорит теперь неправду, а вы, обвиняемый Крестинский, правду?

Крестинский. Я говорю правду

Вышинский. А вы с какого времени начали говорить правду?

Крестинский По этому делу?

Вышинский. Да.

Крестинский. Сегодня говорю правду. Председательствующий. С двенадцати часов? Кристинский. Да, на заседании суда.

На целую страницу опять идут «признания» Рыкова, Бухарина, Розенгольца, Зеленского и Гринько. Затем:

Вышинский. Позвольте спросить Крести некого?

Обвиняемый Крестинский, все подсудимые находят, что в отношениях их говорят правду, вы говорите, что этого не было. Вы правду говорите?

Крестинский. Я говорю правду.

Вышинский. Сегодня?

Крестинский. Да.

На последующих почти тридцати страницах стенограммы вечернего заседания 2 марта прокурор уже не обращается к Николаю Николаевичу. Видимо, убеждение, что он «одумается», долго не оставляло организаторов процесса, очень им хотелось, чтобы он «одумался». Ему могло быть даже дано время «на размышление». Этим и объясняется то, что Вышинский несколько раз повторяет свои вопросы. Но всему есть конец. Прокурор оставил его в покое. Мы даже не знаем, присутствует ли Крестинский на скамье подсудимых после очередного двадцатиминутного перерыва, объявленного председательствующим.

Итак, в течение целого дня (вечерние заседания начинались, как правило, в шесть часов), т. е. с двенадцати часов дня на утреннем заседании и до восьми-девяти часов на вечернем, мы слышали четкие, сдержанные и мудрые ответы Крестинского, объясняющие причину самооговора и одновременно не дающие повода для обвинений в неуважении к закону и к удалению из зала суда. Остальные тридцать страниц зечернего заседания тоже весьма интересны, но в данный момент к делу не относятся. Стоит, пожалуй, отметить показания подсудимых, которые предназначены для косвенного подаёерждения дела Тухачевского и Гамарника, да еще слова Рыкова о том, как он, будучи Председателем Совета Народных Комиссаров СССР и РСФСР, давал для антисоветского «Социалистического вестника» клеветнический материал о проблемах 1928—1930 годов «в связи с теми затруднениями кулацкого порядка, которые партия в то время преодолевала». (Читатель уже знаком с точкой зрения Рыкова по цитированной выше речи Сталина на объединенном пленуме ЦК и ЦКК в апреле 1929 года.)

Мы не знаем, как провели ночь участники этого процесса. Предположения свои я стараюсь до поры не высказывать. Утреннее заседание 3 марта интересно для меня лично тем, что там идет допрос В. И. Иванова, бывшего наркома лесной промышленности, одного из старейших членов партии, работавшего вместе с отцом в двадцатых годах в должности ответственного секретаря ЦК Компартии Узбекистана.

Мне кажется, что он носил пенсне. Это единственное, что я помню. Помню несколько лучше его дочь. Ее я видел на правительственной даче в Сочи. С ней мой отец играл в теннис. Помню еще, как отец убеждал ее или кого-то из ее знакомых, что советские динамовские ракетки лучше парижских.

В. И. Иванов на процессе подробно рассказывает, что он, так же как И. А. Зеленский, агент царской охранки...

Когда заканчивается утреннее заседание, в стенограмме не указано. Объявляется перерыв до шести часов.

Подробности, детали, частности, которые могли сохраниться в памяти немногих оставшихся в живых очевидцев, к сожалению, уходят и уходят.

Некоторое весьма продолжительное время рядом со мной жил один знаменитый журналист, писавший отвратительные отчеты о процессе. Он долго лечился после душевного заболевания. Мне очень хотелось подойти к нему и спросить... Но вдруг эти воспоминания повлияют на больную психику? Я посоветовался с его лечащим врачом и с одним из его знакомых.

— Ни в коем случае,— сказали мне.— Он очень еще слаб. Он ведь много пережил во времена культа личности. Его жена была любовницей Лаврентия, и он боялся, что в один прекрасный день Берия... Это и было в основе мучившей его мании преследования.

Жена журналиста, высокая длинноногая женщина,— уже бабушка. Я видел ее с мужем, иногда с внуком. Чаще с собакой. И муж, и жена редко разговаривали с посторонними. Ходили на пруд, с мостика кормили рыбок. Что ж, и они тоже жертвы культа личности.

Так вот и не решился я подойти и спросить. Он действительно мог расстроиться, если вспомнит, что писал.

Я не берусь судить его. Только пусть расскажет, как это все было, что он думал и что думает теперь. Пусть не содействует сокрытию. (Так я писал четверть века назад. Нет, не написал тот журналист о своих заблуждениях или своем падении. Не тому учили. А сегодня свидетелей мало, совсем мало. Но они есть.)

Дастархан

Моя жена Оля любит рассказывать о том, как мы с дочкой оказались в Ташкенте на праздничной демонстрации.

Я об этом не рассказываю, не получается. Мешает «боковое зрение», не могу о главном, сбиваюсь на объекты второго и третьего плана.

Оля рассказывает так:

— Седьмого ноября было очень тепло, просто жарко, больше двадцати градусов, и мы с утра очень радовались, что урвали кусок лета, когда в Москве холод, снег, вьюга. С утра под нашими окнами студенты театрального института танцевали андижанскую польку — ребята собирались на демонстрацию.

Под эту польку мы завтракали, под нее же вышли из гостиницы, решили просто гулять, смотреть город — настроение было очень хорошее, как у богатых туристов: к тому же нашей игре в богатых туристов очень помогали фирменные длинные плащи, подаренные Камилом. На улицах продавали много всякой еды: горячая самса, плов, сладости и фрукты.

Мы пошли смотреть остатки старой крепости, могучие стены с воротами. Я очень люблю памятники старины трогать руками, только глазами — мне мало. И пока мы эту стену изучали, мы как-то очень высоко забрались, выше всех, и стала нам видна улица, по которой шли танки, бронетранспортеры, везли ракеты. Они уже миновали Аллею Парадов, ехали по домам.

Мы стали смотреть, раз уж видно. С земли пробиться, чтобы увидеть что-нибудь, невозможно. Началась демонстрация трудящихся; они шли районами. Один район прошел, другой... Впереди несли огромный портрет того, чьим именем район назван. Я сразу подумала, ведь и Акмаль-Икрамовский район пойдет, значит, и они будут с портретом. Но вслух это не сказала почему-то. Просто говорю: давайте еще постоим.

Стою. Жду и волнуюсь все сильней и сильней. А потом стоять стало невозможно, я сказала: «Скоро Акмаль-Икрамовский район пойдет...» И мы с Аней сбежали по откосу, папочка за нами. Начали пробираться сквозь толпу зрителей, выбрались на улицу и пошли навстречу колоннам. Идем, тянем друг друга, торопимся, налетаем на кого-то, под транспаранты подныриваем, спешим так, будто нас ждет кто-то. На нас оглядываются, но не ругают: Ташкент же, не Москва. Я думаю: вот сейчас, вот сейчас, а что плачу — не замечаю. Заметила, когда увидела портрет Акмаля. Он молодой, в косоворотке, узколицый такой парнишка. И веселый, молодой же очень.

Портрет поднят высоко, а небо голубое-голубое. Мы навстречу портрету шли, головы задрали, ничего не видим, на людей натыкаемся, а нас все пропускают. И шепот — «иностранцы, иностранцы». Это, конечно, из-за плащей наших, а может, из-за того, что премся против движения, не как все люди. Только вот, отчего плачем так, непонятно. С чего иностранцам плакать на демонстрации в Ташкенте...

Попытка беллетристики

С утра Икрамов выступал на первомайском митинге в Маргелане. Он часто бывал там, любил этот очень узбекский и очень пролетарский город с его устоявшимся бытом, с кварталами, где кустари жили, хотя и крайне бедно, но достойно, с уважением к себе, своему труду и своей судьбе. Тут хорошо мечталось. Мечталось, что вместо зловонных холодных мастерских с ручными станками будут фабрики с большими светлыми окнами. Не будет хозяев и скупщиков-перекупщиков, не будет нужды ткачам работать по четырнадцать часов в день, не будут трудиться в мастерских дети. Скоро это будет, очень скоро, максимум через пять-семь лет. Вот только бы с басмачами покончить, со спекуляцией.

Он стоял на'трибуне, солнце светило прямо в лицо, он жмурился и смеялся. Каждый квартал вышел со своими песнями и лозунгами. Особенно гордо и смешно выглядела колонна красильщиков. Всегда крашение шелка было монополией бухарских евреев, живших в Маргелане с незапамятных времен. Впервые вышли на демонстрацию эти недавно еще такие забитые, втройне бесправные люди. На красном кумаче их знамени по-русски был написан известный всем лозунг с добавлением смешным и трогательным: «Освобождение рабочих есть дело самих рабочих и красильщиков!»

И красильщиков, оказывается, тоже.

Очень уж хотелось несчастным и бесправным красильщикам, чтобы не забыли о них в такой день. А песни? Не было на той демонстрации ни одной новой песни, но ни одна старая не пелась на старые слова. Мелодии, видно, более живучи, чем слова. Слова заменить легче. А ведь слова — это самое главное для просвещения народа.

Икрамов утвердился в своем мнении вечером, когда в бывшем военном собрании смотрел оперетту «Кошмар буржуя». Оформление спектакля сделал барон Фредерике, а тексты сочиняли сами участники.

Задник представлял собой нечто вдохновленное знаменитой картиной Брюллова «Последний день Помпеи», а падающая колонна была сделана из картона и папье-маше и вот-вот грозила обрушиться на массивный круглый стол с резными ножками, за которым восседали и жаловались на судьбу всевозможные буржуи, изображаемые комсомольцами.

Началось представление буржуйским хором на мотив рекрутской песни «Последний нонешний денечек». Злоба дня была выражена довольно точно, представителей эксплуататорских классов ежедневно сгоняли на заготовку топлива, и пели они про это:

Пришел последний мой денечек.

Реви белугой — караул!

А завтра рано чуть светочек

Рубить отправят саксаул.

Лихо под лезгинку отплясывал какой-то щуплый молодой человек с углем нарисованными усиками в черкеске с газырями. Изображал он грузина-меньшевика. Руки у него взлетали лихо то вправо, то влево, мягкие ичиги скользили по грязному полу сцены.

Меньшевик тифлисский

Агент я английский,

Получаю взятки

Прямо без оглядки,

Надуваю ловко,

Ждет меня веревка...

Ох, уж эта веревка. Не далее как вчера Икрамов решил помочь новой советской школе, размещенной в реквизированном у купца Боголепова роскошном доме. Хозяев выселили в, дворницкую рядом с конюшней, дворнику дали комнату в прпрвеком доме, а в саду комсомольцы стали делать качели и гигантские шаги.

Когда вкопали столбы, положили перекладину и стали крепить ее скобами, из дворницкой на коленях выползла жена Боголепова и ползком же двинулась к качелям.

Она решила, что такую длинную виселицу строят для всей их семьи, и просила пощадить не детей, а мужа.

Качели остались недостроенными. Она рыдала, билась головой о землю, рвала на себе волосы. Пришлось уйти.

А молодой человек с нарисованными углем грузинскими усиками все еще плясал и пел.

Мы совсем пропали,

Бедные эсдеки,

Слава наша в массах

Сгинула навеки.

По ходу представления после саморазоблачительных песен на сцену должен был выйти рабочий, и буржуи со страха ныряли под стол, на который падала колонна.

Конца представления Икрамов не увидел. Его вызвали на улицу, где верховой нарочный со вторым конем в поводу ждал его.

— Мятеж в крепостной отдельной роте,— доложил он. Смеркалось, когда они подъехали к воротам.

— Стой! Кто идет? — крикнул часовой.

— Свои! — ответил нарочный.

— Пароль!

— Да говорят тебе — свои. Это я — Артамонов, со мной из обкома товарищ.

— Пароль.

(Здесь следовал кусок текста о том, как взбунтовались красноармейцы крепостной роты из-за того, что их товарища застрелил пьяный красноармеец саперного дивизиона, и о том, как сорок человек положили свои партийные билеты, потому что начальство не хотело выдать им убийцу на суд.

А вслед за этим эпизодом должен был следовать подробный рассказ о ночной беседе отца с курбаши Исламбеком, человеком такой жестокости, которую просто невозможно предположить в благообразном, религиозном и образованном человеке. Исламбек мстил. Мстил за отнятые земли и табуны, ему мало было золота, драгоценных камней и мехов, которые он уже успел переправить в Кашгар.

Но это получался длинный рассказ, и, хотя он был основан на подлинных фактах (только имена я изменил), я не хочу включать эти страницы в книгу. Недостаточно убедительно, на мой взгляд, получились мотивы, которые привели к столь кровавым последствиям.)

Я уже говорил, что во многих цивилизованных странах литература не делится, как у нас, на художественную и документальную. Там иначе: фикшен и нонфикшен, выдуманное и невыдуманное.

А что, если предположить, дорогой читатель, что все здесь изложенное это только выдумка, фикция, фантазия, что стенограмма, запись с магнитофона, воспоминания современников отца — все это стилизация, мистификация? История литературы знает множество таких случаев.

Так вам удобнее, читатель? Понятнее? Спокойнее?

Всем, кому хочется, советую отнестись к этой книге как к чистой выдумке.

И последняя попытка беллетристики

Икрамов прощался с Лениным в Колонном зале Дома союзов трижды. Сначала в составе делегации национальных республик. Потом — вместе со студентами-свердловцами. В третий раз он пошел к Дому союзов вместе с Женей. Она тоже была здесь со своим Институтом Красной Профессуры, но пошла во второй раз с Замоскворецким райкомом партии, где работала раньше.

Им казалось, что прощание невозможно, потому что с Лениным кончалась эпоха, и все, кто оставался после него, кто был вокруг него, никак не заменят его, не восполнят его отсутствия, не заслонят от бед и напастей.

Икрамов всего полгода назад сражался со Сталиным на совещании по национальному вопросу, он сражался с генсеком, с теоретиком, с учителем своим. Возле гроба Ленина Сталин стоял среди других и ничем не выделялся.

И все-таки выделялся.

Чем? Икрамов это понять не мог. Есть в жизни ситуации, когда стыдно что-то продумывать до конца. Стыдно перед самим собой. Икрамова это остановило. А Сталина?

Они шли с Женей домой, на Пятницкую.

Через Красную площадь, где очень холодный ветер слабо шевелил снежок на брусчатке.

Через Чугунный мост над замерзшей рекой.

О чем они говорили?

Наверное, о нэпе, о мелкобуржуазной стихии, которая захлестывает... Это говорила мать. А отец возражал ей, хотя ей возражать было трудно, потому что она экономист-аграрник. Наверное, они называли ходкие в те поры имена, которые и мы теперь стали называть.

Можно еще написать, как из трактира на Балчуге шумно вывалилась компания сытых мужчин в расстегнутых шубах и бобровых шапках, как они оглядели двух скромно одетых молодых людей и как все поняли друг про друга.

Можно еще написать, как встретил дочь и будущего моего отца мой дедушка, как все пили чай с домашним печеньем, слушая детекторный приемник. И дедушка мой говорил зятю: «Имейте в виду, Акмаль, что за большевиков я голосовал только до Октября». Дед любил это повторять.

Дело моего отца

Итак, всю последнюю часть вечернего заседания второго и все утреннее заседание третьего марта ни Вышинский, ни Ульрих не обращались к Крестинскому. Ни разу.

Да и к чему? Зачем его тревожить? Он полностью изобличен показаниями однодельцев. Все, все его изобличали. Достаточно, не правда ли?

Вечернее заседание 3 марта 1938 года.

Комендант суда. Суд идет, прошу встать.

Председательствующий. Садитесь. Заседание суда продолжается. Приступаем к допросу подсудимого Крестинского.

Вышинский. Позвольте мне до допроса Крестинского задать несколько вопросов обвиняемому Раковскому.

Председательствующий. Пожалуйста.

...Среди причин, объясняющих бесчисленные самооговоры на этих процессах, называют две основные. Первая — это партийная сознательность.

Так надо для партии,— будто бы говорили палачи, и жертвы соглашались взять на себя любую вину.

Мы живем в капиталистическом окружении, в обстановке обострения классовой борьбы,— говорили им, и они становились живым примером в пользу бдительности. В связи с этим высказывается теперь мысль о вреде идейной убежденности. Даже самооговоры ради нее.

Вторую причину видят в том, что все без исключения участники процессов были людьми, которые лишились моральных устоев задолго до 1937 года, были сломлены задолго до процессов, «повязаны».

Первая версия предполагает среди участников процесса такую слепую и даже оголтелую идейность, какую никак нельзя ожидать от политиков типа Бухарина, Рыкова, Крестинского или от таких функционеров, как Ягода. Вторая точка зрения более обоснованна. Однако предварительная моральная сломленность арестованных была явно неодинаковой, а оговаривали себя в те годы люди именно так, как того хотели палачи. Конечно, груз преступлений, совершенных во имя идеи, мог разрушить психику, но, во-первых, не у всех одинаковые преступления, одинаковая психика, одинаковые моральные нормы и устои. Во-вторых, перед лицом смерти многие люди вспоминают свои падения и терзаются морально, но это не заставляет их оговаривать себя, тщательно изобретать невероятные преступления вместо действительных.

Так что вторая точка зрения в чистом виде, несмотря на всю ее «психологичность», тоже не выдерживает критики, и ее сторонники обычно добавляют:

— Ну, конечно, и пытки. Естественно, что они выработали для себя эту систему взглядов не вполне добровольно...

Уверен, если речь идет о пытках, то «систему взглядов» пытаемого вырабатывает палач, а не жертва. Он может избрать ту «систему взглядов», что более приемлема для сопротивляющегося, но подвластного ему сознания узника. Я согласен, что кто-то из участников процесса (кто-то, а не все, как это пытаются для простоты объяснить)

действительно шел на самооговор, считая себя преступником вообще, но я согласен только с уже приводимой мной ссылкой на то, что физические пытки и лишение сна полностью разрушают сопротивляемость внушению. Это — главное. Правда, у многих участников этого процесса и у моего отца, в частности, в минуты просветления могли мелькать видения, лишающие их возможности сопротивляться. Например, те трупы в лунной казахской пустыне...

В наследие от прежних лет нам досталось удивительно легкомысленное отношение к справедливости. Один поэт говорил мне, что справедливость восторжествовала, когда Берия уничтожал следовательские кадры Ежова. Их (следователей) так же били, пытали, заставляли признаваться в том, что они японские или аргентинские шпионы. Это, по словам поэта, было возмездие. С такой трактовкой можно согласиться, если установить, что возмездие — это наказание не вовремя и не за то.

Подобное «возмездие» — залог новых преступлений, новых злодеяний. Справедливость — вещь точная. Она вся именно в точности, в тонкости.

Показательно, что большинство людей, задумывающихся над прошлым нашей страны, над тем временем, которое еще недавно называлось периодом культа личности, мало думают над философскими, этическими, психологическими аспектами проблемы вины.

Крупнейший современный философ Карл Ясперс посвятил одну из своих основных работ этой проблеме. Но нам ли Интересоваться тонкостями! Как нам не возмущаться тем, что западногерманский философ «пытается увести нас в такие сферы, где как бы стираются грани между палачами и их жертвами и в конце концов все оказываются и палачами, и жертвами. В его трудах мы находим сплав правды и неправды, трагедии и фарса, сочувствия к жертвам и глумления над ними». Нам ли интересоваться всем этим! По Ясперсу, следует различать четыре разновидности вины: уголовную, политическую, моральную и метафизическую. Первая состоит в конкретных действиях, нарушающих сформулированные в уголовных кодексах демократических стран законы; вторая заключается в поступках, за которые определенное лицо несет ответственность как гражданин государства, совершивший те или иные преступления; третья возникает в силу того, что каждый человек как индивидуум несет ответственность за свое поведение перед собственной совестью; четвертая проистекает из ответственности не только за собственные поступки, но и за поступки других.

А мы утверждаем, что не нуждаемся в таких тонкостях. К чему они? Ликвидировали кулаков как класс. Уничтожили старых коммунистов как класс.

Ах, как просто быть справедливым!

Есть точка зрения, что тридцать седьмой — возмездие за коллективизацию. Опять огульно, без подробностей. Однако с подробностями — это опять совсем не так, как на первый взгляд. Даже наоборот, Сталин прежде всего убивал тех, кто мог припомнить

ему преступления коллективизации, голод, трупы, карательные меры, кто уже в то время показал себя силой, могущей в следующий раз оказать сопротивление. Сталин не дал следующего раза. Нет, я не адвокат своему отцу и всем, кто погиб вместе с ним, но какие бы люди ни попадали тогда в одну камеру, принцип поначалу состоял в отборе лучших, наиболее способных оставаться людьми. Таков принцип. В этом надо отдавать себе отчет, а не замахиваться на всех, не путать палачей и жертвы. Все, мол, одним миром мазаны. Все виноваты. Очень уж это простой и легкий способ утверждения справедливости.

Огульное осуждение сразу же приводит к огульному всепрощению. Все одним миром мазаны! И Вышинский, и Крестинский. Ходят к нам в гости бывшие палачи, женятся на дочках из хороших семей, рассуждают о кинопремьерах и едят раков. Все одним миром мазаны.

Нет, не мой отец виновен в смерти тех тысяч казахов, которые хлынули в узбекские города, но вину свою перед теми скелетами на улицах Ташкента он ощущал всю жизнь, да и я до сих пор чувствую свою вину перед ними. Я-то сидел в «бьюике» и хлеба ел дома вволю.

(Правда, должен отметить для саркастического читателя, что хлеб был серый, плохой и его очень берегли. Моим старшим братьям, Ургуту и Амину, хлеба не хватало. А недавно узнал, что в тот год наша семья получала для меня по предписанию врача поллитра молока, обед брали из столовки, а голод утоляли дынями. Их в Ташкенте было много.)

Если у отца были минуты отдыха от пыток, от гипноза или медикаментов, то это были минуты тяжких сожалений. Однако сознательно способствовать системе, убивающей тысячи и теперь с предвиденной им последовательностью убивающей его самого, мой отец не мог никогда. Это я о нем знаю. Знаю я и то, что мрачные общественные предвидения мучили отца еще тогда, когда небо над головами многих жертв тридцать седьмого года было совершенно безоблачно.

Все это я знаю теперь совершенно точно. Но никогда мне не узнать, что думал мой отец в те трагические дни — второго и третьего марта во время допроса Н. Н. Крестинского. Повторяю лишь, что очевидец помнит моего отца отрешенным, каким-то больным и безучастным, сидящим вдали от зрителей, за спинами других.

Мне почти не снятся сны. Или я их не помню. А тогда, в 1937 году, снились, какие-то я помню до сих пор.

Я спал в столовой на походной офицерской кровати времен первой мировой войны. Это было сложное многосуставное сооружение, складывающееся гармошкой и в собранном виде похожее на концертный аккордеон. Сразу же после отъезда отца — как мне кажется, в ту же ночь (я даже уверен, что в ту же ночь),— со мной была истерика. Эта истерика была во сне. Меня отпаивали водой, и я засыпал, и через несколько минут со мной опять начиналась истерика. Вряд ли нужен психоанализ, чтобы понять, что происходило с десятилетним мальчиком. Хотя все, что было

сказано мне отцом в гостинице «Метрополь» перед отъездом, все это дошло до моего сознания не в сентябре, и не в октябре, и, пожалуй, не в марте, во время процесса. Тогда же или позже, в конце тридцать восьмого или даже в тридцать девятом, а может быть и в сороковом, мне приснился тюремный вагон за решетками. Из вагона то выглядывала, то пряталась какая-то женщина, худая, не похожая на мою мать, и вместе с тем мне казалось, что это моя мать. Она выбросила сквозь решетку грязный треугольник письма, на котором был обратный адрес — город Кызыл. Нелепо, что я до сих пор толком и не знаю, где этот Кызыл. Я долго гадал, где, в каких лагерях или тюрьмах была моя мать после Ташкента. Мне выдали свидетельство о ее смерти. Там была дата— 1941 год, как обычно, нет ни места смерти, ни причины смерти. Прочерки. Но вот письмо однокамерницы, полученное двадцать, лет назад. Видела мать в феврале 1938-го. И среди всех таких писем никто не называет год 39-й или 40-й. Значит... Январь — февраль 38-го был особо кровавым в Ташкенте. Тогда и там был приговорен к расстрелу великий советский лингвист Е. Д. Поливанов.

Не может быть, чтобы таких людей расстреляли? Нет, это только для виду так говорят, а на самом деле их используют на какой-то секретной и ответственной работе. Может быть, их даже посылают за границу в качестве советских шпионов. Так говорили многие, и многие так думали. Потом я узнал, что в нашей литературе есть источник таких предположений. Это весьма посредственная повесть Тарасова-Родионова «Шоколад».

Так или иначе, но я в это верил. Мне казалось очень возможным, что отец трудится сейчас где-то над освобождением от гнета капитала того индийского мальчика Сами, про которого мы все знали. Только почему нет от него никакой весточки? Боже мой, разве только в голове ребенка происходила тогда эта фантасмагория?

Кстати, у Тарасова-Родионова сочиняет версию о своей якобы чрезвычайно секретной загадочной поездке приговоренный к расстрелу чекист. Он не совершил преступления, достойного расстрела, он должен быть расстрелян для пользы дела, в назидание и во искупление. А жене своей он говорит, что послан на секретную заграничную работу и чтоб писем от него она не ждала.

Он говорит: «То, что я рассказал о своем отъезде, есть величайшая тайна. Никто, кроме трех членов Цека и тебя, не будет знать об этом. Для всех остальных будет широко опубликовано всем в назидание, что за доверие белогвардейцам Зудин расстрелян...

Но все это будет неправда».

Странное представление о справедливости, любви. Искаженное и безжалостное. И отнюдь не героическое, а просто обывательское. О шпионе Пеньковском говорили почти то же самое. Порою кажется, что стоит только не путаться в употреблении личных местоимений, делящих все сущее на Я, МЫ и ТЫ, ОН, ВЫ, ОНИ,— и тогда все будет в порядке.

Нормальный человек, т. е. человек, находящийся в психологической норме, капитан Тушин или Платон Каратаев, вовсе не стал бы под смертной пыткой отрицать, что он вместе с Бухариным и Крестинским хотел свергнуть Советскую власть. И он не стал бы, как чекист Зудин, морочить голову своим родным, что-де он важное государственное дело делает и пользу творит.

Это не предположение. Есть тысячи, сотни тысяч, миллионы людей, прошедших сквозь ужасы допросов, но пусть даже с какой-то «остаточной деформацией» все же сохранивших трезвое сознание и способность отличать добро от зла.

С точки зрения человека нормального в плане психологическом, не испорченного массовыми видами воздействия, нельзя сказать: «Мы перегнули палку в вопросе коллективизации». Любой скажет так, как сказал тот шофер такси:

— Они говорят, разгружайтесь куда хотите. А у нас мешки с мукой. Говорят, если не будете разгружаться, будем стрелять... В этом лесу ваши уже живут... Ну, мы мешки покидали... Покидали, значит, мешки в воду...

Он не скажет: «Мы накопили такое количество расщепляющихся материалов, которое может уничтожить не только врага, но и...» Он скажет: «Они и атом кинуть могут...»

Для нормального человека деление на «мы» и «они» естественно. Он этого никогда не путал.

Рассказывают, что году в тридцать шестом в очереди за гонораром один старый русский интеллигент, писатель, человек мудрый и саркастический, сказал другому:

— Кажется, скоро они начнут нас сажать.

— Кто это «они» и кого это «нас»? — вмешался третий интеллигент, интеллигент-партиец.

— Прости,— возразил первый.— Я ошибся. Это мы будем сажать нас.

Все они погибли.

Меня удивила фраза в немецком рассказе о начале войны в 1939 году. Один солдат говорит другому:

— Началась война, война, война — они своего добились.

Два немецких солдата говорили о гитлеровской верхушке — «они». Солдатики не путались в употреблении личных местоимений и все-таки воевали шесть лет, по «их» воле. Правда, один из двух стал Генрихом Беллем.

Конечно, не только в личных местоимениях дело, и я не хотел бы вверять свою судьбу тому простому крестьянскому сыну, который, сбежав из тайги, где дети ели кору, работал на «воронке» и с Лубянки возил «их» в Лефортово, в Бутырку и

Сухановку. Кого «их» — он не задумывался, ибо жизнь его пошла на лад. Только мать беспокойная. «Я женился, дети у меня, а она все братьев не может простить и жену. Вот, говорит, жену и братьев там бросил. И все нудит и нудит...»

А процесс шел своим чередом. В особой ложе за шторами в это время сидели какие-то люди, желавшие быть неузнанными. Не только Серебрякова говорила это, но будто бы писатель Лев Никулин сам увидел там Сталина. Не очень верю Льву Никулину. Может быть, он поддался версии западных журналистов. Это они утверждали, что они обнаружили не только дым трубочного табака, но и человека, курившего трубку.

Впрочем, что эти журналисты? Им сенсацию подавай.

В тот день сенсацию ждали. Заведующий отделом печати НКИД Е. А. Гнедин передал им: сегодня Крестинский будет давать показания. Так и сказал!

А процесс идет. Раковский, Христиан Георгиевич Раковский — старый революционер, еще в девяностых годах прошлого столетия бывший активным социал-демократом, вступивший в РСДРП (б) в тысяча девятьсот семнадцатом, изобличает Николая Николаевича Крестинского в двурушничестве и в связях с троцкистами.

Вышинский. Следовательно, как вы расцениваете сделанное здесь вчера заявление подсудимого Крестинского, что он не был троцкистом, по крайней мере, с ноября 1927 года?

Раковский. Как не соответствующее действительности.

Вышинский. Вам известно, что обвиняемый Крестинский и позже был троцкистом?

Раковсккий. Известно.

Вышинский. Вы можете привести какие-нибудь факты?

Раковский. Могу. Я обращусь, если позволит суд, к самому Крестинскому.

(Почему-то ему захотелось обратиться к Крестинскому и назвать его по имени-отчеству.— К. И.)

Председательствующий. Пожалуйста.

Раковский (Крестинскому). Николай Николаевич, когда я был в ссылке, ты мне писал?

Крестинский. Да, через дочь, которая ехала в Саратов, я писал.

После моего отклика на реабилитацию всех участников «право-троцкистского блока» в «Литгазете» в январе 1988 года мне позвонил незнакомый человек.

— Мне нужен Камил Акмалевич Икрамов.

— Слушаю вас.

— С вами говорит Христиан Раковский... Алло! Алло!

— Внук? — наконец спросил я.

— Так точно! Я уж думал, нас разъединили. Надо бы встретиться. Я вообще-то полковник, но буду в штатском. Давайте у Белорусского вокзала, меня легко узнать — два метра рост.

Потом мы сидели у одного из бывших наставников Христиана Валериановича Раковского. Кабинет был увешан фотографиями С. П. Королева, Ю. Гагарина и Г. Титова, все с нежными автографами. А Христиан рассказывал. У Х. Г. Раковского был единственный ребенок — сын Валериан, живший в 1937 году в Харькове. Дочь у Раковского была приемная, до катастрофы ее мужем был известный в стране поэт, который вскоре с ней развелся.

Валериан приехал в Москву по делам, позвонил на работу отцу в Наркомздрав и договорился, что зайдет, домой часам к шести.

Семья обедала, когда пришли арестовывать Христиана Георгиевича. Он не удивился, был спокоен и на смеси болгарского с французским сказал сыну то, чего не должны были понять посторонние: «Немедленно возвращайся в Харьков, надо спасать Христо».

Христиану было три года. Мать кинулась на вокзал к проходящему поезду, который шел в Кисловодск. Она вспомнила, что там лечился кто-то из знакомых, и со слезами умолила пассажиров довезти ребенка и передать его такому-то.

Согласились люди. Потом трехлетнего Раковского передавали из рук в руки, пока он не попал к деду по матери, который строил Мончегорск. Фамилия деда была Новиков, Новиковым до 1956 года был и Христиан, звали его тогда Сашей.

Христиан Георгиевич все предвидел точно: Валериан был арестован, погиб после пыток в тюрьме.

А внук стал летчиком, потом военным инженером. Разные люди помогали ему преодолеть барьеры, которые вставали перед внуком Христиана и сыном Валериана Раковского. Среди этих людей маршал Рокоссовский, генерал и трижды

Герой Советского Союза Кожедуб. И вот он передо мной — полковник, ученый, отец двух дочерей, сам дедушка.

И думаю я о том, как невыполнимо любое тотальное истребление, кроме, конечно, ядерного. И еще о том думаю, какие прекрасные дети и внуки получились у огромного большинства погибших. Недавно разыскал меня сын предсовнаркома Туркменистана Атабаева Кемине. Он начальник крупной геологической организации. Пришел ко мне профессор, директор Астрономического института АН Уз. ССР Таймаз Юлдашбаев, просил присоединиться к усилиям узбекских ученых, которые добиваются создания в Ташкенте мемориала погибшим от сталинских репрессий. Он тоже сын погибшего в 1937-м.

Установка была не только на уничтожение врагов народа, но на жен и на детей. Только их не стреляли, «без права переписки» их отправляли в лагеря, где шанс выжить не сильно отличался от таких же шансов в Дахау. И все-таки многие остались в живых. Девочкам везло больше, остались в живых дочери В. И. Иванова и И. А. Зеленского. Обе женщины многие годы безуспешно пытаются в архиве кинофотодокументов найти материалы процесса. Не верят они, что там их отцы были, а не двойники.

Часто перезваниваюсь с сыновьями В. Я. Чубаря. Им повезло... По малолетству лагеря они избежали, а ссылка была не слишком тяжелой. Недавно познакомился с сыновьями Осипа Пятницкого. Можно привести еще многие сотни примеров — доктора наук, член-корры, директора институтов. Да хоть тот же Святослав Николаевич Федоров, сын репрессированного комдива... Достойные все получились люди.

Хочется видеть здесь закономерность. Ведь все дети жертв вышли в люди не благодаря протекции, связям, авторитету, имени. А всегда — вопреки!

А дети палачей?..

Вышинский. Позвольте спросить подсудимого Крестинского: в каком году это было?

Крестинский. Это было в 1928 году

Раковский. Это было в 1929 году, в августе или июле месяце. В 1928 году я был в Астрахани.

Вышинский. Обвиняемый Крестинский, а вы куда писали письмо?

Раковский. Он писал в Саратов.

Крестинский. Точно год я не помню. Но я просил тогда Кагановича перевести Христиана Георгиевича из Астрахани в Саратов, ссылаясь на наши с ним дружеские

отношения. Это было удовлетворено. И вот, когда он переехал в Саратов, к нему поехала его дочь, я через нее написал ему письмо. Разрешите мне...

Вышинский. Виноват. У нас все делается по порядку...

(Откуда Вышинский знает, что хочет сказать подсудимый?..— К- И.)

Крестинский. Может быть, я сократил бы вам работу.

Вышинский. Яне нуждаюсь в сокращении, тем более что ваши вчерашние заявления не свидетельствуют, чтобы вы хотели сократить процесс.

Крестинский. Но, может быть, я...

Председательствующий. Дойдет еще до вас очередь, обвиняемый Крестинский.

— Как они его сломали! — скажет внимательный читатель стенограммы.— Как его сломали!

Возможно, и сломали.

Может быть, загипнотизировали.

Когда говорят о возможности гипнотического внушения, как средстве столь гладкого проведения процессов, всегда есть оттенок невероятности, так сказать, крайнего предположения.

— Да нет,— возражают сами себе.— Это как-то уж слишком... Да и выглядели они весьма бодро. Вот и Фейхтвангер...

Современная наука знает замечательные примеры внушения под гипнозом. Некоему гражданину, не умеющему рисовать, внушили, что он — Рафаэль. Подопытный стал вести себя соответственно внушению и своему представлению о том, как должен вести себя великий художник. Даже пытался рисовать. Известны случаи, когда подопытный, находящийся в состоянии гипноза, иногда даже спорит с гипнологом, возражает ему и вообще ведет себя активно. И вид у такого подопытного не сонный. Профессор Протопопов, например, считает, что гипноз — не сон, а высшее состояние бодрствования. Вот так!

Это ли не еще одно свидетельство всемогущества современной науки и техники и бессилия человека?

Однако я вовсе не хочу утверждать и сам не думаю, будто все подсудимые на процессах тех и последующих лет были обязательно загипнотизированы, но что мешало палачам применить гипноз? Слухи о связях гипнозитеров с «органами» не зря, видимо, так упрямо ходили тогда среди обывателей, не зря, видимо, проблемы гипноза были запретны для широкой печати

Да, возможно, что и гипноз.

Но дело в том, что Е. А. Гнедин, тот самый шеф информации НКИД, который предупреждал иностранных корреспондентов, что Крестинскии будет давать показания, человек хорошо знавший Николая Николаевича по совместной работе в Наркомате иностранных дел (причем оба занимались Германией), в лагере на Северном Урале говорил мне:

— Вы знаете, они, вероятно, сделали с ним что-то ужасное, потому что на второй день я просто не узнал Николая Николаевича. У него даже голос был какой-то другой.

Ни он, ни я тогда не поняли того, что он сказал иначе, чем он сказал-

Крестинскии, мол, так изменился за эти сутки, что его даже нельзя было узнать, что у него даже голос был другой.

А вот еще одно свидетельство. Это рассказывала старая женщина — бывший вр Лефортовской тюремной больницы. Ее рассказ передала мне старая большевичка Е. Я. Драбкина, когда нашла меня как сына своих друзей Жени и Акмаля. Тогда Елизавета Яковлевна начинала серию своих воспоминаний о первых годах Советской власти. О том, что было потом, только рассказывала близким.

Врач Лефортовской тюрьмы говорила, что в ночь со второго на третье марта тысяча девятьсот тридцать восьмого года, то есть после первого дня заседания, Н. Н. Крестинский был доставлен к ней в таком состоянии, что он не мог говорить ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Это был мешок костей.[1]

Если сопоставить эти два высказывания, высказывание человека, который хорошо знал Николая Николаевича до ареста, и показания бывшего тюремного врача, то следует предположить, что возможно на второй день в Октябрьском зале Дома союзов был не Крестинский. И, может быть, фраза Х. Г Раковского: «Я обращусь, если позволит суд, к самому Крестинскому». И дальше: «Николай Николаевич, когда я был в ссылке, ты мне писал?» — может быть, это все срепетированный ввод дублера?

Я не настаиваю на этой версии. Когда-нибудь, когда откроют архивы, мы найдем полный ответ. Я не хочу ошибаться. Я только указываю возможные варианты.

1 Сегодня этот факт опубликован, но никто не отметил пока, какое мужество надо было иметь, чтобы раскрыть эту тайну. Тюремный врач — очень плохая должность, но... Ведь был все же доктор Гааз.

...Х. Г. Раковский продолжает изобличать Н. Н. Крестинского. И тот поддакивает, говоря: «правильно», «подтверждаю», «это то самое письмо», «это было восьмого апреля», «да, так». Подытоживая показания Раковского, председательствующий спрашивает Николая Николаевича:

— Вы подтверждаете то, что говорил здесь Раковский?

Крестинский. Подтверждаю.

Вышинский. Если верно то, что говорил Раковский, то будете ли вы продолжать обманывать суд и отрицать правильность данных вами на предварительном следствии показаний?

Крестинский. Свои показания на предварительном следствии я полностью подтверждаю.

Вышинский. К Раковскому у меня вопросов нет.

У меня вопрос к Крестинскому: что значит в таком случае ваше вчерашнее заявление, которое нельзя иначе рассматривать как троцкистскую провокацию на процессе?

(Ответ Крестинского невероятен. Это поразительная фраза, которую я безуспешно стараюсь выучить наизусть. Прошу прочесть ее внимательно.— К. И.)

Крестинский. Вчера под влиянием минутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта, усугубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я виновен. И вместо того, чтобы сказать — да, я виновен, я почти машинально ответил — нет, не виновен.

(И прокурор считает нужным переспросить.— К. И.)

Вышинский. Машинально?

Крестинский. Я не в силах был перед лицом мирового общественного мнения сказать правду, что я вел все время троцкистскую борьбу. Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем тягчайшим обвинениям, предъявленным лично мне, и признаю себя полностью ответственным за совершенные мною измену и предательство.

Вышинский. У меня больше вопросов к подсудимому Крестинскому пока нет.

Председательствующий. Садитесь, обвиняемый Крестинский.

Переходим к допросу подсудимого Рыкова.

Подсудимый Рыков, ваши показания, данные на предварительном следствии, вы подтверждаете? Рыков. Да, подтверждаю.

Все это происходило перед глазами отца. Все было сделано для него, для всех, кто был рядом с ним. Чтобы не было соблазна.

Шараф Рашидов дважды или трижды в разговоре со мной упорно без моих вопросов говорил мне, что процесса вообще не было.

Как не было?

Не было. Поверь, Камилджан. Не было. И отца там твоего не было. Ты мне поверь, я все документы видел.

Мне часто говорят: ты пишешь об отце, но ты понимаешь, что ты обязан быть объективным?

Я стараюсь.

Почти тридцать лет назад я приехал в Самарканд, город, где я научился ходить и говорить, и встретился там со старыми большевиками, работавшими с моим отцом. Мирзаходжа Урунходжаев знал отца с восемнадцатого года, часто ругался с ним, но любил его всю жизнь. Раджаб Абдугафаров был секретарем райкома в начале тридцатых годов.

Не знаю, как теперь, а тогда секретарям райкомов посылали стенограммы пленумов ЦК и совещаний. Бывший секретарь райкома рассказал мне историю, которую я знал. Еще один случай, подтверждающий мою уверенность, что воспоминатели очень часто заслуживают такого же доверия, как и документы. А иногда и большего.

И вот я получил стенограмму. Обсуждался вопрос о снабжении Узбекистана. Икрамов говорит, что Узбекистан — хлопкосеющая республика, поставляет сырье для промышленности и поэтому снабжаться должна как промышленные районы. А если не будет, снабжаться как промышленные районы, то пусть разрешат нам сеять хлеб. Справедливо говорил, мне понравилось. А Сталин его все время перебивает, прямо не дает ему говорить. А Икрамов свое продолжает. А Сталин его опять перебивает.

Почему машинизация срывается? Почему не использовали всех машин?

Тогда Икрамов резко выступил:

— Ну, товарищ Сталин, дайте мне высказаться до конца. В конце концов, вы дадите мне сказать? Я вам все скажу, ничего не оставлю себе.

На этом Сталин замолчал и больше ни слова не сказал. Я когда читал стенографический отчет, думал: Акмаль-ака нехорошо поступил, оборвал Сталина как следует. Нехорошо поступил. Насчет хлеба Сталин объяснил таким образом, что для Средней Азии отправленный хлеб Куйбышевский крайисполком[1] с железной дороги снял и использовал для своего края, а до Средней Азии не дошли эти эшелоны. Вот этим он объяснил все.

В 1934 году снег выпал в октябре,— продолжал этот секретарь.— Хлопок мы не собрали, недовыполнение у меня, а в Ташкенте был уполномоченный ЦК. И вдруг

приходит решение бюро ЦК Узбекистана, что меня заочно исключили из партии и сняли с работы за срыв хлопкоуборочной кампании. А я разве виноват, что такой год?.. Я сажусь в поезд, приезжаю в Ташкент. Вечером это было. Вижу, у перрона стоит ваш вагон правительственный. Свет горит. Я подхожу к вагону, спрашиваю: кто здесь? Охрана говорит — Икрамов и уполномоченный ЦК. Ну, я свое удостоверение предъявляю, у меня же ничего еще не отобрали. А они меня не пускают, говорят — сейчас выходят уже. Действительно, гляжу, выходят уполномоченный и твой отец. Я сразу к ним, говорю: «Акмаль-ака, что же это получается — не вызвали меня на бюро, исключили, не выслушали даже!» Он мне по-узбекски говорит: «Молчи, молчи...» Я опять говорю. А он: «Помолчи». На улицу выходим. Отец твой меня под руку взял, крепко руку сжал, немножко мы от уполномоченного отстали. Отец мне по-узбекски говорит: «Вот погоди, этот чулак (хромой) уедет, тогда разберемся...» Ну, потом разобрались.

Эти два старых партийца сказали мне:

— Поедем посмотрим дом, в котором твой отец жил, ког да ты родился. Еще с одним человеком встретимся, хороший человек, старый коммунист.

Там, возле сырцового, плохо отштукатуренного и давно не беленного дома, где прошли первые месяцы моей жизни, нас уже ждал невысокий, щупленький и очень симпатичный человек — Рахимбек Шакирбеков. Выяснилось, что, как и два первых моих знакомца, он тоже сидел в лагерях.

Тоже семнадцать лет? — спросил я его, называя эту сакраментальную цифру.

Нет, я сидел двадцать пять лет, с тридцатого года. Я тогда в Наркомпросе работал.

1 Характерная ошибка — назвать тогдашнюю Самару Куйбышевым. Такая ошибка — свидетельство в пользу истинности самого факта.

В тридцатом году мой отец был еще в полной власти, в тридцатом году...

— По делу Рамзи и Бату,— сказал мне мой новый знакомый.— Может быть, слышали?

О деле Рамзи и Бату я знал тогда очень мало. Но что бы ни было, ни Рамзи, ни Бату не были враги народа.

— Этого я не могу простить отцу. Это мрачная история,— сказал я, стараясь быть объективным.

Мне стало стыдно за отца, я сразу же обвинил его с той легкостью, с какой дети, вопреки общепринятому заблуждению, часто обвиняют родителей.

Шутка ли, арестовали замечательных людей, первых узбекских партийных интеллигентов, а отец, хотя и пытался (см. об этом в допросе) спасти их, но горой все-таки не встал.

— Как мог отец допустить эти аресты?! Мне очень трудно,— сказал я новому знакомому.— Это простить отцу я не могу.

— Ой, Камил,— строго сказал Шакирбеков.— Ты мало знаешь, чтобы судить. Это была большая провокация. Может быть, первая большая провокация. Это они его хотели арестовать, а смогли только нас.

— Я стараюсь быть объективным. Я ничего не скрываю от читателя. Меня интересует все. Я хочу писать только правду. Но как мне быть объективным...

Старики спросили меня:

— Когда ты уезжаешь?

Я сказал, что улечу, скорее всего, завтра.

— Каким рейсом? — спросили они меня.— В Ташкент много рейсов. Мы придем тебя провожать.

Это был разгар лета. Термометр показывал сорок градусов в тени, и я не мог допустить, чтобы эти старики, повинуясь законам восточного гостеприимства, поехали в аэропорт провожать меня.

— Я еще не знаю,— солгал я.— Может быть, утром, а может быть, вечером. Но провожать меня ни в коем случае не надо.

На следующий день, в самый зной, часа в три, я приехал в аэропорт. Под пыльным деревом возле остановки автобуса молчаливо стояли старики.

— Ты не сердись на нас,— сказали они.— Мы не тебя провожаем. Мы провожаем сына твоего отца.

Мне трудно быть объективным, когда я пишу об отце.

Когда это началось? Такой вопрос задают себе многие.

По-разному датируют начало.

Чем больше я думаю о начале, тем больше склоняюсь к мысли о роковой роли Сталина. Мысль эта, может быть, и банальная, ибо существуют другие толкования. Но роковая роль Сталина все-таки кажется мне бесспорной. Следует сознавать, что, если бы не было Ивана Грозного, не было бы и периода Ивана Грозного. Другое дело, что возможности, которыми пользовался Иван Грозный, были ему предоставлены игрой больших факторов, которые, кстати, далеко не всегда представляют собой выражение исторической закономерности.

Как можно сбросить со счетов, например, болезнь В. И. Ленина и ту изоляцию, в которой оставил его Сталин?

Люди ищут начало в разных факторах истории России. Одни в перерождении органов госбезопасности, другие — в деле Сергея Нечаева. Называют даты столетней и полувековой давности. Называют «дело промпартии», коллективизацию, тридцать седьмой год, каракозовский «ад» или даже опричнину. Что ж, опричнина — явление, которое одним столетием не ограничить. А хунвейбины не опричнина? Опричнина — это аппарат, необходимый, чтобы взломать естественный ход событий.

В поисках начала у каждого есть своя логика, и не здесь мне спорить и разбираться в каждой версии.

16 мая 1967 года на один только день я приехал в Самарканд. Я ехал в Самарканд с сознанием вины. Я не отвечал на поздравительные открытки, которые регулярно получал оттуда. Я ехал с сознанием своей вины перед стариками и с эгоистическим страхом, что кто-нибудь из стариков умер, а я так и не записал их рассказов.

Я не заехал в гостиницу, а прямо из аэропорта направился на квартиру Мирзаходжи Урунходжаева. Вопреки восточным обычаям, деловой разговор начался еще до того, как жена его накрыла на стол. Узнав, что у меня на Самарканд — только один день и что меня интересуют события 20-х и 30-х годов, старик позвонил Шакирбекову и Абдугафарову. Через час и они сидели за столом.

Год назад я записал некоторые их рассказы по памяти и не был уверен, что могу писать подробно и называть эти имена

— Пиши, пиши. Люди должны знать правду,— сказали мне старики.

— У нас все рано началось,— сказал Раджаб Абдугафаров.

— Разве только у нас так рано началось? — возразил Рахимбек Шакирбеков.— Это и в Белоруссии, и на Украине, и в Грузии так же рано началось. Просто уничтожали партийную интеллигенцию.

М. Урунходжаев рассказывает:

— В 1933 году я как нарком земледелия Таджикской ССР ездил в Ферганскую долину, чтобы забрать переселенцев на Вахш. Акмаль и Файзулла мне тогда очень помогали, и я все выполнил — отобрал для Таджикистана самых лучших хлопкоробов с семьями. Мы тогда снабдили их и мануфактурой, и продовольствием, и они стали первыми хлопкороба ми в долине Вахша, тонковолокнистый хлопок осваивали.

Так вот, в 1933 году на станции Урсатьевской я пересел в вагон, где ехал Усман Юсупов. Мы встретились, как старые друзья. Он только что вернулся из Москвы.

— Я окончил курсы марксизма,— сказал Усман Юсупов.— Был у ОТЦА.

Отцом он называл Сталина.

— Обязательно поезжай в Узбекистан,— сказал Сталин Юсупову.— Если Икрамов назначит тебя сторожем, соглашайся и жди моего сигнала.

Эту историю Урунходжаев рассказывал мне и прежде. Но сейчас я записал его слова под диктовку.

Значит, в 1933 году Сталин держал Усмана Юсупова в качестве засады. Не рано ли — за четыре года предвидеть? Нет, не рано. Я думаю, что и в 1925-м, и в 1927-м, да в любой год из тех лет, когда Сталин уже безраздельно хозяйничал в стране, он имел «запасных». Они существовали наряду с теми, кто уже в то время выполнял самые мрачные и самые страшные поручения. Видимо, такими были Ягода, Вышинский и Бройдо — человек, о котором сейчас мало кто помнит, личность в прошлом очень заметная и вполне растленная. О Бройдо мне известно многое, но не о нем разговор.

Нет, в 1933 году Сталин уже готовился к 1937 году и вполне сознательно подбирал кадры.

Подробный рассказ Мирзаходжи Урунходжаева я записал на пленку и ни словом не могу отступить от этой записи. Только кое-где вставляю предлоги, которые узбеки часто опускают в русской речи. А кое-где даже предлогов не вставляю. Боюсь потерять интонацию. Тут возможны неточности в деталях и даже в начертании имен. Пусть историки это выяснят.

— В 1933 году я работал Таджикистане. Я был членом бюро Центрального Комитета, нарком земледелия Таджикистана.

Каждую ночь после двух часов у нас собирали бюро, обязательно после двух часов, с целью, чтобы, понимаете, Хаджибаев и Насратулла Максум не участвовали на заседаниях бюро ЦК.

Каждый раз председатель ГПУ Солоницын информировал бюро ЦК, что тот и другой из руководящих работников имеет связь с заграницей и арестован. Без всяких разъяснений. И принимается решение — доверяя товарищу Солоницыну, исключить этого члена партии из партии и дело его передать органам ГПУ. Таким образом, в Таджикистане в 1933 году было арестовано 662 руководящих партийных, советских и хозяйственных работника. Хаджибаев и Максум подавали заявления на имя Сталина. Тогда с подписью Кагановича и Молотова поступила телеграмма, немедленно выехать в Москву первому секретарю ЦК Гусейнову, втброму секретарю Исмаилову, Хаджибаеву и Максуму. И председателю ГПУ Солоницыну.

В ЦК ВКП(б) состоялось заседание, стенограмму которого я, как член бюро, читал в спецотделе.

Сталин задает вопрос Солоницыну:

— Товарищ Солоницын, сколько человек вы арестовали?

Он ответил:

— Пока 662. Пока.

— А где у вас было вооруженное восстание? — Сталин задает такой вопрос.

— Товарищ Сталин, вооруженного восстания в Таджикистане нигде не было,— отвечает Солоницын.

Потом Сталин опять спрашивает:

— А при наличии вооруженного восстания столько руководящих работников не арестуют же?

Солоницын говорит:

— Это наша ошибка.

Принимается особое решение, где констатируется: «ГПУ Таджикистана, злоупотребляя правами ареста, без ведома ЦК ВКП(б) производило массовые аресты руководящих партийных, советских и хозяйственных работников, в скобках 662 человека». Решение приняли такое: «Поручить тов. Ягоде отозвать тов. Солоницына из Таджикской республики, укрепить ГПУ Таджикистана более сильными работниками. Для разбора дела арестованных создать комиссию под председательством Бройдо. Члены комиссии Рахимбаев и Шатемор. Предложить комиссии в двухмесячный срок разобрать дела арестованных».

После заседания ЦК Сталин лично дает указание Бройдо о том, чтобы никто из руководящих республиканских работников, которые арестованы, не был освобожден.

(Выясняя подробности, я узнал, что о словах Сталина Урунходжаеву рассказал сам Бройдо.— К. И.)

Таким, как Ходжияров, и другим наркомам комиссия дала по десять лет, а относительно тех республиканских работников, на которых были подготовлены дела и санкции на арест, было решение — дела прекратить. Районных работников — директоров МТС, совхозов и т. д.— освободить.

Когда комиссия приехала, Визирову, наркому коммунального хозяйства, дали десять лет, Хаджибаеву, наркомюсту, дали десять лет, и всем остальным так же. В отношении меня дело как недоказанное было прекращено. А все остальные работники районные были освобождены из заключения.

А в 1937 году все эти реабилитированные и освобожденные, все, в том числе и я, были арестованы.

Рахимбек Шакирбеков рассказал о деле Рамзи и Бату.

В 1929 году в период подготовки к IV съезду Компартии Узбекистана в республике началась кампания против национализма среди руководящих кадров.

Значительную роль в этом деле сыграл аппарат ОГПУ, и Средазбюро ЦК ВКП(б), видимо, вполне верило органам и совершенно не доверяло руководству ЦК Узбекистана.

Некоторых работников местных национальностей принуждали выступить против ЦК Узбекистана, отказавшихся выступить отзывали с занимаемых постов.

Были созданы «дела» в Бухарской, Кокандской, Наманганской и Хорезмской партийных организациях. Начались отдельные аресты.

На местах находились ПП ОГПУ (полномочные представители Объединенного Государственного политического управления).

Уже в то время ПП имели неограниченные права, не подчинялись местным партийным и советским властям, согласовывая свои действия только с Москвой. Потому они и назывались полномочными представителями. Такой ПП чисто формально в общих выражениях информировал обком о своих действиях, и даже члены бюро обкома не имели права задавать ему вопросы по существу дела.

В этой обстановке Шакирбекова принуждали к политическим обвинениям против ЦК Компартии Узбекистана, но он на съезде не выступил. Тогда его отозвали с работы из Каттакургана и отправили в отпуск. Сделано это было комиссией Средазбюро, когда мой отец отсутствовал в Самарканде.

Находясь в отпуске, Шакирбеков узнал, что орготдел ЦК ВКП(б) по докладу Икрамова осудил практику Средазбюро по огульному охаиванию национальных кадров. Шакирбеков очень обрадовался.

Когда отец возвратился из Москвы в Самарканд, Шакирбеков пришел к нему и просил вернуть его на работу, во всяком случае разобраться в причинах отзыва.

— Твой отец сказал мне тогда: «Я ничего не могу сделать. Решение принято в Москве, а положение здесь продолжает оставаться тяжелым. Моего родного брата в Ташкенте судят, фабрикуют фальшивое обвинение, нашли лжесвидетелей. А я, секретарь ЦК, сижу здесь в Самарканде и, когда судят моего родного брата, ничего не могу сделать. Положение мало изменилось».

Примерно в то же время было сфабриковано обвинение против Манона Рамзи, который был руководителем Научно-исследовательского института (прообраз Академии наук Узбекистана), и против Бату, который был заместителем наркома просвещения республики. В это же время был исключен из партии заведующий отделом Наркомпроса Насыр Саидов. Его обвинили в национализме и сокрытии социального происхождения. Обком отменил это решение партийного собрания и поручил рассмотреть дело второй раз. Насыра Саидова оставили в партии.

— Ну, а я,— рассказывает Шакирбеков,— стал секрета рем партийной организации наркомата.

О каждом из этих трех моих собеседников, вероятно, можно было бы написать прекрасную книгу. Так, например, совершенно случайно я узнал, что Шакирбеков был близким другом и соратником замечательного турецкого революционера Мустафы Субхи, которого турецкие коммунисты считают создателем своей партии.

— В чем же провинились Рамзи и Бату? — спросил я у него.

— Они ставили один вопрос,— ответил Шакирбеков.— Почему национальным кадрам нет доверия?

— Эта постановка вопроса угробила не только их самих, но и многие-многие поколения,— с усмешкой вставил Мирза-ходжа Урунходжаев.

Репрессии 1929—1930 годов в Наркомпросе начались с ареста начальника отдела кадров Сабира Кадырова. Потом исчез Бату.

В 1930 году был арестован Шакирбеков. В Ташкенте его вызвали в ГПУ. Он пришел сам, и его больше не выпустили. Год и восемь месяцев он сидел в одиночке без прогулок и передач. Только через год и восемь месяцев разрешили прогулку Потом еще шесть месяцев в Бутырской тюрьме в Москве. Суда не было. Приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Во время прогулки в Бутырской тюрьме увидел Бату. Шакирбеков показал ему на пальцах пять. Бату показал ему два раза по пять.

Когда Шакирбекова арестовали второй раз в 1940 году, свидетелем против него был На сыр Саидов. Он лжесвидетельствовал откровенно. За это его прикармливали в тюрьме и носили обеды из ресторана.

Насыр Саидов умер, Шакирбеков жив.

Бывший следователь ташкентского ГПУ говорил мне, что не могли в 1930 году осудить без достаточных оснований, и обещал ознакомить меня с материалами этого дела. Он-то знал, что до этого нам не дожить. Он не дожил. Ну и я, кажется, не доживу до времени, когда откроют те архивы. Но характерно, что и этот следователь рассказывал: судов не было, Москва решала по представлениям с мест.

Так что я больше верю Шакирбекову.

Кстати, это тот самый следователь, который неделями не давал пить Шакирбекову, морил его голодом и не разрешал прогулки. Импозантный старик с бородой, как у библейского пророка, он до самой смерти писал научные труды и гордился, что у него есть своя научная школа, член Союза писателей СССР Станишевский.

И еще одна неправленая запись с магнитофона «Ревю».

— Когда меня назначили курорт, я не знал слова «курорт», не знал, что такое курорт. Я говорю твоему отцу:

— Что такое курорт?

— Это лечение.

— Где?

— Кисловодске.

А я говорю:

— Знаешь, я же не больной. Я говорю, как бык я здоровый. Я не поеду.

И я обиделся, хлопнул дверью (дело было в здании ЦК Узбекистана, в кабинете моего отца. В этом здании потом находился филиал самаркандского Исторического музея имени Акмаля Икрамова). Хлопнул дверью и поехал к себе в кишлак в горы. Там я лежал дома в кишлаке в своей кибитке.

Вдруг, понимаете, Акмаль и Мураджан Файзуллин под вечер приезжают.

— Салам алейкум!

Они зашли, посидели, ночевать остались. Знаете кишлачную жизнь. У нас ни стола нет, ни стульев. Трое под одним одеялом спали. Твой отец мне тогда говорил:

— Товарищ Урунходжаев, ты знаешь, Россия аграрная, отсталая, в Европе — самое отсталое государство. Потом мировая война. Потом гражданская война. Разруха очень большая. Когда создавалась Туркестанская автономная республика, она была меньше шести миллионов. РСФСР, Россия хочет восстановить свое народное хозяйство. Но у нас положение еще хуже, чем в РСФСР. У нас в двадцать первом году единственный источник дохода государства это был НЕБО (сначала я не понял, что так М. Урунходжаев произносит слово «НЕПО». В первые годы новая экономическая политика обозначалась аббревиатурой из четырех букв — НЭПО.— К. И.). Потому в сельском хозяйстве развал, промышленность у нас отсутствует. А РСФСР делает так. От всех доходов 51 процент забирает в Москву, 49 процентов оставляет нам. И расходы тоже нам. А у нас, говорит, 99 процентов неграмотных. Надо свое хозяйство восстановить. Поэтому мы говорили, мы выступали и говорили: «Ну, при царизме была такая несправедливость, а сейчас у нас Советская власть. Почему, понимаете, вот этот доход от НЕБО не распределить поровну, и прибыли, и расходы. Неужели можно, чтобы при советском строе существовала такая несправедливость! Вот это мы говорили. И Сталин тогда на нас напал».

Тогда твой отец мне еще так сказал:

— Я, товарищ Урунходжаев, не вечно секретарем ЦК. Могут меня перебросить в другую республику, в другие города. Но я этого не боюсь, потому что я коммунист, говорит, солдат партии. Но я одного боюсь. Когда меня переведут из Узбекистана,—

скажут, что, понимаете, икрамовщина. Икрамовщина. Много наших кадров, которые партия воспитывает, подрастающее поколение фактически пострадает. Я этого боюсь. Я об себе абсолютно не думаю. Я боюсь за те кадры, которые под предлогом икрамовщины будут страдать.

— Это в каком году было?

— Это в двадцать пятом году было.

Слово «икрамовщина» появилось в конце 1937 года и стоило жизни десяткам тысяч людей в Узбекистане.

На первый взгляд кажется невероятным предвидение отца в двадцатых годах. Однако только на первый взгляд. Узбекистан к тому времени уже пережил «рыскуловщину» и «иногамовщину».

Итак, для отца все это началось задолго до пресловутого тридцать седьмого, задолго до того дня 19-го или 20 сентября, когда Акмаль Икрамов из конференц-зала, где проходил последний в его жизни партийный пленум, вышел уже беспартийным.

В партийных архивах нет стенограммы или даже протокола пленума. Вместо стенограммы и протокола (а надо сказать, что ЦК Узбекистана обладал штатом весьма квалифицированных стенографисток) имеется справка по всей форме. В справке сказано, что стенограмма и протокол на пленуме не велись.

О том, как проходил пленум, рассказывают Таджихон Шадиева и Вера Серафимовна Хоромская.

Собственно говоря, это не был пленум, потому что подавляющее количество членов ЦК КП(б) Узбекистана находилось в это время в ташкентских тюрьмах. Кворум был там. а не в здании ЦК. Именно поэтому участники не регистрировались и не велось формального протокола.

Буду краток.

Открыл собрание специально прибывший из Москвы

А. А. Андреев. Он сказал: «Фамилий не регистрируем, протокол не ведем. Никому ничего не будет. Можете высказываться свободно». И зачитал письмо Политбюро за подписью Сталина и Молотова.

На трибуну выходили какие-то малознакомые люди и обвиняли А. Икрамова. Обвинения были нелепые и страшные.

Из всех речей самой тяжелой и даже прямо сказать наглой была речь Усмана Юсупова,— вспоминает Вера Серафимовна Хоромская.

Я сидела в последнем ряду и плакала,— говорит Таджихон Шадиева.— Один секретарь райкома, кажется Алмазов, выступил против обвинений. Сказал, что не

верит, что мы все знаем Икрамова. Его с трибуны стащили, и больше его никто не видел.

Отец выступал два или три раза. Закончил так: «Я был преданным, верным сыном партии Ленина. Что бы меня ни постигло, я останусь коммунистом до конца!»

— Мы расходились подавленные,— рассказывает

В. С. Хоромская.— В коридоре я увидела его и пошла за ним. На стуле в приемной стояла уборщица тетя Дуня и протирала тряпкой портрет твоего отца. Отец сказал ей «Снимайте портрет, тетя Дуня. К черту его надо выбросить» Тетя Дуня не поняла, что он сказал. Я зашла за ним в кабинет

— Зачем вы вошли сюда? Вы знаете, чем это грозит? — сказал ей отец. И тут же:— Вам известно, что вас собираются назначить секретарем обкома в Новый Ургенч? Ни в коем случае не принимайте назначения. Вас сразу арестуют. Заболейте, уезжайте, что хотите. Им надо выполнить план по номенклатуре.

Я тогда так разволновалась, всю ночь не спала. А на другой день — городской актив. Опять выступал А. А. Андреев. На узбекский переводил Касым Сорокин. У него перехватило горло. Через несколько дней я действительно тяжело заболела. У меня отнялись ноги.

Инерция стиля

Помню, в 1935 году или в начале 1936 года мы жили в Москве в гостинице. Делегация Таджикистана размещалась в другой, но моя мать, вернувшись оттуда, попросила отца позвонить кому-то из таджикских руководителей.

— Ты понимаешь, иду по коридору, а мне навстречу едет на трехколесном велосипеде Мамлакат. На кофте у нее орден Ленина. Говорит, что велосипед — подарок Сталина. Скажи, что так нельзя.

Кто тогда не знал об одиннадцатилетней девочке Мамлакат Нахангговой из Сталинабадского района. Она была сфотографирована со Сталиным после вручения ей самой высокой награды Родины. Она «изобрела», как писала журналистская братия, новый способ сбора хлопка — сразу двумя руками, по 100 кг в день. Цифра эта сама по себе вызывает большие сомнения, но если в ней и была доля правды, то представить себе такое страшно. Это тысячи и тысячи движений руками, это — 12 часов работы. А непомерную цифру в 100 кг должна дать маленькая, худенькая девочка, ученица четвертого класса. И чему мы удивляемся, когда узбекские дети в течение десятилетий всю длинную среднеазиатскую осень собирают хлопок вместо того, чтобы сидеть за школьными партами. Правда, собирают они не по сто, а по десять, в последние месяцы по пять килограммов в день. Где им до Мамлакат! И ордена за них получают другие,

Тогда вот и начались первые приписки и первая показуха с хлопком.

Это было, повторяю, только самое начало. Потом под руководством Усмана Юсупова создавались показатели и вовсе фантастические — многие колхозы отчитывались за стоцентнеровые урожаи.

Наглая ложь, скрытые десятки гектаров посевов и — ордена, ордена, ордена... А кто бы посмел сказать правду? Кому не памятен был 37-й? А «рекорды» тоже, как и все, «планировались от достигнутого». Инерция всеми создаваемой лжи приобретала все большую скорость, апогея же достигла при верном ученике и выкормыше У. Юсупова Ш. Рашидове. Это уже был «рекорд» республиканский.

О преступлениях Рашидова я писал несколько раз, писали и другие, но это было после его смерти. Писали мы много, но далеко не обо всем. Да, состоялось-таки перенесение его трупа из центра города Ташкента на почетное кладбище «Фараби», но ведь в семье Рашидова до сих пор хранятся Золотые Звезды Героя Социалистического Труда, знак лауреата Ленинской премии и десяток орденов Ленина. Других орденов не считал.

Мы толкуем о гипнозе сильной личности, а не стоит ли говорить о вещах более простых. Об утере нами собственного достоинства, о нежелании думать и о невозможности говорить то, что думаешь. Все это вбивалось в нас десятилетиями, и я сейчас не могу избавиться от страха, от вполне осознанного страха: не слишком ли я?

Вопрос о Рашидове нельзя рассматривать в отрыве от истории и даже конкретно от того же 1937 года.

Да, кадры решают все. Все они и решают, если они подбираются только сверху, только единолично, без всякого намека на демократию и даже на демократизацию. Все мы, писатели, служащие, рабочие, знаем, как организовывались выборы, как ловко составлялись списки у каждого из нас по месту работы. Не только директора или секретаря парткома, но даже председателя местного комитета профсоюза мы фактически не выбирали. О профсоюзных выборах надо бы говорить отдельно, ибо по замыслу В. И. Ленина именно профсоюзы должны были стать школой демократии, школой коммунизма.

А 37-й? Он не только в памяти, он с нами, над нами, а мы все еще под ним.

Вот история из середины семидесятых. Ташкент.

Заместителя министра вызвали в ЦК Компартии Узбекистана, намекнули, что возможна встреча на шестом этаже. Шестой этаж — эвфемизм, чтобы не произносить всуе имя самого Шарафа Рашидовича.

В назначенный час замминистра вышел из машины у подъезда и тут же был встречен двумя незнакомцами, которые без лишнего шума предложили ему пересесть в другую, стоявшую рядом.

Я не хочу называть имени этого человека и сферу его деятельности, потому что все дальнейшее — трагедия, о которой он вряд ли рассказал даже самым близким. Но сфера его деятельности была очень значительной. И если где-то случилась авария, если были, к примеру, человеческие жертвы... Да и к самым секретным делам он тоже имел прямое отношение. Именно об этом подумал замминистра, пересаживаясь в легковой автомобиль той же марки и того же цвета, что и его «персоналка».

Встретившие усадили замминистра на заднее сиденье, сели сами по бокам и тут же защелкнули наручники на его запястьях.

Не знаю, глянул ли арестованный на оставшееся позади здание ЦК, на шестой этаж. Не знаю, увидел ли он за стеклами Рашидова.

Везли его недолго и высадили почему-то в Линейном отделе железнодорожной милиции — ЛОМе. Обыск был короткий, протокола не составляли, и вскоре заместитель министра оказался в грязной камере, где на нарах сидели три полуголых, но зато обильно татуированных человека.

— Эй, батя! — ухмыльнулся один.— По тебе видать, что ты еще недавно при галстуке был?

— Да, в галстуке,— сказал замминистра.— Но галстук сняли, ремень и подтяжки.

— Ты небось и на машине служебной ездил?

— Да, на машине.

— Тебя, случаем, не возле самого ЦК забрали?

Тогда, как позже признался этот несчастный, он не обратил внимания на то, что случайные сокамерники и про это «угадали».

— Ты ведь коммунист? — спросил его один из разрисованных.

Растерявшийся арестант ответил, что коммунист и даже назвал свой немалый партийный стаж, а вопрошавший крикнул:

— Бей его, он красный!

Били его все трое, били по лицу, свалили на пол, били ногами и приговаривали:

— Если вы, красные, в семнадцатом году власть бы не захватили, мы бы сейчас не в тюрьме сидели, а королями были, мы бы капитал имели...

— Хватит, хлопцы. Погодите! Что вы делаете? — остановил приятелей третий, который до сих пор говорил меньше других.— Зачем так сильно бьем его? Пусть он и красный, но ведь человек все-таки! Может, он в войне участвовал? Может, он с немцами воевал? Ты воевал, батя?

Лежавший на заплеванном полу сел и с надеждой сказал, что действительно воевал, что от Сталинграда до Берлина дошел.

— У тебя и ордена есть?

— Есть и ордена, и медали есть. И тут этот третий ударил его изо всей силы.

— Давай добьем этого шакала. Если б не такие, как он, Гитлер бы до Ташкента дошел. Вот бы у нас жизнь была!

И опять его били все трое.

Издевательства, избиения и унижения продолжались два дня, а на третий мучители вроде бы сжалились.

Теперь совершенно ясно, что действовали эти люди по четкому сценарию, в котором они были не только исполнителями, но и соавторами. Это были отпетые уголовники-рецидивисты, которых тогдашнее руководство МВД Узбекистана использовало для экзекуций. (Это слово было у них в официальном лексиконе. А еще это называется пресс-камерой.) Бедный замминистра, исчезнувший бесследно для семьи и сослуживцев, догадался об этом только тогда, когда разрисованные положили перед ним пачку чистой бумаги, шариковую ручку и приказали писать.

Что писать?

Пиши явку с повинной. Не знаешь, что писать? Мы тебе скажем. Как только напишешь, тебя сразу выпустят. Здесь такой порядок.

Диктовали они внятно. Заместитель министра должен был написать, что он давно находился в преступной связи с недавним Председателем Президиума Верховного Совета республики Ядгар Садыковной Насриддиновой, что давал ей взятки, кроме того, был ее любовником.

Ядгар Садыковна в то время уже не работала в республике, она была Председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Попутно замминистра сообщал о том, что он давал взятки Председателю Совета Министров республики Рахманкулу Курбанову.

Обвинения были фантастические, а ужас перед мучителями и вовсе лишал арестованного возможности что-либо соображать.

«Явку с повинной» передали в окошко дежурному надзирателю, и вскоре арестованного вывели из камеры и доставили в кабинет министра внутренних дел Хайдара Яхъяева.

Министр принял замминистра дружески, угостил чаем, выразил сожаление, что раньше не был с ним близко знаком и попросил объяснить, как это случилось, что такого уважаемого человека могли схватить, да еще в таком месте.

Арестованный рассказал все подробно. О вызове в ЦК, об аресте, о том, как его мучили в камере ЛОМа и как заставили дать ложные показания.

Яхъяев был возмущен. Он вызвал своих заместителей, начальника следственного управления Калустяна, накричал на них и распорядился немедленно наказать всех виновных.

— Не волнуйтесь, отец,— дружески сказал он.— Идите спокойно домой. Инцидент исчерпан.

Избитый заместитель министра вышел из кабинета Яхъяева, думая, как он может в таком ужасном виде явиться домой, но думал он так совсем недолго. Прямо в приемной на него надели наручники и спустили в подвал, в КПЗ МВД Узбекистана.

Теперь, зная, как исподволь за десяток лет Сталин готовил гибель своих политических противников, стоит ли удивляться тому, что этот опыт находил последователей на самых разных уровнях. Рашидов был способным учеником Сталина, наследником У. Юсупова.

Самое удивительное — это точность клички, которой нарекли Сталина блатные, «воры в законе», профессиональные преступники. Они называли Сталина «пахан».

Именно «пахан» — главарь шайки, держащий в руках все нити, верховный и тайный судья. А подчиняются ему люди, лишенные чести, собственного достоинства, знающие, что их жизнь может прекратиться в одну ночь. Да и палачи, которые пытали, ежесекундно сознавали, что завтра это им будут загонять иголки под ногти, их топтать ногами и другие, но такие же палачи, будут мочиться им в лицо.

Брошюра и письма

Неужто где-нибудь, кроме нашей страны, есть люди, полагающие, что жертвы палачей, жены и дети убитых и замученных не имеют морального права свидетельствовать о том, что знают? У нас таких «гуманистов» полным-полно.

Как всегда бывает: случайно, но кстати попался «Новый мир», десяток лет назад вышедший, где Лев Гинзбург писал о «потусторонних встречах» с бывшими главарями третьего рейха, об интервью, которые давали ему оставшиеся в живых осужденные Нюрнбергским процессом крупнейшие функционеры и идеологи фашистских зверств, близкие родственники Евы Браун. Хитрили, конечно, от чего-то открещивались, но в главном говорили правду. Однако самое поразительное, что не отказывались, не могли по самой атмосфере страны отказываться от встречи с писателем. С писателем из СССР. И к тому же с евреем.

А наши?

Не страх наказания заставляет их молчать. Им позволяет молчать и поджимать губы уверенность безнаказанности на этом и на том свете. Впрочем, наш путь к разоблачению палачей мы начали с поразительной и непростительной лжи, которой не поверил никто. «Берия — агент иностранных разведок».

Нет, нет, совсем не жажда мести движет мной, даже не за справедливость ради справедливости ратую,— мне страшно! Вижу: не боятся возмездия новые когорты палачей и клеветников, которые прямо от того корня произошли или ходят в названных племянниках у безнаказанных преступников. Они готовы действовать теми же методами, что во времена Ежова и Берии, Абакумова и Рюмина.

А цели? Цели только теперь называются уголовными, хотя чисто уголовными были и цели, которые преследовал Сталин.

Раз уж я упомянул в этой книге Ш. Рашидова, то вынужден буду вернуться к этой поразительной фигуре еще раз. Но не теперь. Чуть позже. Теперь еще о его наставнике — Усма-не Юсупове.

Сегодня у Юсупова защитников и даже апологетов в моей республике куда больше, чем, к примеру, у Жданова в Жданове и Ленинграде. О его личной роли в уничтожении тысяч и тысяч людей не упоминают вовсе, а когда приходится говорить на эту тему, то утверждают, что был Юсупов не лучше и не хуже других, зато построил Большой Ферганский канал и во время войны проявлял чувство интернационализма, помогая эвакуированным. На один иронический абзац в небольшой рецензии на фильм о У. Юсупове я получил довольно много протестующих писем, написанных явно под диктовку и затрагивающих явно не то, что я написал, а то, что подумал. По старым канонам мне клеили ярлыки, предъявлялись весьма страшные политические обвинения: сею вражду между русским и узбекским народами, озлоблен на Советскую власть, злостно на нее клевещу.

Это же срок! Это же моя родная 58-я, пункт 10-й, антисоветская агитация! Какая знаменательная встреча в 1988 году! И ведь подписи под свидетельствами солидные, на приговор тянут. Можно через трибунал, через тройку, а уж ОСО обязательно.

С тем эти письма и писались. Но других больше.

В бандероли — брошюрка, выпущенная срочно, всего за неделю, в октябре 1937-го. Сразу вслед за пленумом. И привести из нее несколько цитат я обязан по многим причинам. Из них пока назову первую: не надо думать, что все шло только сверху, только из Москвы, только от Сталина и Ежова, а внизу были только палачи по должности, клеветники по приказу, лишенные личной инициативы и заинтересованности. Как, к примеру, У Юсупов — наркомпищепром республики до 20 сентября того самого года, а с 20-го — первый секретарь ЦК

Итак:

УСМАН ЮСУПОВ

ДО КОНЦА ИСТРЕБИТЬ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННУЮ БАНДУ

Издательство ЦК КП(б) Уз.,

Ташкент — 1937 г

Разоблачая контрреволюционную «теорию затухания классовой борьбы», товарищ Сталин неоднократно учил нас, что по мере того, как эксплуататорские классы и их идеологи будут терять свои последние позиции, классовая борьба будет обостряться, все изворотливее и подлее будут форма и методы сопротивления осколков классовых врагов. Однако эти ясные указания товарища Сталина многие наши партийные организации в Узбекистане недооценили, забыли. И это облегчило возможность агентам японо-германской разведки вести свою шпионскую, диверсионную вредительскую работу...

...Увлекшись успехами социалистического строительства, заразившись идиотской болезнью — беспечностью, мы, коммунисты Узбекистана, дали возможность врагам овладеть руководящими постами в партийной организации и правительстве, облегчили врагам вредительскую, шпионскую работу на пользу фашистских разведок.

Только благодаря неусыпной бдительности ЦК ВКП(б), лично товарища Сталина и его непреклонного соратника тов. Ежова узбекскому народу удалось вскрыть и ликвидировать узбекистанскую банду контрреволюционных националистов, троцкистов и бухаринских шпионов.

Разоблаченная банда врагов народа, гнуснейшие контрреволюционные националисты — Икрамов, Файзулла Ходжаев, Исламов, Балтабаев, Каримов, Ширмухамедов, Турсун Ходжаев, Усманов, Тюрябеков, Сорокин, Хасанов, Мирза-Ахмедов и другие... Эту кучку негодяев возглавлял самый подлый из подлых бандитов, самый циничный двурушник и предатель — Акмаль Икрамов.

...Руководимая Икрамовым банда преступников, вступив в сговор с троцкистами и бухаринцами, по прямому заданию фашистских государств вела шпионскую, разведывательную работу, подготовляла отторжение Узбекистана от Советского Союза, восстановление эксплуататорского, помещичье-капи-талистического строя в нашей стране и превращение Узбекистана и других республик Средней Азии в колонию империалистических стран.

...Используя свое положение и занимаемые посты, эти люди организуют пополнение басмаческих отрядов, снабжение их оружием и деньгами, выдают им планы расположения военных сил и намечаемые советскими органами мероприятия, вербуют новых курбашей и т. д.

...Основное внимание сосредоточивается на собирании сил и подготовке кадров. В эти годы Икрамов и Файзулла Ходжаев подбирают группу буржуазной националистической молодежи и направляют для обучения в Германию, оплачивая их учебу золотом, принадлежавшим нашему народу. Впоследствии из этих кадров выковались фашистские разведчики.

...Особенно тщательно конспирировались руководители «Милли-истиклял», занимавшие одновременно руководящие посты в ЦК КП(б) Уз. и правительстве Узбекистана.

Характерно, что после разоблачения Бату, Рамзи и других деятелей подпольной националистической партии, занимавших крупные посты в партийных и советских органах, Икрамов, Каримов и другие разоблаченные ныне руководители «Милли-истиклял» принимают все меры к тому, чтобы замазать это дело, заглушить развернувшуюся на основе этого дела критику и самокритику, задержать активизацию партийных масс.

Икрамов и Каримов, для того чтобы притупить бдительность, в своих выступлениях пытаются уверить партийную организацию, что основная нить поймана и главари разоблачены. Одновременно чья-то «неведомая» рука физически уничтожает свидетелей (Сайд Абидов), которые знают и могут рассказать нечто большее.

...Это они в период поворота трудовых масс дехканства на путь коллективизации и ликвидации кулачества как класса подхватили и применили в Узбекистане провокационный лозунг — «немедленной 100-процентной коллективизации». Это они организовали вредительство в области ирригации, животноводства, семенного хозяйства, срывали развитие садоводства и виноградарства, разрушали базу шелководства, тормозили развитие пищевой промышленности, срывали товарооборот и т. п.»

По ходу переписывания цитат брошюры У. Юсупова в эту книгу я выбросил половину того, что ранее наметил. Жаль места, где упоминается моя мать Е. Л. Зелькина, жаль фразеологии времени, которая наиболее ярко выражена в периодах, где факты отсутствуют.

Но основное сказано.

Полагаю, что читателю не придется заглядывать в предыдущие главы моей книги, чтобы понять: текст У. Юсупова — основная шпаргалка, написанная им почти за полгода до процесса, где именно по этой шпаргалке «работал» А. Вышинский. Все, начиная со связи с троцкистами и бухаринцами до дела Рамзи и Бату с убийством Абида Саидова (или Сайда Абидова — какая разница!) — до вредительства в хлопководстве и провокационного лозунга о 100-процентной коллективизации, который в Узбекистане «подхватили».

И невольно вспоминается сказанное У. Юсуповым в 1933 году на станции Урсатьевская. Вот когда Сталин готовил его, а Юсупов готовился к своей роли.

Письмо от незнакомого мне пенсионера, члена партии с 1928 года А. Низамханова. Он был наборщиком, потом на низовой партийной работе, очень тепло пишет об отце, потом продолжает: «Несколько слов об Усмане Юсупове. В 1937-м году в Ташкенте, в театре им. Горького открылся VII съезд Компартии Узбекистана, я был его делегатом. Тайным голосованием следовало избрать членов ЦК. Стали

обсуждать кандидатуры для включения в список тайного голосования, в числе других был назван и У. Юсупов. Председательствующий на заседании съезда тов. Ширмухамедов объявил, что Юсупов не собрал нужного количества голосов для включения в список тайного голосования. Тогда поднялся на трибуну А. Икрамов: «Товарищи! Усман Юсупов только что вернулся с учебы в Москве, сейчас работает наркомом пищевой промышленности. Поэтому я настоятельно прошу вас включить его имя в список будущих членов ЦК КП Узбекистана».

Ширмухамедов предложил голосовать еще раз, посчитал поднятые мандаты и объявил, что для включения в список Юсупова голосов явно недостаточно.

А. Икрамов второй раз поднялся с места и подошел к трибуне: «Вы, по всей вероятности, не совсем хорошо меня поняли: тов. У. Юсупов будет работать с нами рука об руку. Поэтому прошу вас, кто относится ко мне с уважением, голосовать за включение У. Юсупова в список тайного голосования».

При третьем голосовании большинством в один голос Юсупов попал в список. А. Низамханов вспоминает, что именно одним голосом и решилось его избрание в члены ЦК. Факт этот мне не был известен, но не сомневаюсь, что отец выполнял прямое указание Сталина.

А. Низамханов присутствовал и на пленуме в сентябре. Рассказывает об этом более подробно, чем другие. Так ему запомнилось, что, несмотря на присутствие А. А. Андреева, выступавшие долгое время не хотели понимать, что от них требуется, в основном занимались самокритикой, ничего плохого в адрес Икрамова сказано не было. Дали слово Загвоздину, руководителю НКВД. Он зачитал явно клеветнические показания незадолго перед тем арестованных ответственных работников. Наступила растерянность. Никто не думал в те годы, что в НКВД работают фашисты и подонки.

А. А. Андреев предложил предоставить слово У. Юсупову. Усман начал свою речь со старых клеветнических измышлений. Речь эта была пронизана ложью от начала до конца.

До выступления Загвоздина А. Икрамов сидел в президиуме очень спокойно, а после — он собрал папку, закрыл ее, сложил руки, и было видно, как сразу у него упало настроение... В последнем слове Икрамов сказал: «Товарищи, я только теперь понял, о чем идет речь. Я — сын партии и до конца своей жизни останусь им».

По-разному люди запоминали текст. Некоторые утверждают, что отец трижды или четырежды повторил эти слова...

Но вернемся к письму Низамханова, написанному летом 1988 года, почти одновременно с письмом русского коммуниста Петра Андреева. Разврат, коррупция, моральное разложение, подкуп высоких покровителей в Москве берут начало с 1937-го, когда на смену одним пришли совсем другие. Начав с клеветы и подлости, они культивировали это в себе, требовали от подчиненных.

...Третьим в проскрипционном списке Усман Юсупов назвал Акбара Исламова, своего товарища, наркома финансов республики. Жена Исламова, грузинка, Кетеван Давы-довна, после освобождения из тюрьмы вместе с сыном Тему-ром уехала в Тбилиси.

После посмертной реабилитации Акбара Исламова в 1957 году мать с сыном решились в Узбекистане устроить поминки. Ехали через Москву, поездом, и рядом в мягком вагоне оказался У. Юсупов, снятый со всех высоких постов директор совхоза. Несмотря на сопротивление матери, Темур отправился в соседний вагон, чтоб узнать время гибели отца и то, где он был похоронен, чтоб сделать ему могилу, как честному гражданину.

«Если бы ты знал,— пишет мне Темур,— как он искренне убеждал меня, что не причастен к расстрелам. Я сказал ему, что, поскольку эти люди не были ни в чем виноваты, можно было их сместить с партийной и руководящей работы, но не убивать. На это он ответил, что эти люди были очень популярны, уважаемы и любимы народом, и если бы им не сфабриковали таких тяжких обвинений, то народ бы не поверил, а они нам мешали и надо было их убирать...»

А вот письмо от сына Бату из Ташкента, хирурга, доктора медицинских наук Эркли Ходиева. Я читал его с чувством стыда за себя и вдруг вспомнил, что среди лекарств, которыми пичкал меня тогда дедушка Лев Захарович, большую дозу составлял бром. А Эркли брома никто не давал. Он рассказывает, что к ним в третий класс школы им. Шумилова вошла учительница Мунавар Ахмеджановна, преподававшая узбекский язык, и сказала: «Дети, в нашем правительстве — враги народа.— И начала перечислять:— А. Икрамов, Ф. Ходжаев, Манжара... Вот и у нас есть Эрик, он хороший мальчик, но его папа тоже хотел, чтобы вернулись буржуи, капиталисты, баи и басмачи».

Эркли вспоминает, что сидел на третьей парте в среднем ряду, но не помнит, как вырвал из парты доску, кинулся к Мунавар Ахмеджановне и изо всей силы ударил ее этой доской. Учительница упала, Эркли убежал, а ночью хотел поджечь школу. Облил кирпичные ступени керосином, поджег, но... сгорел только керосин. Потом были у сына Бату скитания, беспризорность, потом он стал студентом и встретил Мунавар Ахмеджановну на одной из главных улиц Ташкента, около кондитерской. Он узнал ее по огромному шраму на лбу справа.

Добрый человек Эркли, детский хирург... А мне горько, что со мной такого взрыва не было.

Бедная Мунавар Ахмеджановна! Конечно, ты пострадала зря. Но так будет всегда, если главные виновники остаются безнаказанными.

Дастархан

— Ты помнишь милиционера Ермоленко?

(Я уже предупреждал, читатель, что некоторые имена я вынужден изменить по просьбе самих действующих лиц. Я не всегда понимаю мотивы, по которым люди просят изменить их имена, вернее, иногда понимаю, а иногда не понимаю совсем. Мне очень трудно заменять имена, но я должен это сделать.)

— Ты помнишь милиционера Ермоленко? — спросил мой двоюродный брат Амин.

— Еще бы,— сказал я,— конечно, помню.

Из многих милиционеров, охранявших дом секретаря ЦК Узбекистана в Ташкенте на Уездной и на Гоголя, я дружил с двумя — с Ермоленко и Ефремовым. Ермоленко — здоровенный украинец с квадратным подбородком. Ефремов — из-под Саратова, курносый, веселый, бесшабашный парень. Его я особенно любил.

— Так вот этот Ермоленко,— говорит Амин,— работает кладовщиком недалеко от товарной станции. Между прочим, это он дежурил, когда арестовали твоего отца.

Помню, в тот приезд я не стал разыскивать Ермоленко. Нашел его много позже. Он живет в низенькой мазанке, и на улице его знают потому, что они держат корову. «Это которые Ермоленки? Которые корову держат?» В низеньких комнатках меня встретили два рослых парня с квадратными подбородками, в узконосых ботинках, белых рубашках с галстуками, модно остриженные. Это были сыновья Ермоленко, студенты. Они собирались на танцы.

Получилось так, что и Ермоленко, и Ефремов живут в Ташкенте, как и до войны.

Один мой друг часто говорил, что жизнь значительно более сюжетна, чем мы, литераторы, это себе представляем. Во всяком случае, то, как жизнь распорядилась судьбами этих двух людей, удивляет меня до сих пор.

Оба они служили в правительственной охране, когда арестовали моего отца. Оба попали на фронт. В этом нет никакой судьбы.

Попали они на фронт по-разному. Ермоленко взяли в январе 1942 года, просто разбронировали и взяли. Ефремова — в 1943-м. Как он сам говорит — по глупости.

— Я тогда кабана держал. И зарезал его. А наш взводный говорит: «Ну, что ж, могу я на сало рассчитывать, килограммчиков на двадцать — тридцать?»

Такое меня зло взяло. Говорю: «Да нет, заходи, угощу, а на сало не рассчитывай». А он мне и говорит: «Ну, Ефремов, значит, не хочешь ты на свете жить». Разбронировали меня и — на фронт.

Неудивительно, конечно, что два милиционера из правительственной охраны оказались на фронте. Удивительно другое: встретились они в немецком плену.

Ермоленко рассказывает об этом так:

— Лагерь был под Борисовом. Тысяч пять нас было. Пригнали новеньких. Мы, значит, шеренгами стоим, а их мимо нас гонят. Ефремов как увидел меня да как закричит: «Ермоленко! Ермоленко!» Кричит — и ко мне. Тут полицаи растерялись, даже ударить ни разу не успели. Так он ко мне прорвался и рядом со мной стал... Он же тихий, без меня, может, и помер бы. Чего стащить — картошку или свеклу, это я. Но мы все пополам. Мы друг от дружки никуда. И все боимся, как бы не узнали, что мы чекисты. Если бы разоблачили нас, нам бы худо было. Они с чекистами знаешь как... Потом увезли нас с Березины под Берлин. С месяц под Берлином были. А потом под Франкфурт. Там на работу сначала не гоня ли, а только били, по-пластунски заставляли ползать. Меня сильно били... Ты, говорят, оскорбляешь нашу личность, что скрываешь, что командир. А Ефремова не били.

Мы несколько раз встречались и с Ефремовым, который работает слесарем-сантехником, и с Ермоленко. Ефремов рассказывает:

— Месяца за два до ареста твоего папы меня вдруг вызвали и говорят: будешь ходить в гражданской одежде, по другой стороне улицы, чтоб никто тебя не видел, и будешь за домом Икрамова следить. Кто входит, кто выходит, все записывай и доноси. Мне дали шелковую рубашку украинскую, под рубашкой, значит, у меня наган торчит. Хожу я по другой стороне улицы. Ну, а ваши-то все — и дворник, и Лиза, твоя нянька, видят меня. Вроде должен я секретно ходить, но куда ж там спрячешься. Как обед, Лиза, бывало, кричит: «Ефремов, иди обедать!»

— Власовцы сильно били,— говорит Ермоленко.

— Да как же нас не бить,— говорит Ефремов,— как же нас не бить! Помнишь, дали нам одеяла, а мы из них рукавицы наделали. Или вот с кранами...

Ермоленко смеется:

— А что с кранами! И правильно сделали.

— Да чего ж правильно,— говорит Ефремов.— Краны по всему дому отломали, и вода течет. Это ж безобразие одно.

Ермоленко говорит:

— Мы из них немцам кольца делали, они очень кольца любят. Они же бронзовые... Потом стали нас гонять в порт баржи разгружать, цемент. Там же и зерно разгружали. По дошли к баржам индюки, штук сорок. Я у часового попросился в уборную, там выломал палку, под шинель спрятал и пошел к индюкам. Часовой спиной ко мне сидел. Я в самую гущу индюков эту палку запустил. Двое упали и кувыркаются. Я подскочил, шинелью прикрыл и головы им набок. Придушил и в штаны. У меня итальянские галифе были. Широкие. Я до вечера работал, никто и не заметил. А вече ром сварили.

На другой день к нашему начальнику конвоя немка пришла, плачет: «Нейн, нейн, цвай фугель никс». Конвойный сразу узнал, что я. Видел, что ли. Подошел ко мне, как хлобыстнет по роже. Он мне губу прямо разрубил. Здорово хлобыстнул...

— Ты даже говорить долго не мог,— замечает Ефремов.

— Ну, рожа у меня вся в крови, а нас уже обратно ведут. Сейчас, думаю, в лагерь приведут. Посмотрят — я весь в крови, спросят — чего, и могли плетей дать. До кости секли. Если б убили-расстреляли, это бы ладно, а то плетьми засекали... Нас ведут, а я говорю (у нас там фармацевт был один — Толя): «Ты скажи немцу, чтоб умыться разрешил». Толя говорит: «Постен, Ермоленко шпрехен, что умыться, мол, хочу». Разрешил. Ну, я пошел, там вода была близко — Одер, умылся. Так никто ничего и не узнал. Спасибо, постен хороший попался.

— Хороший! — сказал Ефремов.— Он тебе губу рассек, ты и говорить не мог.

— Нет, хороший,— возразил Ермоленко.— Если б он в лагере сказал, засекли ба. До кости секли ведь.

— Хороший! — не согласился Ефремов.— Он тебе всю рожу разворотил.

И они долго спорили, правильно поступил тот немец или нет. Этот разговор происходил за праздничным столом в летний вечер. Жена Ермоленко — толстенькая добродушная женщина — суетилась, подкладывала нам малосольных огурцов вперемешку с урюком, яблоками, доставала откуда-то новые бутылки. Меня поила квасом. Она заставила меня записать рецепт.

— Запиши, запиши! Чего не надо — пишешь. Так вот запиши: на триста граммов воды две столовых ложки сухих дрожжей, три столовых ложки сахару, полстакана муки. Когда дрожжи разойдутся, две булки хлеба... У нас с младшим беда,— говорит она мне про сына.— Лазил он на Эльбрус в каникулы, спознался там с одной... Она его в свою Махачкалу тянет. У нее теперь ребенок будет.

— Да, в тот год трупы-то валялись,— продолжает Ефремов,— чего не валялись. Возле вокзала. Как приедут, сил больше нет, вот и валялись.

Ермоленко перебивает его:

— Ты маленький, глупый был. Говоришь бывало: вот папа день и ночь не спит, хочет искусственное солнце изо брести. Это, помнится, когда курак[1] драли. Весь город драл. В вашем доме тоже все драли курак. Эта зима рано пришла, вы скромно жили. Я ж на кухне часто бывал, весь ваш меню знаю, часто ел, все та же шавля.

А дворника Спиридона помнишь? — спрашивает он.— Агент он был, мы его боялись. Вокруг много агентов было. Я не говорил тебе: я ведь последний был, кто отца видел. Вернулся он еще за солнце, перед вечером. Я тогда со двора дежурил. Мне сказали, чтоб я в окна поглядывал... Вижу, вошел в столовую. Посидели они за столом — он, комиссар Фролов и Лиза. Вдруг слышу — гудок у ворот. Там, у ворот,

новенький стоял, ничего не понимал. Я слышу — Загвоздин приехал. По гудку узнал. Бегу к воротам, отворяю. Загвоздин во двор заезжает. Велел ворота притворить, а сам в дом вошел. Вышли они с твоим батькой, в машину сели,— помнишь, красная у Загвоздина была. Я сзади стоял, с кем сел, не знаю. На вокзал поехали — так мне Лиза сказала.

(Думаю, что Лиза ошиблась. Когда-то и я думал, что отца сразу отвезли на вокзал и в Москву. Но говорят, что два-три дня он еще сидел в Ташкенте. Член ЦК Узбекистана, секретарь одного из райкомов, знаменитая женщина-орденоноска Таджихон Шадиева, о которой писали много, от Юлиуса Фучика до Евгении Гинзбург, вспоминает, как в Ташкенте во внутренней тюрьме, она слышала в соседней камере, в одиночке, кашель моего отца.

— Э, Камиль, дорогой, я же не ошибаюсь, я же его кашель знаю...)

— У нас на базе один коммунист есть,— рассказывает Ермоленко.— Он — человек политический, бывший военный.

1 Курак — нераскрывшиеся коробочки хлопка. Мешками на арбах развозили курак по всем домам Ташкента, и жители должны были руками разрывать, разламывать коробочки, добывая оттуда влажную недозревшую вату. Потом те же арбы собирали по домам «продукцию». Наш дом не был исключением в этой всеобщей повинности.

Пенсия чуть не три сотни. Он говорит — самых лучших брали как военных, так и гражданских. Это точно... Помню, история была с вашим шофером, с Робертом. На май зашел он к вам. Видно, Лиза ему поднесла. Он выпил, а потом еще пошел к Спиридону выпил. Подхожу я к Спиридону, а Роберт лыка не вяжет. Положили мы его в угол, пусть отсыпается. А отец твой вышел вдруг. Думали, он никуда не поедет, а он поехать решил. Говорит: «Где Роберт?» Я испугался. Говорю ему: «Товарищ Икрамов, он вроде заболел». Он посмотрел на меня, отец твой, и говорит: «Правильно сказал, так и надо говорить в подобных случаях — заболел». И все, никакого разговору не было. Сел сам за руль и поехал... Это верно, самых лучших забирали...

Вечером Ермоленко вывел меня во двор и шепотом сказал: — Если тебе деньги надо, я тебе дам. Только ты Ефремову не говори, а то он бедствует. Я тебе дам, хоть пять тыщ дам. А ему чего давать, он же нищий.

Я рассказываю о том, что знаю, о том, от кого и как я это узнал. Мои заметки никак не претендуют на то, чтобы дать полный, ясный ответ на то, каким был мой отец в повседневной политической жизни, какова была его роль во всех актах великой трагедии нашего народа.

Я приступил к этой книге с дрожью, но без жалости к отцу. Я установил, что он не был виновен в том, за что его судили. С каждым днем я все больше верю в чистоту его помыслов, в его полное бескорыстие.

Мы часто сетуем на то, что люди, сделавшие революцию, исчезли, что теперь:де нет тех святых. Мы часто в видимом противоречии с этим говорим, что и они были не без пятнышка и потому-де все произошло.

Но вернемся к процессу.

Моя книга, вероятно, чем-то напоминает труды палеонтолога, пытающегося по концевой фаланге неизвестного чудовища реконструировать картины прошлой жизни. Странная работа, когда живы и ходят среди нас свидетели, участники и организаторы тех событий.

Для моей работы несущественно, кто был на второй день процесса на месте Крестинского: он ли после пыток или его двойник? Я пытаюсь проникнуть в состояние тех двадцати, которые сидели рядом с Николаем Николаевичем. Или с его двойником. Одним из двадцати был мой отец. Он видел Николая Николаевича второго марта и третьего марта. Видел его или его двойника.

Палачам было необходимо раздавить Крестинского, они боялись, что его примеру последуют другие, что может рухнуть весь процесс, основанный на самооговоре.

Люди, сидевшие на скамье подсудимых рядом с Н. Н. Крестинским, видели: вчера он отказывался от всего, а сегодня сам все признает и еще просит разрешения помочь Вышинскому. Или: вчера все отрицал, геройствовал, а сегодня сидит двойник. И все идет как надо.

— И у тебя будет так. Хочешь, я покажу тебе твоего двойника? Вот твой двойник. Непохож? Но разве тебя так хорошо знают? Тебя же никто из сидящих в зале толком не знает! Кто тебя знает, Икрамов? А кто узнает — не пикнет.

Вместе с моим отцом были арестованы все пять братьев Икрамовых.

— Хочешь, я заставлю за тебя сидеть на суде Карима, или Нугмана, или Усмана, или даже самого молодого — Юсупа? А ведь братьев не обязательно. Можно любого узбека, любого...

Нет, не слабость подсудимых перед лицом пыток решала исходы тогдашних процессов в конкретном и более широком смысле слова «процесс». Не слабость подсудимых, а слабость зрителей, слушателей, читателей. Хотел было поподробнее перечислить известных мне и всей стране людей, допущенных в Октябрьский зал Дома союзов. Что их винить за тогдашнее молчание, если мы все до недавних пор молчали Чем мы рисковали при Брежневе? Малым, очень малым, если сопоставить цену нашего риска с ценой, которую могут заплатить за это наше молчание наши дети и внуки. Эту мысль я повторяю часто, обращаюсь с ней к читателям всех рангов, потому что жизнь длинна, а если учесть, что она продолжается в наших детях и

внуках, то она бесконечна. Бесконечна, если свойственная всем людям мира социальная безответственность каждого из нас не приведет к концу света, к ядерной катастрофе, к тому, что перед собственной смертью мы увидим обугленные трупы наших детей и внуков.

Дело моего отца

Может быть, на процессе был Н. Н. Крестинский, может быть, был его двойник.

Может быть, дело в том, что, как полагают некоторые, процесс этот шел колесом больше месяца. Зал был полон. Вышинский с Ульрихом на месте, в первых рядах — следователи,— и обвиняемые не могли знать, когда репетиция, а когда спектакль. Есть такая версия. Может быть.

Может быть, им обещали жизнь и еще что-нибудь за послушание? Что им обещали?

Этого быть не может. Дурачков там не было, чтобы верить.

У меня все не идет из головы то, с какой заботой моему отцу доставляли весточки от моего дедушки. А ведь никто из тысяч, «идущих по тройкам и ОСО», вообще не получал писем и передач.

Я помню огромного широкоплечего дядю, который во время процесса таинственно приходил, запирался с дедушкой в его врачебном кабинете и потом уходил с письмом к отцу.

— Вот, видите, ваш сын жив. На свободе. Вчера ходил в Центральный детский театр на пьеску «Негритенок и обезьяна». Он получил значок БГСО.

— Что такое БГСО? — мог спросить отец, глядя на фотографию сына с непонятным значком на бархатной курточке.

— БГСО — Будь готов к санитарной обороне СССР,— могли объяснить ему и добавить:— А ведь все может быть иначе...

Я почему-то запомнил отца суровым и сдержанным. Но все в один голос, начиная от знаменитого профессора И. А. Кассирского, лечившего меня в детстве, и кончая милиционером Ефремовым, охранявшим наш дом, говорят, что отец обожал меня, трясся надо мной и сходил с ума, когда я болел или долго не возвращался домой. Может, угрожая моей жизни, заставили его быть послушным?

Не могу отвязаться и еще от одного страшного предположения. Не замучили ли они на глазах жертв процесса одну из известных им всем женщин? Почему-то я всегда думаю о вполне реальном человеке — жене старого коммуниста Николая Антипова[1], уже упоминавшегося мной в этой работе.

Я помню ее в серой шубке с пуговицами, похожими на срезы древесных сучков. Говорят, это было модно. Она казалась мне очень красивой и подарила мне автомобильные гонки — заграничную игрушку. Звали ее тоже интересно — Степа.

1 «Антипов Николай Кириллович (1894—1941) —сов. гос. парт, деятель. Чл. КПСС с 1912 г. Участник Окт. рев-ции 1917 г. в Петрограде. С 1919 секр. губ. (обл.) парт, к-тов (Казань, Москва, Урал, Ленинград) и Сев. Зап. бюро ЦК. С 1928 нарком почт и телеграфов, с 1931 зам. наркома РКИ СССР. С 1935 пред. Комиссии сов. контроля, одноврем. зам. пред. СНК СССР и СТО СССР. Чл. ЦК партии с 1924, През. ЦКК с 1931. Чл. ЦИК, ВЦИК». («СЭС»).

Думаю, что дата смерти здесь — условная. Погибших в 1937—38 годах «раскидывали» по разным годам. Николая Кирилловича никто в тюрьмах не встречал.

Она приезжала с мужем в Ташкент, когда мы жили еще на Уездной. Н. К. Антипов потом ведал, кажется, еще комитетом по физкультуре и спорту. Как-то я оказался у них на даче зимой. Там была комната И. Д. Папанина, он жил на даче Антипова, подарил тому шкуру белого медведя.

Последний раз я помню Степу в гостинице «Москва» Очевидно, это май — июнь[1] тридцать седьмого.

Она пришла какая-то бледная, и отец выставил меня в соседнюю комнату нашего огромного номера.

Из любви к тете Степе я крутился поближе к двери.

— Ты понимаешь, они пришли, все перерыли... Помнишь, всем нашим рассылали для сведения «Майн кампф»? Они схватили и тычут мне в нос. Помнишь, ведь всем членам правительства рассылали?

— Да.

— Акмаль! Пойди к нему! (Я понимал тогда: речь идет о Сталине.) Скажи ему. Ты же знаешь, что Николай не виновен.

— Я ничего не могу сделать.

— Но ты же понимаешь...

— Понимаю. Я ничего не могу сделать.

— Но он ведь тебя любит. Он же тебя обнимал в театре.

— Пойми, Степа, я ничего не могу сделать.

Когда тетя Степа вышла, я выглянул в коридор. Она шла по ковровой дорожке, как пьяная. Ее шатало от стенки к стенке.

Степа исчезла бесследно.

Мало ли жен исчезли бесследно в те годы, но я все время думаю о ней.

И еще я думаю, что отец не сказал ей: «Если его взяли, значит, он — сволочь». А ведь в эти самые дни мать сказала так. Мать и отец незадолго до ареста думали по-разному. Есть и другие тому свидетельства. Например, еще один рассказ З. Д. Кастельской.

...Это было в самом начале весны тридцать седьмого. Отец решил погулять вечером, а я собиралась домой. Мы пошли вместе.

— Скажите, Акмаль, что же это? — спрашивала я о сенсационных арестах тех дней, а он отвечал как-то очень неопределенно, а потом вдруг обернулся ко мне и сказал: Неужели, Зинушка, вы не понимаете, что если я завтра скажу, что вы троцкистка, то поверят мне, а не вам.

1 Думаю, что июнь, июньский Пленум ЦК ВКП(б), на котором, как уверяют многие, был решен вопрос о предоставлении Ежову чрезвычайных полномочий.

— Что вы говорите! При чем здесь это?

— Если я скажу, что вы троцкистка или еще что-нибудь, то поверят мне. Вам уже никто не поверит. Понятно? — раздраженно спросил отец.

— Что вы говорите! Что вы говорите!

— Ладно,— сказал отец.— Хватит. Я вам ничего не говорил.

Прежде чем закончить рассказ о том, как я читал стенограмму процесса,— еще две цитаты.

Из последнего слова Н. И. Бухарина:

«...Мне кажется, что когда по поводу процессов, происходящих в СССР, среди части западноевропейской и американской интеллигенции начинаются различные сомнения и шатания, то они в первую очередь происходят из-за того, что эта публика не понимает того коренного отличия, что в нашей стране противник, враг, в то же самое время имеет это раздвоенное, двойственное сознание. И мне кажется, что это нужно в первую очередь понять.

Я позволяю себе на этих вопросах остановиться потому, что у меня были за границей среди этой квалифицированной интеллигенции значительные связи, в особенности среди ученых, и я должен и им объяснить то, что у нас в СССР знает каждый пионер.

Часто объясняют раскаяние различными, совершенно вздорными вещами вроде тибетских порошков и так далее. Я про себя скажу, в тюрьме, в которой я просидел около года, я работал, занимался, сохранил голову. Это есть фактическое опровержение всех небылиц и вздорных контрреволюционных россказней.

Говорят о гипнозе. Но я на суде, на процессе вел и юридически свою защиту, ориентировался на месте, полемизировал с государственным обвинителем, и всякий, даже не особенно опытный человек в соответствующих отделах медицины, должен будет признать, что такого гипноза вообще не может быть»

Подумать только, как обстоятельно и последовательно Бухарин опровергает измышления западных профессоров, объясняет им то, что «у нас в СССР знает каждый пионер».

Интересно, кто писал ему этот текст? Неужто Лев Романович Шейнин не знал, кто это писал? Неужто мы не вправе знать это, как это было на самом деле?

Почему же не спрашиваем?

Перечитывая, не могу отделаться от представления, что этот текст писал или лично продиктовал сам Сталин. Его фразеология, его интонация. Впрочем, и у Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите» я ее услышал. Очень я доверяю собственному слуху и прошу за это прощения у читателя.

«Очень часто объясняют эти раскаяния достоевщиной, специфическими свойствами души (так называемой l'ame slave[1]), что можно сказать о типах вроде Алеши Карамазова, героев «Идиота» и других персонажей Достоевского, которые готовы выйти на площадь и кричать: «Бейте меня, православные, я — злодей».

Но здесь дело совершенно не в этом. В нашей стране так называемая l'ame slave и психология героев Достоевского есть давно прошедшее время, плюсквамперфектум».

Дочь Николая Ивановича — ученый, историк, кандидат наук, уверена, что ни одна фраза в последнем слове Бухарина ему не принадлежит. Мне и то кажется, что стилизация под Бухарина здесь очень недостоверна. Слишком уж он усердно проявляет эрудицию.

«Такие типы,— продолжает он в стенограмме,— не существуют у нас, они существуют разве на задворках маленьких провинциальных флигельков, да вряд ли и там существуют. Наоборот, в Западной Европе имеет место такая психология.

Я буду говорить теперь о самом себе, о причинах своего раскаяния. Конечно, надо сказать, что и улики играют очень крупную роль. Я около 3 месяцев запирался.

Потом я стал давать показания. Почему? Причина этому заключалась в том, что я в тюрьме переоценил свое прошлое. Ибо, когда спрашиваешь себя: если ты умрешь, во имя чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной яркостью абсолютно черная пустота. Нет ничего, во имя чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, не раскаявшись. И, наоборот, все то положительное, что в Советском Союзе сверкает, все это приобретает другие размеры в сознании человека. Это меня в конце концов разоружило окончательно, побудило склонить свои колени перед партией и страной.

1 Славянская душа (франц.). А про достоевщину я тоже писал в этой книге, хотя и в другом контексте.

И когда спрашиваешь себя: ну, хорошо, ты не умрешь; если ты каким-нибудь чудом останешься жить, то опять-таки для чего?»

Ни о чем не прошу, только — читайте внимательно.

«Изолированный от всех, враг народа, в положении нечеловеческом, в полной изоляции от всего, что составляет суть жизни... И тотчас же на этот вопрос получается тот же ответ. И в такие моменты, граждане судьи, все личное, вся личная накипь, остатки озлобления, самолюбия и целый ряд других вещей, они снимаются, они исчезают. А когда еще до тебя доходят отзвуки широкой международной борьбы, то все это в совокупности делает свое дело, и получается полная внутренняя моральная победа СССР над своими коленопреклоненными противниками. Мне случайно из тюремной библиотеки попала книжка Фейхтвангера, в которой речь идет относительно процессов троцкистов».

(Бухарин, наверно, сказал бы: «Мне дали книжку «Фейхтвангера». Он бы понял, как фальшиво звучит: «случайно из тюремной библиотеки». Кстати, книга подписана к печати в самом конце 37 года, 24 ноября. Бухарин заметил бы и это.— К. И.)

«Она на меня произвела большое впечатление. (Тот, кто звонил среди ночи в издательство Митину, лично же и приказал дать книгу Николаю Ивановичу, сомнений тут нет.— К. И.) Но я должен сказать, что Фейхтвангер не дошел до самой сути дела, он остановился на полдороге, для него не все ясно, а на самом деле все ясно».

Сталинский стиль!

А что думал про все это Лион Фейхтвангер в своем комфортабельном далеке? Промолчал? Если б не промолчал, мы бы об этом знали.

Мой отец в своем последнем слове говорил:

«Перед тем как меня арестовать, мне показали кучу материалов Наркомвнудела. Это — показания людей, данные в 1937 году, это — материалы, касающиеся меня. (Среди них самые страшные и невероятные — показания Николая Антипова, мужа тети Степы.— К. И.) Читай и скажи, что правильно, что нет. Я должен сказать, что в этом отношении очень внимательным ко мне был Николай Иванович Ежов, который 4 раза со мной разговаривал. А я что сделал? Начисто все отрицал. Поэтому этот позор никак не может смягчить того обстоятельства, что я на 6-й и 7-й день одумался и стал давать чистосердечные показания. (А как же то, что Бухарин заставил отца сознаться на очной ставке? Это было в феврале.— К. И.) Это ни в коем случае не уменьшает и не облегчает в какой-либо степени мое падение.

Дальше я вам скажу, что я никак не хочу прикрываться Бухариным или «право-троцкистским блоком», но я должен сказать, что наша националистическая программа значительно обогатилась и активизировалась на контрреволюционные действия, именно благодаря сидящим здесь со мной участникам «право-троцкистского блока» и особенно его правой части под руководством Бухарина и Антипова...

Нам дано совершенно справедливое звание врагов народа, предателей родины, шпионов, убийц.

...я все, что знал, раскрыл, всех участников преступлений назвал и сам себя разоружил. Поэтому, если что можно сказать в свою пользу, прося о защите, о пощаде, так это то, что я сейчас — раздетый человекоподобный зверь».

И тогда, в пятьдесят пятом году, в газетном зале Исторической библиотеки и сейчас мне страшно читать эти слова. Вернее, тогда было страшно читать, а сейчас страшно переписывать в книгу об отце.

Так вот, слова, которые приведены в стенограмме, страшны и важны. А был ли на процессе в день, когда произносились «последние слова», мой отец или его двойник — совершенно несущественно.

Между строк

Жить надо долго.

Это я понял не так давно. Стоял я в старом московском крематории возле многоячеистого шкафа, где в одной урне уместился прах моего деда по матери, его жены, моей бабушки, которую я почти не помню, и еще прах моей бездетной тети Нади, сводной сестры матери.

Где-то совсем рядом вдруг заиграл орган. Потом я услышал еще скрипку и виолончель. Кого-то хоронили.

Я часто бывал здесь, но то ли музыка так подействовала, то ли мысль пришла страшная, я заплакал. Я плакал, потому что впервые, будучи уже сам отцом, понял, в

каком горе погибал мой отец. Я плакал о том, что нет загробной жизни, что мой отец, когда его вели на расстрел, провидел только часть моей судьбы, только самое плохое: сиротство, гонения в школе, опасность специального детдома, попытки вовсе стереть с лица земли весь род Икрамовых, о чем громогласно заявляли с трибун в конце тридцатых годов. Да, это была не тайная цель, а запечатленная в миллионных тиражах газет задача.

Отец мог провидеть и лагеря, в которых я должен был «дойти» и погибнуть.

А моя мать? Что она могла думать о будущем своего очкастенького, рыхловатого, не слишком трудолюбивого и не очень-то способного, судя по школьным отметкам, сына? Что она могла думать обо мне, когда ее вели на расстрел? Что она думала, когда в нее целились?[1]

В моем доме нет ни одной вещи, принадлежавшей отцу, но зимой 1988 года пришла бандероль из Ленинграда от некоей Марии Николаевны Савиной. Фамилия на упаковке вначале ничего мне де сказала, я отложил бандероль в сторону, а читая какое-то деловое письмо, вспомнил, вернее, предположил: это же родственница тети Лизы, нашей домработницы в Ташкенте. В соответствии с поздними представлениями о людях из обслуги видных партийных работников, а также потому, что тетя Даша, служившая у дедушки, недолюбливала тетю Лизу, как теперь понимаю, ревновала ее, ибо сама любила нашу семью как родную до самой своей смерти, я одно время думал, что тетя Лиза была «приставлена к нам» ГПУ. А в детстве я очень ее любил, любил ее рассказы о детстве в Угличе, а еще больше за то, что она с самого моего детства читала мне перед сном интересные книжки — «Маугли», романы Жюля Верна, что-то очень красивое и сентиментальное из «Чтеца-декламатора» и других, дореволюционного издания.

В начале шестидесятых годов тетя Лиза написала письмо на адрес деда, нашла меня, чтобы получить письменное подтверждение о работе в нашей семье. Нужно было для стажа, для получения пенсии. Жила она в Ленинграде. Я поехал туда.

— Тетя Лиза,— сказал я,— ты напиши, что надо, а я подпишу.

— Камилушка, милый, как же напишу, когда неграмотная?

— Как это неграмотная? Ты же мне все детство книжки читала. Разучилась, что ли?

— Читать-то я научилась давно, а писать не умею совсем, только фамилию.

1 В газете «Учитель Узбекистана» от 20.01.90 в статье Е. Рябова со ссылкой на очевидца сообщалось, что в 1938 году в Таштюрьме «...Е. Л. Зелькина погибла во время допроса, подвешенная за руки». К счастью, автор книги этого не узнал.— Прим. О. Сидельниковой.

Справку я написал, проследил за исходом борьбы за пенсию, еще какие-то документы добыл для нее: но больше не встречался, а она о себе не напоминала. Прости меня, ради бога, милая, верная, преданная тетя Лиза Соловьева!

Я вскрыл бандероль. Там была кремовая, шелковистая, художественно отстроченная панамка с шелковой коричневой ленточкой. А в письме, приложенном к бандероли, Мария Николаевна объяснила, что она очень плохо себя чувствует, собирается помирать и боится, что самую дорогую ей вещь после смерти выкинут. Вот почему она решила с панамкой расстаться. Как я уже писал, мы с отцом уехали в Москву в конце августа 1937-го, а мать арестовали пятого сентября в наше отсутствие. Тогда же, рассказывала тетя Лиза племяннице, в доме отключили телефон, был обыск. Изъяли много книг, писем, фотографий и оружие отца — пистолеты, винтовки, охотничьи ружья, которых в доме было много. Несколько комнат опечатали. Когда маму увели, на полу тетя Лиза увидела эту панамку и взяла ее на память, это единственная вещь, которую она потом вывезла из Ташкента.

Тетя Лиза была и при аресте отца. В противоречии с рассказом милиционера Ермоленко тетя Лиза говорила племяннице, что отец не с Загвоздиным уехал, а его посадили в обычный «воронок».

Сначала тетя Лиза уехала в Углич, потом с племянницей в Ленинград, попала в блокаду, ходила строить укрепления, едва осталась жива, но панамку хранила. Умерла тетя Лиза двадцать лет назад и просила племянницу панамку беречь.

Мария Николаевна — человек интеллигентный, работала на важных должностях, вдова фронтовика, мечтает перед смертью поглядеть на меня, а то видела лишь однажды по телевизору, все собирается в Москву, да очень плохо передвигается — тяжелый полиартрит. Она пишет, что тетя Лиза после войны стала очень верующей и вряд ли в Ленинграде есть хоть одна церковь, где бы тетя Лиза ни ставила свечек, где ни молилась бы о моем отце и матери, а особенно о моем здравии. Может, потому, пишет Мария Николаевна, ты и остался живой.

Мне невыносимо тяжело перечитывать письмо Марии Николаевны, а когда вновь читаю, то с какой-то неведомой прежде силой хочу верить в существование жизни по ту сторону смерти.

Моя жена Ольга взяла в руки кремовую панамку, долго рассматривала и сказала:

— Что же это за страна такая, когда от человека остается одна панамка?

Она думает о своей стране, а не о других, где подобное тоже бывало.

Я стою и плачу в крематории, где находится прах моего деда. А где похоронены отец и мать?

Я плачу потому, что нет загробной жизни.

А мой дедушка Лев Захарович? Может быть, он верил в нее? Как он там, что знает обо мне? В тридцать седьмом он лишился единственной дочери, любимого зятя, но жил на удивление всем мужественно, стойко, гордо. Он верил в добро и преклонялся перед учением Льва Толстого. Вслух, сдвинув толстые очки на лоб и уткнувшись коротким носом в страницу, он читал мне сказку «Чем люди живы». Еще он читал мне Шолом-Алейхема и рассказал о том, как его играли в театре Михоэлс и Зускин.

Когда меня пришли забирать, дед не суетился, сосредоточенно укладывал в наволочку разрешенные вещи, не забыл зубной порошок и щетку.

Шесть людей в шинелях, с оружием и погонами, плачущие понятые... Дед был известным врачом, блистательным диагностом, имел элитарную клиентуру, которая хорошо оплачивала его труд, а всех в округе своего бывшего врачебного участка дед лечил бесплатно. Понятые сами лечились у него, и детей их дедушка спасал от скарлатины, дифтерита, ангин и пневмоний.

Понятые плакали, жалея его и меня, а дед старался ничего не забыть, но не боялся предвидеть, что берут надолго и увезут далеко. Я спросонья думал, что это все ошибка, а дед знал, что в этом деле ошибок не бывает. Он очень многое понимал- Не знаю, откуда бралось это понимание, но четко помню, как в мае сорок первого он сказал, что скоро будет война с немцами.

Я не помню, поцеловал ли я его, когда меня уводили. Кажется, я спешил.

Дед очень надеялся, что в честь Победы объявят амнистию и его несовершеннолетний внук будет освобожден. Амнистия была для воров, грабителей, насильников, растратчиков и мошенников. Враги народа и дети врагов народа под амнистию не подпали.

Представляю себе горе старика по его утешительным письмам ко мне в лагерь. Так вот, вскоре после этой амнистии, летом сорок пятого, дедушка нес на почту продуктовую посылку, чтобы подкормить едва не умершего в лагере с голоду единственного внука. Он нес посылку, в которой были ленд-лизовские консервы, сухари и сахар. Ему было семьдесят шесть, и он очень плохо видел.

Он нес мне посылку, переходил улицу, и его сшибла какая-то военная легковая машина. Сшибла и скрылась. Много людей видели это. Дед умер в тот же день, но до самой смерти был в сознании. Что он думал обо мне?

А посылку я получил, ее отправила наша соседка тетя Даша.

...Орган, скрипка и виолончель.

Я стою у высокого стеллажа с фаянсовыми урнами и плачу. Сердце мое сжимается, у горла ком от жалости к близким, к отцу, к матери, к деду. Если бы они могли видеть меня теперь, видеть таким вот, нет, не плачущим, а вполне респектабельным жителем столицы.

Вот я, лениво приподняв руку, остановил сверкающую новую машину, сел в нее и, только усевшись на ковровое сиденье, понял, что сослепу остановил не такси, а «левака»... Может, им оттуда, сверху, тоже не видно, что это не моя машина. Вот бы они порадовались. А дальше — все правда, я еду домой, в четырехкомнатную квартиру. Если бы отец и мать знали, что я переживу их возраст, что у меня будет любимая жена, удивительная дочка, гостеприимная теща.

Боже мой! Как мало они могли надеяться, что я вообще останусь жив! Нет, они не виноваты, никто не мог бы предположить такого, и прокурор (не то Трофимов, не то Тимофеев), жалея меня, сказал в пятьдесят первом году:

— Я знаю, что вы не виноваты. И он,— кивок в сторону следователя,— знает, что вы не виноваты, но вы будете сидеть всю свою жизнь.

Зачем я пишу об этом в книге об отце? Да затем, чтобы нынешние отцы думали о своих детях, и самое главное — я пишу, выполняя свой долг перед Родиной.

Только память — основа сознания, только память о прошлых наших ошибках может предостеречь от ошибок сегодняшних и завтрашних.

Поезд можно остановить, если он идет не слишком быстро, если уклон не так велик. Может быть, не надо трогать поезд с места, если путь не тот? Наконец, в поезд можно не садиться, пока в него не загоняют силой.

Думаю о тридцать седьмом. Уверен, что очень малое число его жертв за год или за два могли полагать, что навсегда исчезнут с лица земли, что дети их отрекутся от родителей, что родственники не пустят их на порог. Им казалось, что несправедливость справедлива.

Мой отец был из другой породы. Он хотел остановить поезд, но было поздно.

Читатель! Если у тебя есть дети и внуки, читай эту книгу как предостережение. И не думай, что судьба твоих детей сложится так же удачно, как моя.

Мне несказанно повезло: я остался жив, хотя, как и многие миллионы ни в чем не повинных людей, был обречен на смерть. Я остался жив и обязан рассказать об этом. Вот почему я пишу о том, что помню, что знаю.

Дело моего отца

Количество мелких «в масштабе великих преобразований» несправедливостей множилось, к ним привыкали, к ним относились как к жертвоприношениям Минотавру. Тридцать седьмой знаменателен тем, что его жертвы в своем чудовищном большинстве не подходили ни к одной из групп, погибавших раньше, но шли вслед за ними и погибали вместе с ними.

Когда я думаю об этом, то чаще всего вспоминаю наркома внутренних дел Узбекистана Загвоздина. Звали его, кажется, Николай Алексеевич, был он комиссаром госбезопасности какого-то ранга, а раньше, как мне говорили, матросом.

Летом тридцать седьмого он часто бывал у нас дома и на даче. Иногда они долго вдвоем с отцом играли на бильярде и оба были одинаково мрачными. Не помню я никакой враждебности между тем, кто ждал ареста, и тем, кто ждал, когда ему дадут приказ об аресте.

Загвоздин погиб.

Помню, как он мрачнел и мрачнел в то лето. Не знаю, есть ли у него дети, есть ли внуки. Как пережили они то время, что они думают про это? А лето тридцать седьмого года в Ташкенте было страшным.

Спешно уехал в Москву искать правду снятый с работы председатель Совнаркома Узбекистана Файзулла Ходжаев. На место Ходжаева был назначен новый председатель Совета народных комиссаров Абдулла Каримов. (Я уже упоминал о нем. После ареста он выбросился из окна.) Он принадлежал к породе черных узбеков, был очень смуглый, крепкий, уверенный в себе человек. Абдулла Каримов был другом моего отца. В газетах появились статьи о новом председателе Совнаркома, его большой портрет, а через две-три недели после этого Каримова арестовали. Был арестован и давний друг отца Акбар Исламов, рабочий-наборщик в 1917 году, потом активный коммунист, человек по тем временам весьма образованный и до того красивый и обаятельный, что, учась в Москве, увлек красавицу грузинку, женился на ней и родил сына Темура.

Хороший у него сын. Как говорят, это единственный из узбеков, кто так хорошо знает грузинский язык и обычаи. Темур живет в Тбилиси, по-русски говорит с красивым грузинским акцентом и поднимает тосты за то, чтобы наши отцы на том свете дружили так же, как они дружили на этом.

Вместе с А. Каримовым и А. Исламовым почти одновременно арестовали еще двух членов ЦК Узбекистана. Отец позвонил Сталину.

Знаком его близости к Сталину всегда было то, что отца беспрепятственно соединяли с ним. Отец позвонил Сталину и сказал, что он не понимает действий НКВД, ибо Абдулла Каримов — человек вполне проверенный, безупречный и не может быть замешан ни в каких контрреволюционных делах. Не знаю, говорил ли отец о других, но о Каримове — точно. Я не знаю, что отвечал ему Сталин, знаю зато, что после этого разговора, кажется, в июле 1937 года или в августе, отца со Сталиным больше не соединяли.

Отец знал, что это значит, и не сомневался, что теперь и самого его арестуют.

Где-то в августе учительница музыки пожаловалась отцу, что я ленив и непослушен. Я действительно был ленив и непослушен. Отец позвал меня к себе в кабинет и долго с какой-то тревогой втолковывал, что я должен учиться, что я должен

научиться работать, что я должен приготовиться к трудной самостоятельной жизни, ведь мало ли что может случиться.

— Ну что может случиться? — спросил я у папы.

— Мало ли что,— сказал отец.— Ну, а вдруг я помру.

— Мама будет,— ответил я. У меня выработался иммунитет к воспитательным разговорам.

— Ну, а если мама помрет?

Предположение показалось мне невероятным, казалось абстрактной задачей, книги про сирот я читал, и сказал:

— Тогда я буду вещи продавать.

Отец махнул рукой.

В конце августа он сказал моей няне:

— Лиза, соберите Рыжкины учебники и одежду. Он будет жить у дедушки в Москве.

Я страшно обрадовался. Дедушка меня баловал, а отец держал в строгости. Я и не задумался тогда, почему это отец отправляет меня из Ташкента в Москву. В этом не было резона, но я и не искал его. Думал, что мне повезло.

Мы ехали нашим салон-вагоном. Вместе с нами ехали несколько партийных работников из ЦК Узбекистана — кто на курорт, кто просто в Москву по делам. Ехала и секретарша отца — Лена. Мы с Леной играли в подкидного дурака, а отец со своими товарищами — в преферанс.

Однажды он послал меня в свое купе не то за карандашом, не то за бумагой. На письменном столе я увидел ужасную картину: флакон с одеколоном упал, притертая пробка выпала, одеколон растекся по столу и залил удостоверение члена ЦК ВКП(б). Отец очень дорожил и гордился этим удостоверением, а тут я увидел, что буковки на нем расплылись, чернила затекли и фотокарточка намокла. В страхе я прибежал к отцу. Я боялся, что он подумает, что это я опрокинул флакон. Отец только махнул рукой:

— А, пусть...

Странно было и в Москве. Отец никогда не баловал меня, а тут вдруг проявлял ко мне особую нежность.

— Лена,— сказал он,— вот вам деньги, походите по магазинам и купите Рыжке игрушек. Какие он захочет, такие и купите.

Мы ходили с Леной по магазинам. Были в ЦУМе, еще где-то. Там была масса игрушек. Мне нравились многие. Но я не решался попросить их. Я боялся, что отец скажет, как говорил часто: «Ну и барчук! Просто безобразие».

Особенно мне приглянулся гоночный заводной автомобиль с рулем, поворачивающим колеса. Он был цвета кофе с молоком, у него были резиновые шины, настоящее ветровое стекло и черное сиденье, похожее на кожаное. Как сейчас помню, автомобиль этот стоил тридцать рублей. Я не решился сказать Лене, чтобы она его мне купила.

Мы долго ходили по магазинам и вернулись в «Метрополь» к вечеру. От шума и массы впечатлений у меня началась сильная головная боль, я страдал тогда мигренями.

Этот номер в «Метрополе» я вспоминаю часто. Это были три комнаты и холл. Кабинет выходил окнами на бензоколонку. Угловой с «фонарем». Отец заказал обед в номер. Он непривычно суетился, спрашивал меня, что я хочу есть. (Меня никогда не спрашивали, чего я хочу, считалось необходимым приучать меня есть все то, что едят другие. Только так.)

— Чего ты еще хочешь? — спрашивал отец.— Ну, говори, говори, чего ты еще хочешь?

И я решился сказать, что я хочу еще лимонную воду. Я имел в виду лимонад, который в Ташкенте почему-то назывался лимонной водой.

— А мороженое? Хочешь мороженое?

— Хочу,— сказал я.

— Какое ты хочешь мороженое? — Он назвал мне по меню несколько сортов, о которых я и представления не имел.— Хочешь шоколадное с орехами?

Лимонная вода превзошла все мои ожидания. Отец не мог догадаться, что я просил лимонад. Подали графин лимонного сока с кусками льда. Подали мороженое с миндалем.

А у меня все сильнее болела голова. Отец увел меня в угловую комнату, как раз в ту самую, где фонарь, посадил к себе на колени, стал целовать меня и плакать.

Был вечер, света он не зажигал, темная мебель, черный диван. Отец плакал и целовал меня, а у меня дико, нестерпимо болела голова.

— Рыжка,— говорил он,— что бы ни случилось со мной, помни, что я всегда был честным человеком. Я всегда был честным коммунистом. Ленинцем. Рыжка,— говорил он мне,— я хочу подарить тебе что-нибудь на память, потому что, наверно, мы больше с тобой не увидимся.

Сначала он хотел подарить мне свои очень плоские вороненые карманные часы, а потом подарил перочинный ножик о четырнадцати лезвиях. Этот нож у меня украли, когда я был учеником ремесленного училища.

С номером в «Метрополе» связано еще одно воспоминание. Отец разговаривал с кем-то по телефону. Телефон был старомодный с тонкими рычажками, на которых лежала трубка. Отец разговаривал, сердился, что-то доказывал, нервничал, а потом с маху ударил трубкой по рычагам. Никелированные рычаги разошлись в разные стороны. Человека, с которым отец разговаривал, он называл: Николай Иванович. Видимо, это был Николай Иванович Ежов, потому что Николай Иванович Бухарин уже был арестован.

В той угловой комнате отец разговаривал со мной долго. А у меня все сильнее болела голова, и я никак не понимал того, что говорил мне отец. Он просил меня не верить тому, что будут о нем говорить и писать, просил меня слушаться дедушку и хорошо учиться, научиться работать, потому что я очень ленив, и это ужасно. Сейчас, вспоминая все это, я с болью думаю, сколько горя я причинял своему отцу тем, что, расставаясь со мной, он не был уверен во мне, не знал, получится ли из меня человек.

...Мою дочь зовут Анной. Она А. Икрамова. В ее комнате на видном месте — фотография памятника Акмалю Икрамову. Деду.

Она — московская девочка, теперь уже студентка. И в хорошей школе училась, в прекрасной английской школе. Это близко от нашего дома, а в эту школу не ленятся возить детей издалека. Директор — замечательный педагог, он до сих пор любит и помнит нашу дочь, всегда спрашивает про нее, зовет Анютой.

Сейчас в этой школе переполох. Говорят, что в ней будет учиться американка, которая совсем не знает русского языка, дочка Светланы Иосифовны, внучка Сталина. По таким знакомым для меня коридорам дочкиной школы будет ходить девочка-американка с русским именем Ольга. В этом же буфете будет на переменах жевать пирожки и бутерброды.

Вот ведь какая выходит история! Две внучки, почти ровесницы, обе — в джинсах и кроссовках... У одной в комнате фотография памятника — человек с раскинутыми добрыми руками и надпись на цоколе — Акмаль Икрамов. А у другой...

У нее может быть огромная коллекция фотографий памятников, стоявших на всех углах и во всех скверах всех городов нашей страны и во многих других местах.

Сегодня день рождения Олиного деда, ему сто пять лет, и мне сказали, что Олю ее мама увозит в Грузию. Значит, будет она учиться в другой школе. Но и в той школе сойдутся судьбы совсем разные, из которых сложится завтрашний день страны.

Моя дочь гордится своим дедом. Интересно, будет ли Оля гордиться своим? Как долго она будет гордиться?

Это важно, это очень важно, от этого зависит, чтобы обе девочки и все остальные дети выросли добрыми и справедливыми, чтобы никто не покушался на их счастье.

Строки про приезд Светланы с дочерью, про школу № 45 я писал действительно 21 декабря 1984 года. Переделывать в прошедшее время не могу.

Слышал, будто Светлана, вновь оказавшись на Западе, не собирается писать книгу об этом своем втором пришествии, что дочка каждый день вела дневник и, возможно, будет его публиковать. Интересно, что увидела и поняла девочка-подросток в Москве и в Грузии? Не досужий интерес, хотя, как сказано в удивительном и загадочном «последнем слове» Н. И. Бухарина, все это — плюсквамперфектум, давно прошедшее.

(А вдруг — нет?)

Только теперь я понимаю, что подарки, которые мы не купили тогда, в сентябре тридцать седьмого, предназначались к моему дню рождения. Десятого сентября мне исполнялось десять лет. Кажется, вечером того дня мы провожали отца из Москвы в Ташкент. По дороге остановились возле здания на площади Дзержинского, отец зашел в боковой подъезд, вышел оттуда скоро, и в молчании мы доехали до вокзала.

Люди, провожавшие отца, были хмурыми и молчаливыми. Его вагон был не в самом хвосте состава. К нему прицепили еще один салон-вагон. Потом я узнал, что в нем ехал Андрей Андреевич Андреев. Узнал и то, что вез он с собой письмо, датированное 10 сентября 1937 года.

«Пленуму ЦК КП(б) Узбекистана

Ознакомившись: а) с показаниями арестованных Бухарина, Ф. Ходжаева, Разумова, Румянцева, Полонского, Ходжанова, Антипова, Рыскулова

б) протоколами очной ставки т. Икрамова с Бухариным, Ф. Ходжаевым, Антипоаым, Разумовым, Румянцевым и

в) заявлением т. Икрамова, ЦК ВКПб) установил, что

1. т. Икрамов не только проявил политическую слепоту и близорукость в отношении буржуазных националистов врагов узбекского народа Ф. Ходжаева, Ходжанова, Балтабаева, Таджиева, Каримова и др., но иногда даже покровительствовал им.

2. у т. Икрамова, по-видимому, были связи с руководителями троцкистско-правых групп в Москве (Бухарин, Антипов и др.).

ЦК ВКПб) постановляет:

1) Предложить пленуму ЦК КП (б) Узбекистана обсудить вопрос тов. Икрамова и сообщить свое мнение ЦК ВКП(б)

2) Командировать члена Политбюро ЦК ВКП(б) т. Андреева А. А. для разъяснения вопросов, связанных с на стоящим письмом.

И Сталин, В. Молотов»

Поезд тронулся, в руках у меня остался последний подарок отца — зеленый свитер-безрукавка. Потом из него сшили шарфик, который передали мне в тюрьму, чтобы я не простудился, когда отправят на Север.

1965—1984—1988

Москва

Публикация и подготовка текста

О. Сидельниковой